

КЛАССИКА роман

МАРТИН

БУБЕР

М
И
ЛОГ
И
АТОГ



ИНАПРЕСС МОДЕРН



МАРТИН БУБЕР

ГОГ
И
МАГОГ

МАРТИН БУБЕР

ГОГ И МАГОГ

роман

перевод с немецкого
Елены Шварц



ГЕШАРИМ
Иерусалим
5762

ИНАПРЕСС
С.-Петербург
2002



УДК 882.32
ББК 84Р7 (нем)
Б 90

Публикация этой работы была поддержана грантом
Гете-Института INTER NATIONES, Бонн



Книга издана при поддержке Благотворительного Фонда
«Российский Еврейский Конгресс»

Редактор перевода, автор предисловия и словаря Менахем Яглом
Редакторы Н. Кононов, М. Гринберг
Художник М. Покшишевская

ISBN 5-87135-138-7

- © Мартин Бубер, наследники, 2002
- © ИНАПРЕСС, Е. Шварц, перевод, 2002
- © ГЕШАРИМ, предисловие, словарь, 2002
- © МОДЕРН, 2002

ГОГ И МАГОГ

1

Предисловие

Один из учеников как-то спросил Баал Шем Това: «Почему даже тот, кто воистину прилепился к Богу и знает о своей к Нему близости, иногда испытывает чувство покинутости и отчуждения»? Баал Шем Тов ответил ему: «Когда отец учит своего маленького сына ходить, он наклоняется к нему, протирает свои руки по обе стороны от малыша, чтобы тот не упал, и мальчик идет к отцу, опираясь на его. Но когда он подходит к нему почти вплотную, отец убирает руки и отходит подальше. Так происходит не один раз, и только так ребенок может научиться ходить».

Эта, любимая Мартином Бубером история, в большой степени относится к нему самому — вся его жизнь — это путь к обретению непосредственной связи человека и Бога, проходящий через отчуждение и покинутость.

Мартин (Мордехай) Бубер (1878-1965) — один из самых ярких и оригинальных мыслителей XX века, создатель своей, особой версии религиозного экзистенциализма — «фи-

лософии диалога», сыгравший для современной европейской культуры роль первооткрывателя еврейской духовности.

Он родился в Вене, но с четырехлетнего возраста жил в галицийском имении деда, неподалеку от Лемберга (Львова). Дед, Соломон (Шломо) Бубер, был раввином и мыслителем, книжником и исследователем, среди прочего опубликовавшем множество неизвестных ранее еврейских рукописей, хранившихся в различных библиотеках мира. В доме деда Мордехай прожил до восемнадцати лет, и общение с ним наложило отпечаток на его дальнейшее творчество.

В юности Бубер изучал философию и теологию в университетах Вены, Лейпцига, Цюриха и Берлина, был учеником и другом философов Дильтея и Зиммеля, защитил диссертацию по христианской мистике Возрождения и Реформации. С 1904 г. он увлекся изучением религиозно-мистического движения восточноевропейских евреев — хасидизма; первая же опубликованная им в этой области работы — немецкий перевод «Сказочных историй» р. Нахмана из Браслова (1906 г.), вызвала значительный интерес у его современников. Сбором, изучением и публикацией хасидских историй Бубер продолжает заниматься на протяжении всей жизни.

В 1923 году Бубер публикует философскую поэму «Я и Ты», формулирующую основания философии диалога, которая сразу же сделала его знаменитым. «Я и Ты» обрамляют два сборника хасидских преданий, написанных Бубером по-немецки: «Великий Магид и его последователи» (1921) и «Свет сокровенный» (1924), лишь на первый взгляд несвязанные с «Я и Ты». Впрочем, и все последующие его работы, будь то философские и социологические исследования, книги по библеистике и по хасидизму, эссе и романы — в каком то смысле являются комментарием к этой книге.

В том же 1923 г. Бубер возглавил созданную специально для него кафедру еврейской религии и этики Франкфуртско-

го университета, которая позднее стала заниматься также и более общими вопросами религии и философии.

С Францем Розенцвейгом, знаменитым еврейским философом, основной труд которого, опубликованный в 1921 г. — «Звезда Избавления» — посвященный взаимоотношениям человека, Бога и мира, сыграл в еврейской, да и не только в еврейской философии XX в. роль, сравнимую с ролью «Я и Ты», Мартин Бубер дружил еще со студенческих лет. Вскоре после выхода в свет «Я и Ты» они совместно принялись за новый перевод Танаха (еврейское название Ветхого Завета) на немецкий язык. Идея состояла в следующем: современный читатель разучился быть слушателем, а Библию, сутью которой является непрерывный диалог творения с Творцом, необходимо именно слышать, а не только читать. Существовавшие же немецкие переводы Библии представляли из себя омертвевший канон, предполагающий чтение, но никак не соучастие. По их замыслу, новый перевод должен был заново воссоздать живой библейский текст в пространстве современного немецкого языка и культуры, стать голосом, приглашающим к диалогу. Перевод публиковался по частям; даже после того, как в 1929 г. скончался Розенцвейг, Бубер продолжил этот труд, и завершил его только на закате жизни, в 1961 г. Идея живого голоса, непрекращающегося диалога, пронизывает и все иные его работы.

После прихода к власти нацистов кафедра была закрыта. Бубер вскоре эмигрировал в Швейцарию, а в 1938 г. переехал в Иерусалим и стал профессором Еврейского университета. После Второй мировой войны и Катастрофы европейского еврейства он много разъезжал, выступал с лекциями в различных университетах Европы и США, был признан одним из духовных лидеров своего поколения и оказал немалое влияние как на евреев, так и на христиан. В 1960-1962 г.

был президентом Академии наук Израиля. Одной из его последних работ Бубера стала книга «Происхождение и сущность хасидизма» (1960 г.).

В книге «Я и Ты» Бубер пишет о двух принципиально разных путях взаимодействия с миром: «Я — Ты» и «Я — Оно»:

«Мир двойственен для человека в силу двойственности его соотношения с ним.

Соотнесенность человека двойственна в силу двойственности основных слов, которые он может сказать.

Основные слова суть не отдельные слова, но пары слов.

Одно основное слово — это сочетание Я — Ты.

Другое основное слово — это сочетание Я — Оно (...).

Таким образом, двойственно также и Я человека.¹

Субъектно-объектному взаимодействию с реальностью, связанному в пространстве и времени, вечному и материальному, Бубер отказывает в праве называться «отношением», для него это скорее способ обезличенного обладания Я — Оно. Ему противопоставляется отношение диалога, ведущее к целостности и полноте, отношение Я — Ты, разрушающее вещьность и рождающее любовь предчувствие Действительной жизни. Бубер не предлагает совершенного отказа от мира Оно, но отказ от мира Ты полагает равносильным смерти: «Человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет лишь с Оно, тот не человек».²

В своей интерпретации хасидизма Бубер не стремится к исторической точности, более того — противостоит ей. По его словам, историческая наука объективна лишь тогда, когда она «обращается с прошлым, как с объектом». Только миф, постоянно обновляющийся в человеческом сознании, в состоянии вернуть историю из мира Оно в мир Ты, превратить прошлое в источник обновления настоящего. Бубер не стре-

мится к исторической истине, существующей вне личностного восприятия, его волнуют совсем иные задачи. В одной из своих последних работ — «Происхождение и сущность хасидизма», он признается «Мне представляется совершенно ясным, что с самого начала меня прежде всего интересовало восстановление непосредственной связи между человеком и Богом, с тем, чтобы прекратить «затмение Бога».

Для Бубера исторические факты не существуют сами по себе, взаимодействуя с человеческим восприятием они всякий раз возникают заново. События прошлого лишь образуют некую сетку, своего рода систему координат, в которых, а точнее меж которых, просвечивает феномен человеческого духа. Истинное значение истории — в непрестанном диалоге Я и Ты, осуществляющемся в пространстве «между». В книге «Проблема человека», вышедшей в свет в 1942 г., он говорит об этом: «Особое видение мира, на котором основано понятие «Между», обретается там, где отношения между человеческими личностями локализованы не во внутренней жизни индивидов и не в объемлющем и определяющем их мире всеобщего, но, по сути дела, между ними. «Между» — не вспомогательная конструкция, но истинное место и носитель межчеловеческого события».

Бубер подходит к хасидизму, как художник, он сознательно не касается теоретических трудов хасидских мыслителей, а «повседневные беседы праведников», хасидские истории и предания являются для него материалом для воссоздания обновленной духовной реальности, актуальной независимо от времени и пространства.

Такой подход не является чем-то принципиально новым. Творческая интерпретация лежит в основе всей иудейской духовной традиции. *Мидраш*, один из важнейших жанров талмудической литературы, строится на целостном прочтении библейского текста, заполнении «пробелов» между сюжетными и смысловыми линиями и их последующей ре-интерпре-

тации. Каббала, стремясь к раскрытию «сокровенной тайны», скрывающейся под внешней оболочкой Библии, наполняет новыми символическим значениями не только образы, сюжетные повороты и конкретные заповеди, но и отдельные слова, буквы и даже пробелы между ними, приходя к полной деконструкции текста и вновь возвращаясь к библейскому рассказу. Практически все традиционные герменевтические методы являют примеры творческого подхода к Откровению, исходя из идеи равенства Автора и читателя, встречающихся на равных в пространстве «Между». Эта идея отчетливо сформулирована в мидраше Танхума: «Всякий осуществляющий Тору как будто бы сам установил ее и даровал ее на горе Синай. И еще сказал р. Иегуда, что говорит о нем Писание, как будто бы он сам себя сотворил».

Бубер чувствует себя полноправным наследником еврейских мудрецов предшествующих эпох. Во введении к «Историям Баал-Шем-Това» он пишет: «Я рассказал этот миф по-новому, как должно тому, кто родился спустя поколения. В моих жилах течет кровь его создателей, моя кровь и мой дух делают его единым. Я стою в ряду рассказчиков, звено среди других звеньев. Я вновь и вновь рассказываю старые истории, и если они звучат по новому, то лишь потому, что новое дремало в них, когда они были рассказаны впервые». Эта необыкновенная, недопустимая для объективистского мышления, свобода интерпретации стала одним из его важнейших вкладов в сокровищницу европейского духа.

Ключевая тема романа «Гог и Магог», вышедшего в свет в 1941 г. — Избавление, осознаваемое Бубером в контексте отношений Я и Ты — Я и Оно.

Идея Избавления — одна из наиболее значимых для еврейских мыслителей XX века, к каким бы направлениям они

не относились: для вернувшегося к вере Франца Розенцвейга и для Главного раввина Палестины Авраама Ицхака Кука, для консервативного теолога Мордехая Каплана и для любавического ребе Менахема Менделя Шнеерсона, для создателя нью-йоркской Йешивы-Университета, рава Йосефа Дова Соловейчика и для французского еврейского философа Эмануэля Левинаса. Мартин Бубер ни в коей мере не является здесь исключением.

В Пятикнижии и книгах пророков Избавление — *геула*, понимается как в частном, так и в общенациональном контексте, как восстановление правильного миропорядка, освобождение от гнета и притеснений, установление власти милосердия и, в конечном счете, царства Бога на земле. Исход из Египта, выход на свободу раба по истечении семи лет службы, возвращение земель к изначальным владельцам и прощение долгов в юбилейные годы — все это разные проявления Избавления. Обсуждающийся в Талмуде приход Мессии, ознаменованный возвращением еврейского народа в Святую Землю и восстановлением Иерусалимского Храма, есть зримое проявление этого. Избавление имплицитно присуще мирозданию: древний *мидраш* так объясняет начало книги Бытия: «И дух Божий носился над водами» — это дух Мессии».

В еврейской мистике Избавление осмысливается как завершение процесса *тикуна* — «исправления» изначально присущей мирозданию ущербности, приводящей к появлению Зла. Ущербность эту объясняют две взаимодополняющие концепции: самоограничения Божественности — *цим-цум*, и Разбиения Сосудов. Согласно первой из них, абсолютность Универсума не предполагает возможности какого бы то ни было бытия, кроме Его. Вследствие этого, изначальным творческим актом является самоограничение Творца, который «из милосердия раздвинул Свой Свет в стороны» для того, чтобы позволить иное, отличное от Его существова-

ние. Самоограничение это явилось своего рода «вдохом», за которым последовал «выдох» — излучение творческой энергии, порождающей все многообразие частных сущностей, в возникшее в результате первичного акта парадоксальное «пустое пространство». Осуществление мироздания в изначальной пустоте, свободной от каких бы то явных проявлений Божественности, выводит веру из границ познания, обесмысливает «доказательства бытия Божия» и предоставляет неверию право на существование.

Согласно второй концепции, описывающей последующие этапы творения, мир представляет собой систему своего рода сообщающихся сосудов — *сфирот*, наполненных Божественным светом и организованных в подобие Сверхчеловека, органами которого они и являются. Однако, нынешнему миру предшествовал мир самодостаточных сосудов, каждый из которых стремился вместить всю полноту бесконечного Божественного света, что привело к космической катастрофе — Разбиению Сосудов, распаду творения и деградации Света.

Известный нам мир является областью Исправления, в которой большая часть Света уже заключена в новые сосуды — *сфирот*, и лишь отдельные искра по прежнему пребывают в плену у обманчиво самостоятельных сил зла, называемых скорлупами — *клипот*, или Другой стороной. Задачей человечества является освобождение плененных искр и вознесение их к Первоисточнику.

Мир людей — «мир действия» — неразрывно связан с высшими, духовными реальностями. Человеческие поступки напрямую влияют на происходящее в горних мирах, любые его действия, как праведные, так и греховные, теургичны по сути и приводят к последствиям космических масштабов. Разрушение Иерусалимского Храма, изгнание народа Израиля из Земли Обетованной, отражается на соприродной творению сущности Творца, отделяя мужскую ипостась Творца,

Пресвятого Благословенного, от его женской стороны — Шехины. В свою очередь, феномены «мира действия» являются лишь бледными отражениями сущностей более высокого порядка.

Эти концепции в мистическом ключе решают основные проблемы религиозного сознания, оправдывая Бога, позволяющего существование Зла, и снимая с человека вину в изначальной греховности. Зло соприродно миру вследствие милосердия Творца, дарящего свободу творению, а человеческая греховность является оборотной стороной этой свободы, необходимой для уподобления Творцу в процессе «исправления» мироздания.

Избавление неотделимо от Исправления, оно рождается из диалога творения и Творца, и, вознеся брэнную материю до уровня духа, достигает кульминации в воссоединении Пресвятого Благословенного и его Шехины.

Хасидизм, целиком восприняв каббалистическую картину мира, в некотором смысле вывернул ее наизнанку: существует предание о том, как некто спросил Великого Магида: «В чем главное открытие Вашего учителя Баал-Шем-Това»? Тот ответил: «В том, что *сфирот* заключены в человеке». В хасидском мировосприятии непрерывная последовательность актов творения разворачивается снизу вверх; основные события космической драмы разворачиваются в ходе еврейской истории и в жизни каждого из людей. Ни один из высших духовных миров не в состоянии отразить во всей полноте многоплановость происходящего в чувственном «мире действия», где перемешались добро и зло, истина и ложь. Только в этом мире достижимо Избавление, охватывающее все мироздание.

Избавление осуществляется как на национальном, так и на индивидуальном уровне: исторические катастрофы, как и превратности человеческих судеб, позволяют поднять Божественные искры из незатронутых Исправлением областей зла; каж-

движениях. Несколькими годами раньше, после смерти своего мужа, она переехала к сыну по его настоятельной просьбе, — он обожал мать.

— Лапша! Во всей этой Апте никто не умеет ее варить так, как моя мама! Что вы хотите сказать: вот столько муки, столько яиц? Разве это имеет значение? Сноровка — вот что имеет значение. Если она есть, то все получится! — Шендель прихлопнула маленькими пухлыми ручками и с удовлетворением на них посмотрела.

Дверь открылась, и вошел Иекутиль. Он обратился к ней с явно надуманным вопросом, чтобы оправдать свой приход. Он чувствовал себя просто обязанным заглянуть во все комнаты. Уже четыре месяца Иекутиль жил в Пшисхе. Он сразу же стал, если так можно выразиться, обходить все помещение. Он делал это с настойчивостью и ловкостью, которых никто не мог бы заподозрить в этом простодушном человеке. Мне хотелось бы объяснить, каков был характер его знаменитого простодушия.

Он и в самом деле, несомненно, был простодушен, но, кроме того, он был хитер. Его хитрость знала о его простоте, а его простодушие не знало о хитрости. Как если бы у человека один глаз смотрел прямо, а другой вбок, и этот косой глаз мог видеть здоровый, но не наоборот. Окружающие не замечали этого скошенного глаза. Им Иекутиль казался совершенным простачком. Нужно напомнить, что во время совета врагов Еврея именно он сказал об опасности, которая может наступить «через сто двадцать лет». Нафтоли не мог себе представить, как хитрый Иекутиль использовал преимущество простодушия. Айзик вел себя иначе. Он был слишком самовлюбленным, чтобы притворяться глупцом. И он не мог бы сравниться в этом с Иекутилем, потому что последний и не притворялся.

Когда Айзик вернулся в Люблин и доложил, как Еврей чуть не задушил его нехорошим взглядом, Иекутиль весь

превратился в слух. Вот, наконец, настоящее дело для простака, подумал он. Но он не сразу смог уехать в Пшисху. Сначала он с радостью согласился на просьбу Айзика рассказать ребе о поведении Еврея и его приближенных — обязанность, от которой сам Айзик почему-то решил уклониться. Однако он неожиданно натолкнулся на отпор. Это случилось вскоре после ночного разговора Магида и Хозе, когда Магид неожиданно уехал. Предположение, что ребе поверит всему, что говорит простой и немудреный человек, не оправдалось.

— Как я могу принять за истину то, что ты говоришь, — сказал ребе, выслушав подробнейший отчет, — если ты сам не видел этого и не слышал?

Потрясенный неудачей, Иекутиль решился ехать в Пшисху, имея замысел, о котором не сообщил никому. Его тем легче было исполнить, что его брат Перец уже много лет был учеником Еврея и постоянно жил в этом городке. Он представлял, как легко будет обмануть брата, внушив ему, что он, Иекутиль, полон раскаяния и стремления приобщиться к духовному богатству Пшисхи. Таким образом путь будет открыт. Трудно предположить, что доверчивый Перец усомнится в словах своего брата. Вторым шагом было появиться перед Евреем в обществе брата и убедить того в своей искренности. Но в действительности случилось то, что показалось Иекутилю странным и неприятным. Он ожидал одной из двух реакций. Либо (и это он считал наиболее вероятным) Еврей поверит ему, ибо этот тщеславный парень сочтет совершенно естественным, что люблинский ученик поддался его влиянию и приехал в Пшисху, либо он готов был столкнуться с недоверием, которое можно будет постепенно преодолеть силой своего простодушия. Ни одно из этих предположений не сбылось. Когда они явились к Еврею, тот встретил Перца открытой улыбкой. Потом, не выражая доверия или недоверия, он ответил на приветствие Иекутиля просто и

дый человек обладает сущностью Мессии и самосовершенствование приближает его к Избавлению. Праведник — *цадик*, достигший предела человеческого совершенства, способен сыграть роль Избавителя для группы своих последователей.

Столь пространный, и, на первый взгляд, отвлеченный рассказ необходим для того, чтобы понять события, описанные в «Гоге и Магоге». Каббалистическое учение, особенно в хасидском изложении, повествующее о человеческом измерении Божественного самоограничения, о разбиении сосудов и Избавлении, имманентном Творению, об Исправлении мира посредством Возвращения индивида, видит историю человечества, как историю диалога — Бога и человека. Это видение, которому посвящен «Гог и Магог», лежит в основании ряда философских и социальных концепций Мартина Бубера, к нему он возвращается снова и снова на протяжении всей своей жизни.

Роман об Избавлении — «Гог и Магог», вызревал на протяжении четверти века: задуманный в середине 1910-х годов, он был закончен в 1941, в разгар Второй мировой войны. На первый взгляд, он посвящен своего рода «альтернативной истории», свершающейся в сокровенном мире хасидских дворов Польши и Галиции рубежа XVIII — XIX веков. Однако Бубер не скрывает, что хасидские предания о пред-мессианской эпохе позволяют ему выразить собственное отношение к эсхатологическим событиям современности — Катастрофе европейского еврейства, мировой войне, возвращению в Землю Израиля и созданию еврейского государства политическими средствами. Лейтмотивом романа является «собрание искр Света», соотношение сил внешних, направленных вовне усилий и процесса духовного самосовершенствования индивида. Автор заново ищет ответа на вопрос, обсуждаемый еще в Талмуде: допустимо ли «приближать Конец времен», воздействуя для этого на высшие силы, и

возможно ли иное воздействие, кроме совершенствования нашей нравственной жизни?

Хасидские предания, собранные Бубером, повествуют о своего рода «магической борьбе» между *цадиками*, по-разному толкующими роль Наполеона в процессе Избавления. Магия вполне органично присутствует в хасидском сознании, воспринимающем весь мир, как единое и взаимосвязанное целое. Однако, для мыслителя XX века, место магии занимает политика, а предания прошлого служат истоком обновления настоящего.

Гог из страны Магог, Наполеон I, действительно играл немалую роль в эсхатологических чаяниях евреев. Начало этому было положено самим императором: восхищаясь силой народа, «который дошел до нашего времени, пережив смену столетий, гордясь своим единством и считая самой большой своей привилегией считать своим законодателем одного лишь Бога», он видел свою миссию в том, чтобы стать законодателем евреев. Во время египетского похода (1798-1799 гг.) Наполеон объявил себя еврейским Мессией и заявил, что прибыл в Палестину для восстановления Иудеи и Иерусалима. Он даже обратился с воззванием к евреям Азии и Африки, обещая восстановление Иерусалимского Храма во всем его блеске. Однако, его призыв не нашел отклика у евреев, привыкших полагаться на Бога в свих мессианских чаяниях. Разочарование Наполеона в евреях, выразившееся в развязывании антисемитской компании и принятии дискриминационных по отношению к евреям законов (1805 г.), не остановило его в стремлении стать истинным законодателем еврейского народа: созыв совета еврейских нотаблей, а затем создание парижского Синедриона должно было привести к достижению той же цели иными путями.

Двойственное отношение Наполеона к евреям проявлялось в одновременном принятии антиеврейских законов и вместе с тем мер, направленных на эмансипацию еврейского населения. Несмотря на первые, враждебные акции он пользовался огромной популярностью среди западноевропейских евреев: сохранилось немало гимнов, написанных в его честь раввинами и светскими еврейскими поэтами, которые прямо провозглашают его Мессией.

Мессианские устремления Наполеона вызывали немалую тревогу среди его противников, не в последнюю очередь в российских правительственных кругах. Синод даже выпустил воззвание, в котором говорилось, что Наполеон хочет «с помощью ненавистников имени христианского и способников его нечестия, иудеев, похитить священное имя Мессии». Однако, их опасения были беспочвенны — у духовных лидеров восточноевропейского еврейства, в первую очередь — хасидских *цадиков*, он вызывал сходные опасения. И противники, и сторонники Наполеона видели в нем Гога из страны Магог, Армилоса сына Сатаны из талмудического предания. Разногласия заключались лишь в том, приблизит он или отдалит пришествие истинного Избавителя. В современном Наполеону хасидском мире практически никто не остался безразличен к происходящему; сохранилось множество преданий о магических деяниях самых разных хасидских учителей, свершавшихся для того, чтобы направить Императора Севера по тому или иному пути. Среди них не только ученики Элимелеха из Лизенска, о которых идет речь в романе, но и такие фигуры, как Старый Ребе — глава хасидов Рейсина (Белоруссии) Шнеур Залман из Ляд, основатель любавичского хасидизма; правнук Великого Магида р. Израиль из Ружина, вынужденный позднее бежать из России в принадлежащую Австро-Венгрии Буковину, спасаясь от обвинения в том, что он стремится стать «еврейским царем»; правнук

Баал-Шем-Това р. Нахман из Браслова, ярчайший и парадоксальнейший из хасидских учителей, и многие другие. Активное участие евреев в борьбе с Наполеоном сыграло заметную роль в победе России в войне 1812 г. Однако, для «просвещающего философа» Мартина Бубера, не исторические факты, но феномены духовной жизни польских и галицийских хасидов, послужили материалом, позволяющим выразить свое отношение к современности.

Наполеон был для Бубера фигурой воистину inferнальной, воплощением мира Оно, противопоставляющего объект — субъекту, а силу — морали. В «Я и Ты» он пишет: «[Наполеон] был демоническим Ты миллионов, не отвечающим Ты, отвечающим на «Ты» — Оно (...). На существа, его окружающие, он смотрит как на машины, способные выполнять различные операции, которые должны быть рассчитаны и применены к Делу. Но так же он смотрит и на себя самого (...). С самим собой он также обходится как с Оно. Вот почему в его изречении Я нет живой убедительности...».

И далее: «Слово “Я” остается *шибболет*³ человечества. Наполеон говорил его без силы отношения, однако он говорил его как Я некоего исполнения. Тот, кто пытается повторять это за ним, лишь обнаруживает неизбежность своего противоречия с самим собой».

Слово «Я» осознается Бубером *шибболет* не только человечества в целом, но и еврейского народа в частности. В противостоянии главных героев романа, ребе Якова Ицхака, Провидца из Люблина, и его тезки и ученика, ребе Якова Ицхака, Святого Еврея из Пшисхи, он видит реализацию противоположных подходов к Избавлению и Исправлению мира, стремления к духовному возрождению и жажды возрождения физического. Наполеон Бубера — воплощение мира Оно; на вопрос о возможности через силу Оно воздействовать на Ты Избавления — он отвечает отрицательно. Мар-

тин Бубер явственно видит, что полный отказ от Оно приводит к бессилию, к потере всех богатств, накопленных человечеством в ходе «истории силы», но абсолютное преимущество не вызывает у него даже тени сомнения.

Со времен Первой мировой войны Бубер стоял на позициях утопического сионизма. Подобно своему старшему современнику, Семену Дубнову, он видел будущее еврейства не в воссоздании государственности, неизбежно сопровождаемой притеснениями и насилием, но в духовном возрождении, возвращением в Сион посредством обретения мира Ты. Еще в 20-е годы он призывал к «миру и братству с арабским народом», к созданию «общей родины». Переезд в Палестину не изменил его позиции: отношение к происходящей в Европе Катастрофе, отголоски опасений относительно создания еврейского государства отчетливо слышны в лежащем перед вами романе. Святой Еврей говорит голосом автора: «Что означает этот Гог? Он может существовать во внешнем мире только потому, что он живет в нас, внутри (...). Тьма, которая породила его, питалась мраком наших коварных и слабых сердец. Наше предательство Бога возвысило Гога». И далее: «Весь замысел о человеке погибнет, ежели мы не будем думать о том, как помочь душам, которые рядом, о жизни между душой и душой, и о нашей жизни с ними, и об их жизни совместно со всеми. Мы не сможем ускорить приход искупления, если жизнь не будет искупать жизнь».

Всю свою жизнь Бубер противостоял идеологии политического сионизма. Он возглавлял движение «Йихуд», стремившееся к созданию единого двунационального арабо-еврейского государства, во время Войны за независимость и после нее призывал к мирному решению арабо-израильского конфликта, видел корень зла в политике Нового Йишува —

сионистского населения Палестины, действиях ПАЛЬМАХа, в любой вооруженной борьбе за еврейское государство. Парадоксальным образом именно синтез идей Мартина Бубера и политического лидера Нового Йишува, первого главы государства Израиль Давида Бен-Гуриона, с течением времени превратился в официальную левую идеологию современного Израиля.

Однако, романтический призыв Мартина Бубера, его философские и этические поиски, несравненно значительнее сиюминутных общественно-политических проблем. Бубер и сегодня представляется одним из самых значительных мыслителей XX в., со всей полнотой выразившим чаяния и откровения невероятно трагической и вместе с тем бесконечно значимой эпохи. По-прежнему актуальными остаются слова, сказанные о нем в 1933 г. Львом Шестовым, его другом и собеседником:

«В истории мира был момент, когда кто-то отнял у людей свободу и подsunул им вместо свободы — знание. И еще ухитрился внушить им убеждение, что только познание обеспечивает им свободу. (...) Но нужно прочно держаться принципа Бубера: теофании могут меняться, но Бог не меняется. (...) И тогда лишь причастимся мы того огромного напряжения, всего его существа, которое он выразил в словах, что в нашем мире исполняется судьба Бога: тогда только поймем и почувствуем мы ту глубокую серьезность, которой пропитано все, что он говорил и писал».

«Гог и Магог» одна из первых книг, написанных Мартином Бубером на иврите, она вышла в свет в 1942 г., авторизованные английский и немецкий переводы романа появились несколько позже. В какой-то степени этот факт облегчает работу переводчика: современники шутили, что он еще недостаточно хорошо знает иврит, чтобы писать на нем так

же непонятно, как по-немецки. Данный перевод выполнен с английского издания и сверен с ивритским оригиналом. В передаче имен собственных мы позволили себе некоторую непоследовательность: так как действие романа происходит в Восточной Европе и герои его пользуются не современным ивритом, а Святым Языком, *лойшен койдеш*, в его ашкеназской версии, мы сочли правильным в большинстве случаев передавать ашкеназское звучание имен: Довид, Нафтоли, Мойше и т.д. Вместе с тем в библейских цитатах используется привычное для русского читателя написание, напр. Давид, а не Довид.

Библейские цитаты приводятся по синодальному переводу, но нумерация псалмов и наименования книг соответствуют еврейскому канону, а не Септуагинте.

Менахем Яглом

1. Цит. по изданию: М. Бубер, «Два образа веры», М., Аст, стр. 24.

2. Там же, стр. 49

3. Ключевое слово, от правильного произношения которого зависит дальнейшая судьба, см. историю в Суд. 12:5-7. Неким аналогом является понятие «пробирный камень».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хозе (Провидец)

Замок на холме к северо-востоку от Люблина когда-то утопал в болотах. Никто не хотел селиться в этих гибельных местах. Но вот четыре века тому назад евреям, торговавшим в Люблине, однако не имевшим права жительства внутри городской черты, приглянулись эти топи... Вокруг холма закипела работа, к синагоге и дому учения быстро прилепились сначала дома зажиточных, а там победнее, наконец — лачуги совсем бедных. Теснясь, они прижимались, прикипали к холму, и вот уже древний замок с церковью, башней и зубчатыми стенами оказался на вершине бурного водоворота еврейских улочек, проулочков и торговых лавок.

Пойдешь по главной улице (она называется Широкой) этого еврейского городка — и окажешься перед ничем не примечательным домом. Но стоит войти через узкие темные сени во двор, сразу увидишь там низкое, но вместительное строение с деревянной крышей и поймешь по длинному ряду

неосвященных мутных окон, что там никто не живет. Если заглянуть внутрь, в глаза бросятся пятнистые стены и темные балки потолка. Рядом, в доме побольше, на первом этаже, над которым высилась только мансарда, во времена наполеоновских войн жил Хозе, ребе Яков Ицхак, а строение во дворе называлось на идиш — «клойз», там он вместе со своими хасидами проводил время в молитве и учении, не желая посещать синагогу. Вообще хасиды, или «благочестивые», крепко сплоченные вокруг своего ребе, старались держаться подальше от городской синагоги. Из этого укрытия они боролись за души нового поколения.

Его называли Хозе (Провидец), потому что он видел все иначе, чем прочие. Рассказывали, что от рождения ему была дана сила видеть от одного края земли до другого, как на самом деле Бог предназначил человеку в первый день творения, когда еще и звезд на небе не было; но потом, когда человек извратил свою сущность, Господь спрятал этот первоначальный свет в свою тайную сокровищницу и уделял оттуда толику своим избранным, чтобы он освещал им путь. Но злые силы так нападали на ребенка, что он взмолился об отнятии этого света, дабы он мог видеть, как все, — на небольшое расстояние. Когда ему стукнуло двенадцать лет, Яков Ицхак не смог больше выносить своего ясновидения, он завязал себе глаза платком и открывал их только для молитв и учения, потому через семь лет глаза его сильно ослабели, и он стал близоруким. Этим затемненным взором, за которым все равно скрывалась видящая все насквозь душа, смотрел он на лица тех, кто приходили к нему с просьбой о чуде: бедные — о выходе из нужды, больные — о здоровье, неплодные — о детях, грешники — об отпущении грехов; потом подносил их молитвенные записки к самым глазам (правый был заметно больше левого), там были написаны их имена, имена их матерей и просьбы. Он читал их и перечитывал, вникал в них, а

потом отдавал габаю (домоуправителю), в обязанности которого входило возвращать их. И вот тогда по внезапно изменившимся глазам, по странно расширенным зрачкам было ясно, что он смотрит. Но куда? Он смотрел не прямо перед собой, не в это пространство комнаты, где находился, а в глубь времен, он всматривался в самый источник душ, чьи жилища, тела просителей как будто стояли перед ним. Он всматривался в них, как будто бы еще живущих внутри Адама, он видел, от Каина или от Авеля произошли они, как часто вселялись они в своем странствии в человеческие тела и что каждый раз в предназначенном им великом делании удавалось, а что — нет.

Не надо, однако, думать, что, видя всю полноту зла и горечь первоначального разделения душ, он отворачивался от согрешившего и не хотел иметь с ним ничего общего. Напротив, мало что так волновало и интересовало его, как грешный человек. Когда перед ним осуждали какого-нибудь преступника, не скрывавшего своих злодеяний, он обычно говорил, что ему милее злодей, знающий, что он зол, чем праведник, знающий, что он праведен. Это тем более удивительно, что «цадик и означает «праведный». Иногда он добавлял: «Верно, бывают и такие (он не говорил «такие цадики», но все так его понимали), кто злы, но не знают, что они злы. О таких говорится: «Даже у врат ада они не раскаются». Им верят, их просят спасти чью-то душу из ада, они входят в адовы врата — но обратно уже не выходят». И он повторял с коротким смешком: «Обратно уже не выходят!» Но он шел дальше по пути Любви и ни от кого не скрывал, что для него пламенный противник хасидизма дороже, чем вялый последователь, дух которого был когда-то зажжен, но не воспламенился. Было очевидно, что ребе всего важнее была страстность, внутренний огонь — без них ни дух, ни плоть не могут принести никакого плода, ни духовного, ни телесного. Впрочем, ему было

важно, каков все-таки этот плод. Ребе никогда не уставал восхвалять внутренний жар души.

Из всех историй о нем, которые и по сей день рассказывают хасиды, с сомнением покачивая головами, есть самая удивительная — об одном великом грешнике, который иногда приходил к ребе, и тот с ним охотно и долго разговаривал. Если другим людям случалось застать его, они возмущались: «Ребе, как вы можете допускать к себе этого человека?» Он им на это отвечал: «Я знаю о нем то же, что и вы. Но что я могу с собой поделать? Я люблю радость и ненавижу печаль. Этот человек страшный грешник. После совершения греха все люди хотя бы на мгновение каются, но лишь для того, чтобы еще полнее погрузиться в грех. Но даже в такие моменты этот человек противостоит душевной тяжести и не кается. Радость — вот что привлекает меня». И поистине ребе Ицхак ненавидел уныние. Однажды на чужбине он не мог заснуть на пышной свежей постели потому, что столяр, весьма благочестивый человек, мастерила ее в те девять дней, когда оплакивают разрушение Храма, и его печаль вонзалась в тело так и не сумевшего заснуть ребе, как тысячи заноз. Уныние казалось ему опаснее греха. Однажды жаловался ему один человек, что его во время поста искушает злая похоть, отчего он впадает в ужасную тоску. «Держись от уныния подальше, — сказал ему ребе, укрепив его сердце советами и наставлениями, — печаль заслоняет Бога от его слуги больше, чем грех. Сатана из-за того и старается соблазнить человека: не потому, что ему нужны сами грехи, но ему потребно уныние, чтобы человек уже не мог очиститься от греха. Он ловит бедную душу в сети сомнения».

Стоит еще добавить, что он сказал раз своему ученику наедине, а тот рассказал нам. «Удивляюсь, как это получается, — сказал он, — приходят ко мне люди в состоянии отчаянья, а когда уходят — они светлы, а вот я становлюсь...» — он

хотел уже произнести первый звук слова «унылый», но он так ненавидел даже это слово, что сказал «...угасшим и черным становлюсь я».

Полночь

Это случилось осенью 1797 года, через несколько дней после праздника Симхат Тора. К удивлению и огорчению верных, ребе Яков Ицхак не был на этот раз так безгранично светел и весел, как обычно, а вел себя как больной, всячески старающийся скрыть свою боль, делал судорожные гримасы, а когда танцевал со свитком Торы, шаг его был непривычно тяжел.

Еженощно вставал ребе перед полуночью, как это заповедано истинно благочестивым, чтобы оплакать разрушение Храма и углубиться в учение. Последователи тайной мудрости знают, что на переломе ночи демоны начинают бродить в виде собаки и осла. «Другая сторона» выступает из тьмы и ищет путь к Князю мира. Люди лежат в это время в своих постелях и чувствуют на языке вкус смерти. Когда же в полночь задувает вдруг северный ветер, зло обретает особую силу, как написано об этом: «Зло явится с севера», в это же время начинается и духовное противодействие. Кто в это время плачет об изгнании Шехины и погружен в Тору, тот может попать силы зла и приблизиться к Вышнему, да будет он благословен. В «Книге сияния» есть притча о короле, который самые драгоценные свои сокровища спрятал в ларь, а на него положил змею, чтобы алчные боялись приблизиться, друзьям же своим рассказал, как сделать змею безвредной и наслаждаться в сердечной радости красотой сокровищ. Вот почему хорошо бодрствовать перед полуночью.

В эту ночь, как то было в его обычае, сел Хозе прямо на

пол, босой, у дверного костяка, к которому прикреплена мезуза с начертанными в ней именами Божьими и посыпал голову печной золой. Он запел псалмы — плачевные, молящие о помощи, а потом встал и громко крикнул слова пророка: «Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим!» — и на этом закончил чтение псалмов.

Предписано произносить жалобные полуночные молитвы со слезами и воздыханиями. Так еженощно и произносил их Хозе. Но стоило ему дойти до слов «со гласом радости и славословия празднующего сонма» и «они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо», — и ликование прорывалось сквозь слезы и радость побеждала печаль. Однако на этот раз все было по-другому: он еле пробормотал эти гордые слова, а потом глубоко вздохнул. Прежде чем углубиться в изучение священных книг, промолвил он тихо: «Господи, неужели я из тех, о которых написано: «Какое право ты имеешь свидетельствовать о Законе моем?» Слезы хлынули из его глаз, и он долго не мог открыть «Книгу сияния», чтобы размышлять над тем, что относится к полуночи. После этого он поступил так, как всегда, желая исполнить целиком все предписанное для этого часа. Он сел на лавку, широко расставив колени и уперев в них локти, голову закрыл руками, прижимая их к глазам с такой силой, что векам становилось больно. Как всегда, сначала он не увидел ничего, кроме кроваво-красной стены; вдруг ее разорвал свет, сначала молочного оттенка, он становился все чище и белей, и, наконец, все стало яростным светом. «Зачем Ты это сделал мне?» — спросил Яков Ицхак.

Ровно год назад, тоже ночью, он молился, чтобы ему было позволено узнать, кто достоин стать во главе хасидской общины после его смерти. Он чутко прислушивался. «Яков Ицхак» — сказал уверенно голос. Он подумал, что его зовут. «Здесь я», — отвечал он. Молчание. Тогда он спросил

снова: «Скажи, кого поставить?» — «Яков Ицхак», — повторил голос. Так он и сидел до утренней зари на скамейке, больше ничего не услышал, да и не спрашивал ничего. Наутро после молитвы он, вопреки обыкновению, вышел из комнаты, где скрывался от лишних глаз, в большую комнату и присоединился к общей молитве. В мгновение ока окружили его ученики. Он медленно поднял руку, желая что-то сказать, но тут в дверях возникла свалка, через толпу прорвался совершенно незнакомый человек в талите, которую он, видно, накинул на улице, и подбежал к ребе. Его приняли за просителя, которые осаждали ребе, чтобы в «благоприятную минуту» попросить его о своих нуждах. Его хотели отстранить, но ребе не позволил. Когда этот человек подбежал к нему вплотную, ребе внимательно посмотрел на него. Сразу было видно, что это совсем молодой человек, красные мальчишеские руки неловко болтались, но вот рот его был ртом взрослого. Ребе смотрел только на него, и все вместе с ним. Человек этот вбежал с откинутой назад головой и так и держал ее. Пейсы его слегка трепетали, он сопел, мучительно втягивая воздух, но тонкие и почти свинцового цвета губы были плотно сжаты. Нельзя было избавиться от впечатления, что он испытывает сильную боль. Вдруг, прежде чем ребе заговорил с ним, он открыл рот и крикнул (голос его звучал как медная ступка, когда ее ударяют пестом): «Ребе, возьмите меня в ученики!» Это прозвучало не как просьба, а как требование, как если бы заимодавец требовал вернуть ему долг, да еще таким громкоподобным голосом. «Кто ты?» — спросил ребе. «Яков Ицхак, сын Матель», — ответил пришелец. Все вздрогнули. «Матель» звали и мать ребе. И сам ребе побледнел, на мгновение взгляд его изменился, как бывало, когда он всматривался в недоступную тьму времен, но вдруг зрение как будто изменило ему, веки дрогнули, и он вытащил из кармана очки (что он делал только в исключительных случаях) и уже через

них посмотрел на юношу. «Ты принят», — сказал он.

Год, который прошел с тех пор, был наполнен непрекращающейся мукой. Новый ученик и в самом деле вел себя как кредитор, поселившийся в доме должника, чтобы хоть таким образом вернуть свои деньги. На соучеников он смотрел сверху вниз, при их появлении на губах его скользила издевательская усмешка, которая, правда, тут же и исчезала. За бесчисленными паломниками со всех концов света, которые ежедневно толпились перед домом или в прихожей, он наблюдал своими серыми тусклыми полуприщуренными глазами, прислонясь к дверям, как будто занося их в какие-то списки. К учителю он всегда подходил с видом услужливым и смиренным, но на занятиях, где он отличался познаниями и остротой ума, всегда задавал коварные вопросы, на которые даже величайшему мудрецу было нелегко отвечать. Кончалась эта игра в вопросы обычно тем, что он деланно поражался ответу, стонал от изумления и восторженно шептал: «Да, так и есть, как говорит ребе!» Но хуже всего было, когда он регулярно просил ребе уделить ему время для особого разговора и под видом просьбы о помощи в борьбе с ежедневными искушениями души рассказывал о своей жизни. Ребе казалось, что ему рассказывают о событиях его собственной юности, только чудовищно искаженных, окарикатуренных. Там, например, где в его воспоминаниях маячила лукавая детская мордашка, здесь вылезала коварная рожа, где в памяти была ровная дорога — там зияла яма за ямой. Если рассказчик замечал, как меняется выражение лица у слушающего его, он восклицал: «Да, ребе, я великий грешник!» Так прошел год. В последний же день этого года перед вечерней молитвой ученик этот вдруг, не доложась даже габаю, прошел в комнату ребе и предстал перед ним. Ребе в это время сидел за столом при свете двух свечей и писал. Он не заметил этого появления и продолжал по-прежнему

водить пером по бумаге. «Ребе», — сказал ученик. Тот поднял черные кустистые брови и продолжал молча писать. «Ребе, — сказал он, — когда же вы откроете, как мне должно жить дальше?» Ребе осторожно отложил перо, чтобы не оставить на бумаге кляксу, и посмотрел на него. «Уходи!» — сказал он. «Что? Как? — бессвязно бормотал юноша дрожащим, неестественно высоким голосом. — Мне, мне уйти?» — «Уходи!» — сказал ребе и встал. Он наклонил свой мощный, с резкой вертикальной морщиной лоб по направлению к ученику, тот медленно отступал на подгибающихся ногах. Ребе довел его до дверей. «Немедленно собери свой узелок и уходи отсюда». — «Я хочу попрощаться с друзьями», — возразил тот. «У тебя нет друзей», — сказал ребе.

И вот ночью ребе, сидя на лавке, вглядываясь в ослепительный белый свет, вспоминал год и последний день этого года как одно мгновение, в которое совершилось одно событие. «Зачем Ты мне это сделал?» — спрашивал он. Ответа не было. И вдруг Якову Ицхаку стало смешно, что он спросил: «Зачем?..» Он засмеялся; он смеялся так, что упал с лавки и лежал лицом вниз с распростертыми руками и ногами до рассвета.

Кучер

Назавтра была пятница. Пятница сама по себе не имеет значения, она — вестник и предтеча грядущего дня. В Люблине ученики сразу же после утренней молитвы начинали готовиться к субботе, приступали к уборке дома, где учились. Со скамеек сметалась будничная пыль, мылись полы. Тут вошел ребе. Было сразу же заметно, что он только что совершил очистительное омовение, второе в тот день. Обычно он непременно делал это на рассвете. Волосы были еще влаж-

ные, он отряс с них воду. Потом подошел к ученикам, беря у каждого трубку, и, крепко затянувшись, отдавал ее владельцу. Раньше это было обычным ритуалом, но уже давно было оставлено. Все бросили уборку и смотрели на него в изумлении.

Потом он вошел в дом и приказал габаю начать прием пришедших отовсюду и уже несколько дней ожидающих его хасидов (в последнее время он избегал посторонних). Ребе не ограничивался в этот раз произнесением священной формулы «Да воссоединяется Господь, благословен Он и его Шехина», а всматривался в лица, вчитывался в записки с просьбой о молитве, внимательно всех выслушивал, и его суждения были так неожиданны и тонки, что поражали многих. Одному арендатору, жаловавшемуся на то, что он не в состоянии внести арендную плату, ребе посоветовал продать в счет выплаты все запасы, потому что следующий урожай будет очень богатым и цены упадут, так что ему нечего бояться. Другому, который жаловался на мучающие его сомнения и невозможность с ними справиться, ребе рекомендовал спать с открытым окном, заметив, что в непроветренном помещении душа задыхается.

К нему привели душевнобольного мальчика. Вместо того чтобы читать над ребенком, как это обычно делается, благословения и молитвы, ребе отвел его в сторону и пустился с ним в оживленный разговор. Было слышно, что мальчик поначалу отвечал нелепым бормотанием, потом вдруг удивленно вскрикнул, а потом заговорил, говорил долго, и только изредка его рассказ прерывался их общим смехом. Наконец ребе подозвал его родственников и велел им каждый день в это время приводить к нему мальчика и ни в чем ему не мешать, так как он ничего дурного никому не сделает. Мальчик, услышав это, весело засмеялся и громко подтвердил: «Ничего плохого я не сделаю».

Уже некоторое время с улицы доносились шум и крики, но ребе был слишком занят, чтобы их замечать. Но теперь крики «Довид!», «ребе Довид!» донеслись и до его слуха. Он вышел на улицу. Прямо у дверей шумела небольшая группа хасидов, явно только что приехавших издалека. Они толпились вокруг длинной телеги, запряженной двумя белыми крепкими лошадьми. Перед ней стоял кучер, которого, отняв у него кнут, держал за воротник какой-то необычайно крепкий парень, держал без всяких усилий. Однако кучер не мог и пошевелиться, а тем более сбежать, чего он явно страстно желал. Лицом к лицу с кучером стоял другой человек, вокруг него теснились ученики, они подпрыгивали, хлопали в ладоши и кричали: «Ребе Довид!» Человеку этому было ближе к пятидесяти, чем к сорока, он носил чистенький, хотя залатанный кафтан, перевязанный соломенным шнуром, а на густых блестящих вьющихся кудрях вместо обычной меховой шапки красовался тряпичный картуз. Лицо его дышало юношеской свежестью, ни единой морщинки не было ни под глазами, ни на лбу. Он что-то взволнованно втолковывал кучеру, но без всякой грубости, не выходя из себя. Стоило ему увидеть цадика, как он замолчал и низко поклонился ему. И все пришедшие последовали его примеру. Даже здоровый парень, державший возчика за воротник, не выпуская его из могучих рук, поклонился. Все стоявшие рядом не могли оторвать глаз от этого странного молодого человека и с удивлением заметили, что он покраснел до корней волос при виде ребе, хотя был уже не юнец, лет на двадцать всего моложе ребе Довида. Поздоровавшись, Довид стал быстро рассказывать люблинцу о том, что произошло. «Ребе, — кричал он, — что поделаешь с таким человеком! Он бьет своих лошадей! Как это можно — бить лошадей! Когда мы ехали к вам, по дороге все больше и больше хасидов с мешками и сумками подсаживались на телегу. Наконец я не выдержал. Мне стало больно видеть,

как лошади надрываются и кротко тянут тяжелый воз. Я наемкнул людям: мол, братья, слезем ненадолго. Тотчас все спрыгнули, а поклажа осталась на телеге, мы шли за ней. Можно подумать, что лошади побежали бойчее. Не тут-то было! Они шли медленно, сообразуясь с нашим шагом. Лошади — умные звери, чуткие животные, они понимают. Что же, вы думаете, произошло? Этот кучер вышел из себя. Вместо того чтобы радоваться, что люди берегут его имущество, он стал яростно хлестать лошадей. «Что ты делаешь?! — закричал я. — Разве ты не знаешь, что Тора запрещает мучить живые существа?» — «Полагается, — отвечал он, — людям на телеге сидеть». — «Но мы тебе столько же заплатим, как если бы мы ехали на телеге». — «Полагается!» — кричал он. «Но зачем же, — спросил я, — ты бьешь лошадей?» — «Это мои лошади», — такой он дал ответ. «Это еще не причина их бить», — говорю я. «Это бессмысленные животные», — говорит он. Видели бы вы, как они насторожили уши и прислушались, они понимали, что о них идет речь. «Ты думаешь, — спросил я, — что они везут телегу, потому что боятся побоев? Нет, они везут потому, что хотят везти». И что, вы думаете, он на это ответил: «Не желаю с вами спорить», — и еще сильнее стал колотить лошадей. И тут...

Вдруг кучер перебил его:

— Ребе, жальтесь, дайте молвить словечко.

— Что скажешь, Довид? — спросил ребе.

— Пусть говорит, — сказал Довид из Лелова.

— Говори, Хайкель, — сказал ребе, который знал по именам всех возчиков в округе.

Довид в это время снял свою шляпу, на голове его осталась только крохотная кипа, наполнил ее припасенным в кармане овсом и протянул лошадям.

— Ребе, — сказал Хайкель, которого все еще держали за воротник, — разве я не знаю отлично, кто это такой? Хоть я

и не из Лелова, но разве я не бываю там хоть раз в неделю? Разве я не слышал, что люди о нем говорят? Им, леловским, как будто и говорить больше не о чем. Знаю я, что он сам цадик, хоть и считается всего лишь вашим учеником, но он же сумасшедший! Разве не сбегаются к нему отовсюду хасиды с записками, разве они не были бы счастливы, если б он разрешил отдать ему «искупительные деньги»? Так нет, он не разрешает! Он не думает, чем кормить жену и целую ораву детишек! В своей лавчонке он торгует ровно на столько, чтобы прожить один день. «А не купите ли лучше вон у той вдовы справа, — говорит он покупателю, — или вон у того благочестивого человека?» Покупатель уходит, ничего не купив, а он садится и принимается за учение. Вот видите этот кнут, который у меня отняли, его я купил у него. И знаете, что он сказал, пока я выбирал? «Этот кнут, — сказал он, — для щелканья, а не для битья». Разве это не безумные слова? Нет, вы только послушайте, как он вел себя в этой поездке. Мы должны были быть здесь еще вчера. Ведь мы выехали из Лелова сразу после праздника Торы! В первом же городишке он приказал остановиться, созвал детишек, стал раздавать им сласти да еще подарил всем дудочки. Но это бы ладно! Он еще усадил их всех на телегу и приказал возить по всему местечку. Дети ездили и дудели полдня. Но и это еще не все! Стоило приехать в любое местечко, где жил хоть один еврей, он говорил, что должен его навестить, потому что в прошлый раз, когда он здесь был, тот болел, и надо узнать, как он себя чувствует, а у другого дочь выдавали замуж, вышла ли она, и он ходил к ним и узнавал, а я должен был стоять и ждать. Конечно, весь Израиль — его братья! Я наконец разъярился! Ну кого же мне бить, как не лошадей?!»

— Правда ли все, что говорит этот человек? — спросил ребе. — Правда ли, что в каждом местечке ты заставлял его ждать, уверяя, что везде живут твои братья?

— Да, это правда, — отвечал Довид из Лелова, — но я должен объяснить вам, как это все получилось. Когда я впервые появился у вашего и моего учителя, великого ребе Элимелеха из Лизенска, он не хотел, как вы знаете, сначала меня принять из-за того, что я слишком много, по его мнению, постился. Я спрятался у него за печкой, он все равно выгнал меня. В субботу я не дождался от него ни единого слова. Но когда я вернулся на следующий день, он вышел и радостно приветствовал меня. Сейчас я расскажу вам, что случилось со мной в этом промежутке. Ранним утром в воскресенье после бессонной ночи решил я, что мне нужно жить по-новому и долго этому учиться, прежде чем меня примет к себе ребе Элимелех. Так что я отправился домой. В первом же местечке меня заметил какой-то еврей, выглядывавший из окна своего дома, и крикнул: «Стой!» Я остановился, а он говорит мне: «Подумай, здесь живет твой брат среди совсем чужих людей. Как можешь ты спокойно пройти мимо и не узнать, как ему живется?» Я зашел к нему, мы долго говорили с ним и расстались хорошими друзьями. И потом, когда я вышел на дорогу, я понял вдруг, что не должен проходить мимо дома, где живет еврей, не поговорив с ним по-братски. Как только я поклялся себе в этом, в моем сердце вдруг произошла перемена. Я понял, что такое любовь к Израилю, и осознал, что чувство это прежде было мне незнакомо. Какая-то сила наполнила мое сердце верой и повернула меня в обратный путь. Так и получилось; я пришел к ребе Элимелеху, и он вышел мне навстречу и радостно принял меня. С тех пор я всегда исполняю эту свою клятву, и в этой поездке тоже.

— Хорошо, — сказал ребе и помолчал. Потом он, улыбувшись, спросил: — Ну а кнут ты и вправду у него отнял?

— Это правда, — ответил Довид. — Но, конечно, не собственными руками. Надо было остановить это избивание невинных животных. Но у меня не хватило бы сил. Поэтому

я попросил моего друга. Я хотел представить все это дело на твой суд и сказал другу: «Как только повозка остановится, держи его за воротник, да покрепче, Яаков Иццхак...»

— Что? Что ты сказал ему? — Переспросил ребе.

— Только, чтобы он держал его покрепче.

— Нет, что еще?

— Ничего, я только сказал: «Яаков Иццхак...»

— Как? Яаков Иццхак?

— Да, так его зовут, вот он, — и с этими словами Довид вывел вперед человека, который вынужден был, наконец, отпустить воротник кучера и кнут. Он стоял перед ребе и все больше краснел. Все глядели на него. У него были широкие плечи грузчика, но при этом очень прямая спина. Голова у него была большая, но узкая, темные волосы оттеняли бледность его лица, нос выдавался резко вперед, как будто рос прямо из лба, мягкий рот. Все смотрели на его большие руки с нежной кожей и тонкими пальцами — по ним трудно было догадаться о его огромной силе.

В этот момент из толпы любопытных выскочил странный человек в тулупе и белой овечьей шапке, ровными шагами прошел, раздвигая толпу, прямо к Яакову Иццхаку, стукнул его в плечо и крикнул по-польски: «Вот это Еврей!» И больше его не видели. Те, кто видели его, верили, что это был пророк Илия, о котором известно, что он бродит по земле, одетый в одежду того края, где находится, и говорит на языке той страны, где бродит. А молодого Яакова Иццхака с тех пор иначе и не называли, как Еврей, а позднее в хасидском мире — Святой Еврей.

Тут снова заговорил ребе, он сказал: «Да будут благословенны пришедшие!» — и протянул ребе Довиду из Лелова левую руку. «Да будет благословен пришедший», — сказал он и протянул правую руку Яакову Иццхаку.

В это время Хайкель с кнутом и повозкой успел исчезнуть из поля зрения...

Довид из Лелова рассказывает

Вскоре после этого Довид и ребе сидели в верхней комнате друг против друга. Они курили короткие трубки и дружески, ничего не говоря, разглядывали друг друга. Наконец ребе прервал молчание:

— Ты никогда не говорил мне, Довид, почему после смерти нашего учителя, великого ребе Элимелеха, ты приехал ко мне и продолжаешь ездить.

— Тут нечего рассказывать, — сказал Довид, — а то, что стоит рассказать, не делает мне чести.

— Все же расскажи, — сказал ребе.

— Ну хорошо, — ответил Довид, — кто лучше вас оценит забавную историю? Когда я подолгу постился, от субботы до субботы, и всячески изнурял и истязал свое тело, я стал высокомерным и бессердечным, в это-то время я услышал, что в мире существуют хасиды. Тогда я подумал: нужно пойти посмотреть, что это за странные существа, которые хотят достичь совершенства без постов и изнурения плоти. Однажды я встретил хасида, возвращавшегося из поездки к своему дядю. Я спросил его: «Ну что ты узнал от него нового?» Тот ответил: «Разъяснение слов «хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку...»». Я спросил у него: «А где он живет?» Тот ответил: «В Лизенске». Тогда я отправился в путь к ребе Элимелеху. По дороге я решил заночевать в Ланцуте и услышал, что там живете вы. Когда я услышал о вас, я решился просить о гостеприимстве. Ну, дальше вы сами знаете...

— Все-таки расскажи, — попросил ребе.

— Хорошо, — сказал Довид, — вы спросили меня, почему я решил остановиться именно у вас. Я сказал, что, судя по тому, что слышал о вас, могу быть спокоен, что у вас всякая еда приготовлена строго, как заповедано в Торе.

Тогда вы позвали слугу, велели ему дать мне две затрецины и выставить вон.

— Ну-ну, — сказал ребе.

— Тогда я уехал в Лизенск. Я вам уже рассказывал о том, что ребе меня не принял. Но об одной вещи я вам не рассказал. Я спрятался за печкой в доме учения; как только он вошел туда, он сразу пошел к печке и заставил меня оттуда вылезти. И вот я стою пред ним. Он спрашивает: «Откуда ты?» — «Из Лелова», — отвечаю. «Кто там у вас верней и тщательней всех исполняет предписанное Торой?» Я молчал, потому что не смел сказать, что это я и есть. Он долго ждал, потом позвал слугу, велел дать мне две затрецины и выставить вон. Дальнейшее я вам рассказывал.

— Тебе повезло, — сказал ребе.

— Повезло? — спросил Довид.

— Да, — сказал ребе, — но я так и не узнал, почему после смерти нашего учителя ты пришел ко мне.

— Именно потому, — сказал Довид, — что от вас я тоже получил две затрецины.

— Теперь я понимаю, — сказал ребе. — Но я хотел бы узнать еще кое-что. Мне говорили, что ты собирался приехать ко мне на праздник Суккот, но ты не приехал. Почему?

— Вот почему, — отвечал Довид, — я уже выехал, но в дороге задержался еще дольше, чем в этот раз, и, когда праздник уже начался, оказался в одной деревушке неподалеку. И мне стало страшно оттого, что не было мне даровано сидеть в это время за столом в Люблине. Но я размышлял и успокоил свою душу следующим: если бы мир знал, кто такой ребе из Люблина на самом деле, люди стекались бы к нему со всех концов света, чтобы быть рядом. И тогда этот стол должен был быть таким длинным, что простерся бы и до этого места, где я сейчас сижу, и я бы сидел за столом на самом краюшке. Значит, я и сижу за столом у ребе. Так я

провел два праздничных дня в радости и веселье. Потом я вернулся домой. Потому что сказал себе: время идти в Люблин прошло. Когда я вернулся, я узнал, что мой друг Яков Ицхак приехал навестить меня и ждал в моей комнате. И я сказал ему: «После праздника Торы, Яков Ицхак, мы оба поедem в Люблин».

— Что собой представляет этот молодой человек? — спросил ребе.

— Это же видно.

— Все же скажи, — сказал ребе.

— Я не знаю, — сказал Довид, — как можно рассказывать о ком-нибудь, кроме себя самого, разве что о детях. Если хотите, я расскажу вам о его детстве.

— Расскажи, — ответил ребе.

— В детстве по нему не было заметно, что он станет таким прилежным в учении, хотя в его родном городе, да и далеко вокруг, не было никого, кто мог бы сравниться с ним в силе и тонкости понимания, но об этом никто не знал. Люди жалели его отца, который был выдающийся ученый, что у него такой несмышленный сын. В хедере он внимательно слушал и молчал с задумчивым видом. Мне рассказывал об этом один его приятель. Никто не знал, с каким жаром он отдавался молитве, наоборот, считали его безучастным и вялым в вере, потому что он никогда не приходил к утренней молитве. В городе, где он жил, синагогу сразу после молитвы запирали, а он умудрялся пролезть в окно или через чердак и молился один перед ковчегом. Однажды отец его узнал об этом и был поражен. Раньше он не обращал на сына никакого внимания. Как-то раз он открыл дверь и увидел своего сына лежащим перед ковчегом. Он не вошел, тихо закрыл дверь. С тех пор он внимательно и исподволь наблюдал за сыном. Он заметил, что за обедом сын его просил всегда положить ему побольше, но ел мало, а большую часть еды

прятал в карманы или в специально припасенный мешок. Он стал расспрашивать людей и выяснил, что сын каждый раз после обеда уходит в бедный квартал, где к нему сразу сбегаются голодные ровесники и ребята постарше, и он раздает им еду, а после этого учит их тому, что сам успел выучить. Все это отец сложил в сердце своем и ни о чем не допытывался у сына. Он только попросил домашних побольше еды класть ему на тарелку.

Брат отца был бедным служкой при синагоге в одном отдаленном местечке. На самом деле он был одним из тридцати шести скрытых праведников. Ребе, а, кстати, почему говорят, что мир держится на тридцати шести праведниках? Разве в еще большей степени он не стоит на праведниках явных, наших вождях?

— Явные сами стоят на спинах скрытых, — отвечал ребе. — Но даже внутри них самих явленность, помогающая другим, покоится на скрытости. Все, что поддерживает бытие, скрыто. Но рассказывай дальше.

— Этот скрытый праведник, — продолжал Довид, — иногда приходил к брату. Они шли далеко за город, в поля; и беседовали о тайнах Торы. Однажды они взяли с собой мальчика, и он плелся сзади. Они вышли на луг, где паслись овцы. Вдруг они увидели, что животные затеяли схватку за какой-то клочок пастбища. Два барана, наклонив рога, встали друг против друга. Ни пастуха, ни собак не было поблизости. В мгновение ока мальчик вскочил на ноги и через секунду он уже стал властелином этого луга и распорядился своими подданными. Он развел дерущихся, все затихло. Каждой овце и каждому ягненку был выделен участок, где он мог щипать траву. Но многие животные не торопились приняться за еду, а толпились вокруг мальчика, который гладил их и говорил с ними. «Брат, — сказал служка, — это будет пастух стада».

— Почему же все это время, — спросил цадик, — о нем ничего не было известно?

— Ну, — продолжал Довид, — о детстве я больше ничего не знаю. Впрочем, когда у таких людей кончается детство? Я знаю только, что его женили почти ребенком. В родном городе он уже не мог удовлетворить свою страсть к учению и потому отправился в Апту, в йешиву, которую возглавлял его прежний учитель. Он скоро стал известным. Он знал все лучше всех, и знание это было живым, и он умел им распорядиться, как никто. Никому не было известно, что он преуспел и в тайном знании, которому предавался под покровом темноты один или с каким-нибудь близким другом. Один богатый булочник и шинкарь заполучил его в зятя. Сам он только пек булки, всем остальным хозяйством заправляла его жена, по имени Голделе. В своей могучей памяти она держала подробнейшие сведения обо всех, кто хоть раз останавливался у них, каждый должен был выложить ей всю подноготную. Молодой человек, которого она женила на своей старшей дочери, сразу после свадьбы стал раздражать ее своей непонятностью. Что это за человек, которого ты провела семь раз по кругу и о котором все равно ничего не знаешь? И не то чтобы он был таким уж скрытным; завидев ее, он всегда приветливо улыбался и отвечал на все ее вопросы, но в этом и таилось самое худшее. Ведь когда кто-то пытается утаить что-то, ты нападаешь, взламываешь стены его скрытности с помощью осадных машин и визнаешь все-таки, что же он пытался утаить. Обиднее, когда человек позволяет спокойно войти в душу и осмотреть все до последнего уголка, и все же ты не можешь ничего найти там. Рано обнаружилось и нечто худшее. Жена булочника присылала молодым, помимо обычной общей ежедневной трапезы, разные лакомства и хорошие вина. И вдруг она узнала, что большая часть присылаемого раздавалась больным и бедным. Людям, которые даже и

оценить-то этого не могли! Это было слишком! Она, конечно, гордилась своим зятем, о дарованиях которого много говорили кругом. И, мало того, она надеялась, что такой человек сможет за них походатайствовать и в других мирах. Но теперь она увидела, что он совсем негодящий: кто раздает дорогое вино нищим, не станет ученым. И это еще не все: он часто не ходил молиться вместе со всеми, а прятался в сарае своего свекра, там среди соломы и сена он устроил уголок, где молился со всем жаром своего сердца, когда чувствовал, что душа его готова к молитве. И наконец Яакова Ицхака, который не выражал ни малейшего желания изменить свои привычки, прогнали прочь от родительского стола. Еду ему носила теперь жена.

Но в один прекрасный день случилось то, что всех, а в особенности хасидов, привело в изумление. Вы знаете, конечно, что миква в Апте... Ребе, в чем тайна священного омовения?

— Ты прекрасно знаешь ответ и только хочешь узнать, того ли и я мнения. Скажи лучше сам.

— Хорошо, я скажу, что думаю, хоть ответа у меня нет. Я знаю только вот что: ты спускаешься и спускаешься к воде, все ниже и ниже, и только в самом низу ты склоняешься и ныряешь в глубину. Вот и все, что я знаю.

— И это верно.

— Но я все же прошу вас, ребе, дать ответ.

— Ты прекрасно знаешь, что наши мудрецы говорят, когда толкуют стих писаний: «Омовение Израиля — сам Бог».

— Нет, я все же не совсем понимаю вашу мысль, ребе.

— Погружение я имею в виду, Довид, полное погружение. Но никому, кроме ангелов, не дано погружаться по-настоящему. Выполнив свою службу, они погружаются в огненный поток и выныривают оттуда только для служения же. Только во время служения ангел становится собой, то есть тем единственным, кто может исполнить порученное ему,

и никто другой этого исполнить не может. Только в служении он обретает личность и перестает быть огненной рекой. Мы же погружаемся не в огонь, а в воду. Она не губит нас, но и обновления мы не знаем. И, погрузившись, мы остаемся самими собой. Но надо погрузиться так, чтоб над поверхностью ни волоска не было, и оставаться под водой, сколько сможем, не дыша. Это в наших силах. А теперь рассказывай дальше, Довид!

— Миква в Апте, — продолжал Довид, — имеет глубину в девяносто ступеней. Ни о каком подогреве воды и речи быть не может. Большую часть года она вообще покрыта льдом, и, чтобы окунуться, нужно его разбивать. Хасиды не ходят туда поодиночке. Обычно они спускаются группами человек по десять. Прежде чем спуститься, они разжигают небольшой костер, чтобы сразу после погружения согреться. Яков Ицхак никогда не ходил с ними. Он вставал перед полночью, шел в микву один, спускался туда, не зажигая света, возвращался домой, пел полунощные молитвы и затем на долгие часы углублялся в тайное учение.

В то время недалеко от миквы жила одна женщина, которая ночами пекла крендельки, чтобы пораньше утром отнести их на продажу. Она наблюдала некоторое время за Яковом Ицхаком и стала оставлять перед входом в купальню чан с кипящей водой, в который окунала, прежде чем поставить в печь, тесто, чтобы он мог хоть немного согреться. И он не пренебрегал этим, поскольку никогда не был склонен, подобно мне, к умерщвлению плоти. Торговка долго молчала об этом, но потом рассказала соседке, вскоре об этом узнало все местечко. Тогда хасиды снова признали его своим, а свекор упал в ноги и просил у него прощения.

Вскоре он оставил местечко и стал меламедом, детским учителем, переходящим из деревни в деревню. В одном таком местечке дети рассказали мне о нем. Они сказали: «Тут

есть такой человек, с которым ты должен познакомиться», — и так я с ним познакомился.

— Но почему же, — спросил ребе, — ты не приводил его ко мне до сих пор?

— Я пытался много раз, — отвечал Довид, — потому что я видел, что после стольких лет учения он нуждается в том, чтоб его вывели на верный путь. Но он всегда отмалчивался, когда я говорил об этом. Он упрямый парень. Ему не нравится подчиняться чужой воле, но и своей тоже, ему нужно их слияние. Праздник Суккот Яаков Ицхак провел в моем доме. Когда я, не ожидая ответа, предложил ему: «Поедем вместе в Люблин!» — он посмотрел мне в глаза. «Поедем!» — сказал он.

Стол

В боковой комнате постоялого двора, где часто обедали ученики Хозе, стоял длинный, узкий и некрашенный стол, очень старый и потрескавшийся от времени, но по-прежнему крепкий. Вроде бы это был обыкновенный стол, но почему-то он притягивал к себе взоры всех проходивших мимо. Возможно, потому, что у него был такой вид, будто он всегда здесь стоял и всегда здесь стоять будет. Рассказывали, что один таинственный цадик, который с какой-то непостижимой для прочих целью бродил по берегам рек, пришел однажды, следуя извивам реки Быстрицы, в этот люблинский постоялый двор. Он замер от изумления, увидев этот стол, а потом поднял руки и произнес: «Стой так до пришествия Мессии!»

За этим столом сейчас, как и всегда по пятницам, сидела небольшая компания учеников Хозе. В другие дни они обедали обычно в доме ребе, по субботам за его столом, в будни наособицу. В основном это были младшие ученики. Но Довид

из Лелова тоже обедал сегодня у ребе. А старший из учеников, худощавый Йуда Лейб из Закилкова, бывший ученик ребе Элимелеха, после его смерти задумавший создать и вести свой круг хасидов, но не сумевший справиться с этим, вообще не признавал никаких пирушек и никогда не принимал участия в питии меда и польской водки. Из тех, которые учились еще у Элимелеха, а сейчас пришли к празднику в Люблин, присутствовали известный глубиной своих помышлений Кальман из Кракова, который хотел познакомиться с новыми учениками, и самый благочестивый из всех — Мордехай из Стабниц, когда-то уговоривший ребе переехать в Люблин, мудрый Нафтоли — он приехал в Лизенск уже после того, как Хозе оттуда ушел и основал свою общину. Был там и Мойше Тейтельбойм, о котором рассказывают, что он долго противостоял хасидскому учению и даже отказался принять от ребе Элимелеха, одарившего его вниманием, тайное учение. Это был один из тех, о ком Хозе говорил, что страстный противник лучше вялого союзника, сейчас же он стал одним из светочей хасидизма.

Для Яакова Ицхака и его друга детства Ишайи, который присоединился к нему во время поездки к ребе, стол, обычно прижатый одной стороной к стене, был отодвинут и, хоть там было тесновато, для них в освободившемся пространстве поставили стулья. Ишайя был еще молчаливее, чем его друг, у него был вид человека, которого внезапно разбудили и он пытается вспомнить недосмотренный сон.

Едва они уселись, как со всех сторон закричали: «С каждого по кувшину меда!» Таков был обычай для новичков. Они с охотой повиновались. Но тут снова закричали: «Пусть каждый из вас расскажет историю из своей жизни. Два условия: она должна быть короткой и быть связанной с Люблином, хотя он не должен упоминаться». — «Я не умею рассказывать», — сказал Ишайя тихо. «Так не пойдет! — зак-

ричали остальные. — Ты попробуй, а если у тебя не получится, ты будешь каждую пятницу рассказывать, пока не научишься».

— Вы из него ничего не вытянете, — сказал Яков Ицхак, — давайте я расскажу сразу две истории, за себя и за него.

— Но тогда мы ничего не узнаем о его жизни!

— То, что вы узнаете обо мне, — сказал Еврей, — то же самое относится и к нему.

Посовещались и решили согласиться, если они выставят третий кувшин меду в виде штрафа. Яков Ицхак задумался, созерцая вырезанные прямо перед ним на столешнице буквы, которые были, по странному совпадению, его инициалами, и начал рассказывать:

— Первая история называется «Чему я выучился у кузнеца». Когда я жил в Апте у своего тестя, булочника, окно моей комнаты выходило на кузницу. Когда я утром садился с книгой у окна, в кузнице уже был разожжен огонь, мехи пытели, и кузнец без передышки бил по наковальне. «Бух! Бух!» С этим двойным звуком начинал я ежедневно учение. Со временем меня стало раздражать, что он всегда начинает работу раньше меня. Я стал вставать ни свет ни заря — ничего не помогало, по-прежнему молот уже колотил, и искры летели по всему переулку. «Не могу я допустить, чтоб он посрамил меня, я ведь тружусь ради вечной жизни», — сказал я себе и попытался его опередить. Я стал вставать так рано, что наконец начинал читать при свете свечи. Но он все равно принимался за работу раньше. Мне стало невмоготу, я спустился и пошел в кузницу. Кузнец, увидев меня, сразу Перестал бить молотом по наковальне и спросил, что мне угодно. Я рассказал ему обо всем и спросил, когда он начинает работать. «Еще недавно, — сказал он, — я начинал работу в обычный час. Кузнецы рано встают. Но вскоре я заметил, что стоит мне начать работу, и сразу же вы появляетесь у окна

и принимаетесь за чтение. Я не мог допустить, чтобы тот, кто работает только своей головой, опередил меня. Я стал все раньше и раньше разжигать горн, но это не помогло, вы всегда приходили почти сразу после этого». — «Но ты все равно не можешь понять моей цели». — «Я, конечно, не понимаю, но и вам не понять моей». Тогда я научился тому, что нужно пытаться понять, что поистине важно для другого.

— Ага! — закричал один ученик, который уже давно бурчал себе что-то под нос, — так ты из тех, которые хотят понять все и вся?

— Нет, — ответил Яков Ицхак, — но с тех пор мне кажется некрасивым спрашивать кого-то, понимает ли он меня, если я сам его еще не понял.

— Ты прав, — сказал Кальман. — Шимон, — обратился он к спорщику, — я слышал, что как-то после хорошей выпивки ты говорил друзьям, что ребе тебя не понимает. Это забавно.

— Хорошо сказано, ребе Кальман, — заметил другой ученик. — Ну а теперь, Яков Ицхак, рассказывай твою вторую историю.

— Моя вторая история еще короче. Она называется «Чему я научился у одного крестьянина». Однажды, когда я уже покинул Апту и отправился странствовать, встретил на пути огромную перевернутую телегу с сеном, лежавшую поперек дороги. Рядом стоял крестьянин, который попросил меня помочь поставить телегу обратно. Я прикинул про себя, что хотя у меня крепкие руки и крестьянин казался не слабым, однако вдвоем такую огромную телегу не поднять. «Я не могу», — сказал я. «Нет, можешь, — возразил он, — но не хочешь». Это задело меня. Доски валялись тут же, мы положили их под телегу, навалились изо всех сил, повозка дрогнула и начала подниматься. Снова нагрузили на нее рассыпавшееся сено, крестьянин погладил еще дрожащих и задыхаю-

щихся волов, и они снова потянули телегу. «Можно мне пройти с вами немного?» — спросил я. «Пойдем, брат», — ответил он. Мы шли рядом. «Я хочу тебя спросить», — сказал я. «Спрашивай, брат», — отвечал он. «Почему тебе пришло в голову, что я не хочу помочь?» — «Потому, — сказал он, — что ты ответил мне, что не можешь. А никто не знает, что он может, пока не попробует». — «Но почему ты все-таки решил, что мне это по силам?» — «Просто я так подумал». — «Что значит просто так?» — «Ах, брат, какой ты приставучий! Ну хорошо, мне это пришло в голову, потому что тебя мне послали». — «Ты что имеешь в виду, что телега специально для того перевернулась, чтобы я мог тебе помочь?» — «Ну что с того, брат?» — сказал он.

— Это хорошие истории, — снова встрял Симон, — но ты не все условия выполнил. Какое отношение они имеют к Люблину?

Глаза Еврея загорелись.

— Чему же вы выучились в Люблине, если не знаете, что у каждого свой путь служения? Ребе Довид рассказывал, как однажды несколько учеников одного знаменитого цадика, который тогда уже умер, приехали к люблинскому ребе. Они приехали вечером, луна как раз только что вышла из облаков. Они увидели его — он стоял на дороге и благословлял луну. Их поразило, что он делал это не так, как их прежний учитель, и они смутились. Потом, когда они вошли в дом ребе, тот поздоровался и сказал: «Что это был бы за Бог, если бы существовал только один путь к нему?»

Тут другой ученик вскочил на ноги и поднял руку.

— Что с тобой, Иссахар Бер? — спросили его.

Медленно и торжественно он ответил:

— Это правда, это на самом деле так и есть. Я умолял ребе указать мне путь служения. Он мне ответил: «Нет одного пути. Никто не может сказать другому, какой путь ему

надо избрать. Для одного это — путь учения, для другого — молитвы. Для третьего это могут быть милосердные деяния, четвертый должен поститься, а пятый — есть, и все эти пути ведут к Богу. Каждый должен узнать, к какому пути склонно его сердце, и тогда уже стараться изо всех сил следовать избранному.

— Вот именно, дорогой мой, — сказал Яков Ицхак, — а служение кузнеца в его кузнице.

— Пусть так, — сказал Шимон, — но что общего с Люблином имеет вторая история?

Еврей смертельно побледнел в одно мгновение, как накануне покраснел, увидев ребе.

— Вы всегда говорите, — сказал он, не поднимая глаз и тихо, но так, что это звучало громче, чем если бы он кричал, — об изгнании Шехины, вы плачете при мысли о том, как она скитается на чужбине и падает, изнуренная, на землю. И это не пустые слова, это действительно так. Вы можете встретить Шехину на всех путях земных. Но что делаете вы, когда вы ее встречаете? Протягиваете ей руку помощи? Страхиваете с нее дорожную пыль? И кто может это сделать лучше, чем люблинские ученики?

Шимон молчал с мрачным видом. Но Мойше Гейтельбойм наклонился вперед и ревниво спросил:

— Что ты имеешь в виду, говоря это? Мы знаем, что только немногим, способным на высочайшую собранность души, позволено помочь Шехине приблизиться к собственному ее истоку. И что значит, что мы встречаем ее? Мы знаем, что она показывается только одаренным особой милостью Божьей, как, например, ребе Леви Ицхаку из Бердичева, который нашел ее в Кожевенном переулке. Да и что это за дорога, на которой, как ты говоришь, ее можно встретить?

Глаза Якова Ицхака неотрывно смотрели на то место стола, где были вырезаны его инициалы. Он был бледен по-прежнему.

— Дорога эта, — сказал он, — по которой мы все идем навстречу телесной смерти. И здесь, где мы встречаем Шехину, добро смешано со злом, будь то вовне нас или внутри. В тоске изгнания, от которого она страдает, Шехина смотрит на нас, и взгляд ее умоляет нас освободить добро от зла. Когда мы освобождаем хоть крупинку истинного добра, то этим помогаем ей. Но мы отводим взгляд, потому что «не можем». Это случается с простыми смертными. Но здесь, в Люблине, никто не смеет сомневаться, что он «может», что он в силах помочь Шехине!

За столом сидел один ученик, недавно приехавший изда- лека к Новому году, он не пил. Он был учеником ребе Шлоймо из Карлина. Прошлым летом его учитель случайно попал в стычку между русскими и поляками и был ранен казацкой пулей. Тогда этот ученик основал свою общину. Но теперь он решил перейти к Хозе. Звали его Ури, но близкие друзья называли его Серафим. Он повернулся к Еврею:

— Говорить о Люблине может только тот, кто знает его изнутри. Что такое святыня, ты понимаешь, только войдя в нее. Кто знает Люблин, знает, что это — земля Израильская, двор этого дома — Иерусалим, молитвенный дом — Храмовая гора, а комната ребе — святая святых, и Шехина говорит его голосом.

— Это правда, — подтвердил Кальман, — когда человеку удается, как нашему ребе, всего себя целиком и полностью очистить и освятить двести сорок восемь частей тела и триста шестьдесят пять жил, тогда он становится быть достойным сосудом Шехины, и она говорит его голосом.

Яков Ицхак молчал. Он сидел, положив на стол сжатые в кулаки руки, хоть бледность и сошла с его лица. Ишайя закрыл глаза.

Компанию охватило беспокойство. Многие ученики встали, двое или трое подошли к одному, который не сказал до

этого ни слова, хотя обычно был самым разговорчивым из всех. Шутки-прибаутки так и сыпались из него. «Давай, Нафтоли!» — шептали они ему. Но он отвернулся от них и продолжал, как и прежде, смотреть на новичка так напряженно, как если бы хотел навсегда запомнить каждое слово и каждый жест его. Но через некоторое время он все же заговорил. Лицо его не сморщилось, не раздробилось на множество морщинок, как обычно, когда он рассказывал что-нибудь смешное. Оно оставалось спокойным и неподвижным.

— Нам весело, — сказал он, — нам весело, потому что нам хорошо здесь. И почему мы так веселы? Потому что мы здесь. Почему это так? Потому что здесь, в этом месте, происходит чудо.

— Чудо, — сказал Яков Ицхак, — не такая уж важная вещь.

— Что же важно, — возразил Нафтоли, — если не чудо? Я расскажу вам об одном чуде, сотворенном ребе. — Он сел, как это было заведено, когда рассказывали о чуде, со скрещенными ногами на стол и продолжал: — Когда ребе жил еще в Ланцуте, там был один человек, который отроду был беден, но нажил богатство. У него было много домов, но дороже всего ему было место в синагоге, которое он купил, прямо рядом с ребе. Но потом колесо судьбы снова повернулось, и он потерял все, что имел. Но он не хотел продавать свое место в синагоге. И на все предложения отвечал: «Это плод трудов всей моей жизни». Но потом он дошел до того, что стал попрошайничать на улицах и к тому же пить, так что порядочные люди отказывались сидеть с ним рядом. Наконец некто, желая приобрести почетное место, скупил все его долговые расписки и представил пред раввинским судом. Но когда утром в субботу люди пришли в синагогу, бедняк был на прежнем своем месте, и они не посмели его потревожить. Вечером перед Днем покаяния, перед молитвой, освобождаю-

щей от необдуманных обетов, из ковчега выносятся Тора и все бросаются к ней, чтобы поцеловать. Купивший место воспользовался этим моментом, когда законного владельца там не было, и занял его. Вернувшись, бедняк поднял скандал. Люди сбежались, чтобы помочь ему, началась свара, и свечи случайно загасили. Но когда все утихомирилось и хотели приступить к вечерней молитве, ребе вдруг закричал: «Вас судят на небе!» Все зарыдали, все обнялись со своими соседями с прежней любовью. Все продолжали молиться с горечью, но с обновленной душой. После молитвы ребе сказал: «Велика власть покаяния и возвращения к добру. Вам всем дарована жизнь». Так и случилось. В наступившем году не умер никто из бывших в синагоге.

— Чудо, — повторил Яков Ицхак, — не самое важное.

— Что же важно, если не чудо? — вскричал Нафтоли. — Чудо есть доказательство пребывания Шехины среди нас.

— Важны, — сказал Яков Ицхак, — слезы, важно покаяние, важна любовь. Важно, чтобы ребе освободил добрые силы и помог Шехине подняться из дорожной пыли. Чудо — это свидетельство, но так ли оно нужно, кто знает? Может быть, ребе прячется за чудесами, чтобы его никто не мог увидеть.

Но тут не выдержал Меир, младший брат Мордехая из Стабниц.

— Достаточно и предостаточно! Мы не нуждаемся в том, чтобы нас поучал невесть откуда взявшийся невежа, который не в силах понять ни кто такой ребе, ни что такое Люблин!

Волна раздражения прокатилась по комнате. Все вскочили и говорили друг другу что-то, яростно размахивая руками. Шимон, Меир и другие взобрались на стол и, сидя рядом с Нафтоли, стучали по столу оловянными кружками и кричали.

Яков Ицхак разжал кулаки и с силой положил раскрытые ладони на стол. Жилы на руках резко вздулись. Дрожь пробежала по его правому виску. Неожиданно противополо-

ложная сторона стола приподнялась. Те, кто сидели на столе и успели за него схватиться, были подняты вместе с ним в воздух, другие попрыгали с него и упали на пол. Шимон ударился головой о низкий потолок.

— Сделай как было! — кричали стоявшие Якову Ицхаку. На мгновение вздыбившись, древний стол замер, потом стал медленно и ровно опускаться, пока не встал крепко по-прежнему. Все молчали. Потом Иссахар Бер поднял руку.

— Да здравствует Еврей! — воскликнул он, и, хотя Меир, его учитель в тайном знании, зло нахмурился, повторил свое приветствие.

Легкая улыбка пробежала по тонким губам Якова Ицхака.

— Евреем быть тяжело, — сказал он. Потом он взглянул на стол и спросил: — Кто вырезал мои инициалы?

Никто не знал.

— Почему, — продолжал он, — почему две буквы «йуд»¹ одна над другой, а не рядом?

— Потому что рядом они обозначали бы имя Бога! — выкрикнул кто-то.

— По этому поводу, — сказал Яков Ицхак, — я расскажу вам напоследок еще одну историю.

— Рассказывай! — закричали ему.

Все мирно уселись за длинный и узкий стол. Яков Ицхак рассказал:

— Как важно для Еврея не превозноситься ни над кем, дружески выпивать и чувствовать себя равными друг другу, я узнал, еще когда учил алфавит. Я увидел в книге букву

¹ *Йуд* — десятая буква еврейского алфавита, похожая на точку с хвостиком, согласно каббале — прародительница всех прочих букв и исходная точка мироздания. Во многих печатных изданиях имя Бога не пишется, а обозначается двумя йудами рядом. На идиш с двух «йуд» начинается слово «еврей». Инициалы имени Якова Ицхака — тоже два «йуд».

«йуд», которая так похожа на точку. И спросил учителя: «Что это за точечка?» — «Это буква «йуд»», — ответил он. «Эта точка — она всегда стоит одна, или их может быть две подряд?» — «Могут и две стоять друг за другом», — сказал он. «Как же они тогда читаются?» — продолжал я расспрашивать. «Когда два «йуда» стоят рядом, — отвечал он, — они означают имя Бога, будь Он благословен!» Скоро я заметил, что в Святом писании в конце каждого стиха стояли две точки, одна над другой. Я не знал, что это знак разделения, я думал, что это тоже буквы «йуд». «Здесь, — сказал я учителю, — повсюду написано Имя Божье, будь Он благословен». — «Нет, — ответил учитель, — когда два «йуда» или когда два еврея стоят рядом, они означают имя Бога, а когда один возвышается над другим — это уже не Божье имя».

Кальман краковский и Мордехай из Стабниц заказали еще меду и выпили за здоровье друг друга.

Предсказание о Гоге

На следующий день, в субботу, после дневной молитвы целая толпа собралась за столом в клойзе во время третьей трапезы. В Люблине было заведено приглашать к субботнему столу даже врагов, если они пришли к цадику с просьбой или за советом. Они усаживались за стол, будучи врагами хасидизма, но, говорят, вставали из-за него, с тех пор перестав быть ими. Когда цадик произносил речь, гости изо всех сил старались сохранить свою враждебность и несогласие. Но это им не удавалось. Его голос был как горный поток, все сметающий на своем пути. Разумеется, не только голос. Все, что происходило в этот миг в комнате, и все, что не происходило, все соединялось в единую силу и вливалось в его голос...

Стол в клойзе стояли таким образом, что два из них, в глубине, располагались перпендикулярно к стене и прижимались к ней одной стороной. Другие два стояли диагонально, образуя незамкнутый треугольник, и в этом узком пространстве и стоял столик, за которым сидел обычно ребе, прямо перед входом в свою комнату.

Обычно за этой трапезой подавалось только одно блюдо — рыба. Обычай этот был загадкой. В Люблине его объясняли так: известно, что души праведных, которые еще не закончили своего странствия, входят в рыб. Их души освободятся, если рыба будет съедена в благочестии. Но так как с началом субботы в каждого еврея входит «высшая душа» и весь день остается в нем, то души, заключенные в этих рыбах, освободившись, могут помедлить, не сразу улетая на небо, а некоторое время оставаясь в святом сообществе.

Спустились сумерки. Вокруг сидящих толпилось много хасидов, они перешептывались, умолкали и снова начинали шептаться, пока в комнату не вошел ребе в белом шелковом субботнем одеянии. Сразу в комнате воцарилось прозрачное молчание. Ребе сказал благословение над хлебом, преломил его, попробовал, дал кусок кому-то из ближних. Потом он, стоя с закрытыми глазами, сказал начальную молитву: «Приготовьте трапезу совершенной веры, радость святого царя». Он говорил совсем тихим голосом, перечисляя небесных гостей, собравшихся невидимо на субботнюю трапезу. Потом голос его снова возвысился: «Роци священных яблонь — они пришли, чтобы праздновать с нами». После этого уже все хасиды вместе пропели особый гимн третьей трапезы: «Сыны дворца, вы, кто жаждете...» С необычным жаром пропели стих: «Приблизьтесь, созерцайте силу мою! Исчез суровый суд, изгнан, и нечестивые собаки больше не ворвутся». И потом, совсем просто, как житейские слова, ребе произнес псалом: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться...» После этого он выпил вина из кубка и сказал: «Я

пришел, чтобы выполнить правило третьей субботней трапезы, как это заповедал Иаков, отец семидесяти душ». Тут он опять возвысил голос и произнес следующую фразу так горячо и страстно, что все поняли, что в ней-то и заключен особый смысл этой субботы, отличающей ее от других: «Милостью Его мы спасемся от войн Гога и Магога».

Они ели и пили. Тем, кого ребе хотел обрадовать или отличить, он посылал кусок от своего блюда. Этому придавался особый смысл. Вся эта трапеза понималась как общее жертвоприношение, а ребе был первосвященником, — таким образом он заключал особый союз между собой и верными ему. Молодой Яков Ицхак получил от него щучью голову и залился краской в третий раз.

После трапезы ребе предложил спеть гимн «Бог, скрытый за тайными завесами». Он попросил краковского Кальмана произнести застольное благословение. Потом, как всегда, очень медленно выпил стакан вина.

Темнота сгустилась. Стало тихо. Неожиданно ребе наклонился вперед, так, что голова его уперлась в стол. Все скорее почувствовали, чем увидели, что он дрожит всем телом. Все сидели, боясь пошевелиться и затаив дыхание. Никто не посмел приблизиться к ребе. В молчании, почти бездыханном, протекло это мгновение. Стало еще темнее. И вдруг Ребе поднял голову. «Пылание вращающегося меча!» — крикнул он и опять замолчал, дрожа, но уже меньше, так, что это было заметно только сидящим рядом. Тогда он начал говорить тихо и с трудом, произнося слова, будто ведро за ведром вытаскивал из глубокого колодца:

— Написано: «Змей говорил Еве: «Вы будете как Боги, знающие добро и зло»». А разве еще до этого люди не знали, что есть добро и зло? Разве не знали они от Всевышнего, благословен будь Он, что позволено и что запрещено, что можно делать, а чего нельзя? Следовательно, они знали,

насколько это может вообще знать человек, — что есть добро и зло. Но Змей сказал, что только когда они станут Богами, они смогут различать добро и зло. Очевидно, это другое знание, не человеческое. Написано: «Тот, кто устроил мир, и создал зло». Раз Он его сотворил, значит, это не может быть чем-то, чего Он не желал, чтобы оно было. Оно должно быть другим Злом, иным, чем то, которое знали Адам и Ева.

Это другое Зло может знать тот, кто создал его. Змей сказал: «Вы узнаете Зло и Добро, как знает их Тот, кто создал и то, и другое, вы узнаете его не как должное и недолжное, но как две сущности, которые противостоят друг другу, подобно свету и тьме». Сказал ли Змей истину или солгал? Бог впоследствии подтвердил, что не солгал. Но и правдой его слова не были... Он сказал лживую правду. Всевышний, благословен Он, знает Зло и Добро, которые Он создал и создает, как знает Он свет и тьму, которые создал, как две силы, стоящие на краю мира друг против друга. Но первые люди, как только они отведали от плода древа, узнали Зло и Добро в смешении, причиной которого и стал их поступок. Потому и считается, что под скорлупой Ногах² зло и добро перемешаны.

Но что же это за Зло, созданное Богом? Это сила делать то, чего Он не хочет. Если бы Он не создал ее, никто не смог бы Ему противодействовать. А Он хочет, чтобы Ему противостояли. Он установил свободу. Он создал силу, которая может действовать, как если бы Всемогущего не было. Тварь не обольщается, когда думает, что может грешить, она имеет такую возможность. Вот что имеется в виду, когда говорят о том, что Бог сам ограничил себя, что произошло стяжение

² Скорлупа Ногах — букв. «свечение», также Венера. Одна из четырех сил четырех сил Другой стороны, описанных в видении Иезекииля (гл. 1), в отличии от прочих не полностью дурная, но представляющая смешение добра и зла.

бесконечного света. Нас учат, что Он создал внутри Себя пространство для мира. Но важнее всего то, что Он отделил от Себя частицу своего всемогущества, которую отдал человеку, и что истинная власть Бога сказывается и в способности человека противостоять Ему. И без этой власти, которая есть у каждого человека, не было бы и добра, которое истинно есть добро, когда делается всею силой, данной человеку. Но что же тогда есть Добро, сотворенное Господом? Это поворот к нему, когда человек отвергает зло со всей силой, с которой он мог бы восстать против Бога, — тогда он снова возвращается к Нему. Мир стоит благодаря этому свойству, благодаря возвращению. Это и есть свет, который во тьме светит. Потому написано: «Соделавший свет и сотворивший тьму». Тьма была создана, а внутри нее соделался свет и изъят был из нее. Как говорил мой учитель Магид из Межерича, будь благословенна его память: «Как масло в оливе — покаяние скрыто в грехе». Тьма для того и существует, чтобы вечно возрастал свет.

Змей — сам часть тьмы. Рассказывают, что он разрушил Божий замысел относительно человеческого рода. Не мог бы он этого сделать, если бы Бог не дал ему этой власти. Он соблазнил первых людей, но они могли сопротивляться ему. Это было искушение, а Бог всегда укрепляет искусителя. В книге Шмуэля говорится, что это Бог подвигнул Довида начать перепись народа, а в книге Паралипоменон — что это сделал Сатана. В книге Баир³ мы читаем, что у Бога есть сила, которая называется «злом», она-то и путает все в мире и ввергает в грех, из нее возникает и всякое злое человеческое побуждение, она называется еще «левой рукой» Бога. А в книге Зоар наши мудрецы открыли нам, что мы должны служить Всевышнему, будь Он благословен, обеими силами,

³ *Баир* — одно из ранних каббалистических сочинений, появившееся в IX-X вв., автором которого считается легендарный таннай Нехуния бен а-Кана.

Злом и Добром. Спросят: как можно служить Злом, разве не оно отдаляет нас от Бога? Высочайшее служение в том и состоит, чтобы, обуздав Зло с помощью любви, бросить его к подножию Божьему, это может сделать лишь истинно любящий Господа. Все искушения от Бога.

Почему же был проклят Змей?

При этом вопросе по толпе затаивших дыхание учеников прокатился шепот. Они вспомнили, как один человек, лукавый духом, живший здесь уже год, задал именно этот вопрос во время праздника Суккот неделю назад. «Как понимать, — спросил он, — что в Мидраше говорится: «Змей обречен быть наказанным»?» Но тогда ребе отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. А вот теперь...

— Почему Змей был проклят? — повторил ребе и возвысил голос. Теперь он заговорил медленнее, чем прежде. — Потому что он истину искушения пропитал ложью, исказив слово Божье. Господу угодно, чтобы и в искушении его слово и соблазн были ясно видны... Истина — это печать! Он не обманывал Авраама, когда искушал его. Он требует от него то, что дороже собственной жизни, требует в жертву сына, обетованного, дарованного Богом. Он требует действительно всего — чтобы потом подарить все сызнова отдавшему все и любящему Его. И это на самом деле Его посланник боролся с Иаковом, вышедшим в путь по приказанию Бога до рассвета, и покалечил его. В крайней опасности рождается милость, которая спасает заблудшего. И это Господь в милости и правде напал на Моисея на его пути в Египет, и искал убить избранного своего, и освободил его не прежде, чем обручился с ним, как с «женихом крови». Его милость — это помилование. Это ужасно, ужасно, ужасно! Трепет — вот ворота к Нему! Нет к Нему иного пути, как через темные ворота... Только тот может пройти через них, кто поистине любит Его, только Его и так, как только Его можно любить.

Он опять понизил голос:

— Написано: «Господь творит втайне». Пратемнота — это черный огонь. Из нее он создал пламя — темно-горящие искры темноты — и бросил их на пути мира. Искорка падает в душу человека и выжигает в ней все, что может бороться с ней. Тогда человек обретает страшную власть, и власть эта несет его как поток, пока по всей земле не загорится черное пламя, и все народы опаляются этим огнем. Так уж предопределено, что, когда тьма где-то воцаряется и тяжелее всего давит, в глубине под ее тронем пробуждается искра света. И тогда в самом сердце тьмы загорается чистое бесцветное пламя и белые искры вылетают во внешнюю тьму и живут в ней... У каждой искорки свое предназначение, и своя ей назначена мера. Но темная сила, хотя она и ограничена, все же пытается потушить эти искры, так как тьма боится света. Она переступает через все, чтобы добиться этого, как делал Змей. И с ней случается то же, что и с ним. Как написано о Санхериве: «Ассириянин, любимец гнева моего» — и сказал ему: «Вложу крюк в ноздри твои и узду в губы твои». А о Навуходносоре написано: «Царь Вавилонский, мой слуга», — и сказал ему: «И прогонят тебя от людей, и среди зверей будет жилище твое».

Но как бы гневно ни вздувалась тьма, никогда не удастся ей задушить искры света. Снова и снова рождается свет. Но снова и снова губится и тушится он. Он угасает, но прикладывается к силе, из которой снова вырастают новые зерна света. И сила растет. Она ранена и страдает от постоянной гибели своих светильников, но становится все крепче. Это похоже на то, что рассказывают о Мессии, который в виде прокаженного нищего будет сидеть у римских врат, перевязывая свои язвы. Но он будет исцеляться и становиться сильнее и наконец потрясет врата и разрушит их. Это изображение и образ всякой силы. И возрастание этой силы нужно

для великой последней битвы. Но и сила тьмы возрастает, и все плотнее и жаднее частицы, непрерывно вылетающие из нее, посылаемые на пути мира. И тем мощнее призывает она силу света к противоборству. Предсказано, что наступит час, когда огромный черный огонь охватит семьдесят народов и увлечет их за собой. Сам Господь будет вынужден бороться против этого пламени, которое явится в образе человека. А зовут его — Гог из страны Магог. Это о нем говорит Господь, что обратит его вспять, приведет в Землю Израильскую, в северные горы, и там он падет. Но уязвим он только для руки, которая будет вооружена знаком Всемогущества, как говорят последние слова Давида: «...железом и деревом копья».

Мы знаем, что деяния Бога в битве против Гога и Магога подобны деяниям его при исходе из Египта, а откровение народам после победы будет подобно Откровению Израилу на горе Синай. Путь всякого деяния лежит через тьму, но путь откровения — всегда через свет.

В комнате было совсем темно... В темноте светилось только белое одеяние ребе да еще его огромный лоб над едва видимым лицом. Снова голос его стал глуше. Все, кто знал его манеру говорить, удивились, что ему неимоверно трудно даются слова.

— Написано, — начал он: — «Воистину, Ты Бог, который скрыт, Бог Израиля, Спаситель!» Он — Бог Израиля и потому спаситель его. Но он спаситель именно потому, что он — Бог, который скрывает себя. Исцеление зреет в скрытости, и то, что там происходит, — «скрытая работа».

В Плиа⁴ говорится о том, что, если из имени Бога «Шаддай» изъять одну крошечную точкуку «йуд», останется слово

⁴ Плиа — древний (примерно 10 в.) каббалистический трактат, авторство которого приписывается таннаю Нехунии бен ха-Кана или даже его отцу Кане.

«шод», что означает «уничтожение». Благодаря этой точке ужасная мощь Господа, способная опустошить и разрушить мир, обращается нам в спасение. Это — сокровенная и изначальная точка Творения. До начала творения она стояла над Божественным светом, который, в отличие от земного света, эманирован, а не сотворен. Свет спасения пробивается чрез тьму, но Божественный свет выше нее и над ней. Поэтому написано: «Он сделал тьму своим убежищем». Поистине он скрывается и прячется во тьме, но написано: «Он укутался в одежды света», — и поистине светом он одет. Но над светом — точка. Тьму мы познаем, когда входим во врата трепета, свет же — когда мы из них выходим, но точку мы не узнаем, пока достигнем любви.

Ребе умолк. Все долго сидели в молчании, в темноте. Тогда леловский Довид запел мелодию нашего праотца Иакова, переданную нам Баал-Шем-Товом. Он запомнил ее, когда во время странствий его души был овцой в стаде Иакова и слышал, как Иаков играл ее на флейте. Все подхватили эту мелодию. Первые звезды стали заглядывать в окна. Потом, когда снова все замолчали, цадик встал. Остальные тоже встали и прочитали вместе с ним вечернюю молитву. Потом он зажег свечу и исполнил обряд отделения субботы от прочих дней. Свет ее подсветил его красноватое мощное лицо и всю фигуру. Когда он в благословении на уход субботы дошел до слов: «Тот, кто отделил священное от будничного, свет от тьмы», то стоявшие вокруг увидели, что по щекам его бегут светлые слезы. Потом все снова запели песнь на мелодию Баал-Шем-Това: «Тот, кто отделяет священное от будничного, да смилостивится над нашими грехами».

Вопросы учеников

Потом младшие, да и некоторые старшие ученики выбежали, взявшись за руки и танцуя, в переулки еврейского города и запели песнь о пророке Илие, который приходит с добрыми вестями и о котором написано, что он придет в великий и страшный день Господень, когда сердца отцов обратятся к сыновьям, а сердца сыновей — к отцам. Мордехай из Стабниц тихо сказал своему брату: «Он и есть Илия». Наконец они остановились перед Еврейскими воротами и закужились в хороводе.

Уже ночью все ученики собрались в доме ребе и там сели с ним за один стол, за «трапезу проводов Царицы» (она еще называлась, как все субботние трапезы, по именам праотцев — трапезой царя Давида, потому что Господь дал знать Давиду, что он умрет в субботу, и тот на исходе каждой субботы устраивал благодарственный пир). Все сидели в тесноте вокруг огромной супницы с борщом, ели его с только что испеченным хлебом и снова и снова наполняли тарелки. В промежутках пели священные и радостные мелодии, которые полагается петь в этот, подобный мосту, час, когда царица суббота отправляется на небеса и когда души праотцев напоследок еще разделяют с нами земную радость. Потому что в этот миг «высшие души» с нами и медлят, прежде чем начать возвратный путь. Все сосредоточивали свои мысли на том, чтобы перенести свет субботы в наступающие будни, даже во время пения запрещено думать о чем-либо, кроме субботы. В это же время разрешалось задать ребе любой вопрос, который придет в голову, — серьезный или шутливый, последние предпочитались. А потом было заведено просить ребе рассказать какую-нибудь историю, в чем он никогда не отказывал.

— Ребе, — кричали ему, — расскажите нам историю о ребе Элимелехе и царе Давиде!

— Я вам ее уже много раз рассказывал, — возразил он.

— Но сегодня, — отвечали они, — среди нас есть новенькие.

— Ну, тогда, так и быть, расскажу еще раз.

Ребе Элимелех не очень уважал Давидову трапезу и, только для того чтобы худо-бедно исполнить обычай, садился за стол и ел хлеб, запивая несладким чаем. И вот однажды пришел к нему в пятницу вечером какой-то крестьянин с ведром, в котором плескалась живая рыба, и предложил ее купить. Говор у него был, как у польских крестьян. Ребе отослал его к жене. А та сказала, что у нее есть все необходимое для субботы и что рыбы ей не надо. Но человек этот не успокоился, а пошел опять к ребе. Что-то было в нем такое, что заставило ребе призадуматься и опять послать его к жене с наказом, чтобы она непременно у него что-нибудь купила. Но та упорствовала. В третий раз появился торговец у ребе, достал рыбу из ведра и швырнул ее, еще трепещущую, на пол, закричав: «Вы хорошо сделаете, если приготовите этих рыб для проводов Царицы!» Тогда ребе Элимелех поднял брови (а у него были густые, нависающие над глазами брови, и он их приподнимал, когда хотел что-нибудь получше рассмотреть), посмотрел в глаза этому пришельцу и медленно сказал: «У меня нету уже сил, чтобы как должно устроить вашу трапезу, но я накажу своим детям это делать». С тех пор сыновья ребе Элимелеха едят рыбу и в прощальную трапезу.

— Но почему, — спросил кто-то, — ему была так важна эта трапеза?

— Потому, — отвечал ребе, — что мы едим ее как благодарственную жертву, — за то, что еще живы. И еще в честь того, что наша жизнь — это мост между Давидом, которого называли помазанником Божьим, и Мессией, тоже помазанником и сыном Давида.

— Вот что я хотел бы узнать, — сказал Нафтоли, — считается, что косточка Луз (она называется еще костью жизни), когда Адам вкусил от плода дерева, не принимала в этом участия, потому что это случилось в пятницу, а она наслаждается вкусом еды только на исходе субботы. Говорят, что одним из смыслов четвертой трапезы как раз и является питание этой кости. Сегодняшний борщ был хорош. Но неужели мы ничего лучшего не можем сделать для этой благородной кости, созданной из небесной субстанции?

— Ты сам можешь ответить на этот вопрос, — сказал ребе, — если вспомнишь, что еще рассказывают об этой кости.

— Все знают, — сказал Нафтоли, — что, когда человек умирает, эта кость остается неповрежденной, ни молот не может ее разбить, ни жернова размолоть, огонь не сожжет, и поэтому при Воскресении новое тело будет построено вокруг этой кости. Но это не ответ на мой вопрос.

Ребе улыбнулся. Эта улыбка тронула сердце молодого Якова Ицхака больше всего, что ребе сказал или сделал.

— Разве могла бы, — сказал ребе, — эта косточка быть такой стойкой, если бы для нее так уж важно было бы получать удовольствие?

— Я бы хотел узнать, — продолжал Нафтоли, — и это касается птицы Феникс. Когда Ева предложила и Фениксу вкусить от плода, он единственный из всех животных отказался, потому что ничего никогда не вкушает от одной субботы до другой. По этой причине только над ним, в противоположность всем остальным существам, не тяготеет неизбежная смерть. Я бы хотел знать, что побуждало его поститься целую неделю.

Улыбка ребе была такой проникновенной, что задела самую глубину сердца Якова Ицхака.

— Может быть, — сказал ребе, — он и не думал о посте, а просто ему не хотелось есть в этот промежуток времени.

— Поститься и не есть, — заметил Нафтоли, — это одно и то же. Я бы хотел знать все-таки — почему?

— Опять ты должен припомнить, — сказал ребе, — что ты о нем еще знаешь.

— Я знаю то, что знает каждый школяр, — сказал Нафтоли, — что он живет целую тысячу лет. Потом его тело засыхает, крылья отпадают, но из остатка размеров с яйцо все его члены обновляются, и он живет снова. Ну и что из того?

— Очевидно, — ответил ребе, — что Феникс думает о себе и вспоминает о необходимости питать свое тело только раз в неделю, и проходит целая тысяча лет, пока он снова не задумается о себе всерьез, и вот от этого он засыхает. И все начинается снова.

Тут вмешался Меир и задал вопрос:

— Перед третьей трапезой, трапезой Иакова, мы говорим, что благодаря заслугам Иакова будем спасены от войн Гога и Магога. Почему именно благодаря его заслугам?

— То, что мы, — ответил ребе и больше уже не улыбался, — именно Иакова призываем против Гога, причина этому лежит в его истории. Он выдержал схватку с Божественным ангелом, после этого он легко мог справиться с Исавом. Тот, кто охромел оттого, что небесная рука коснулась жилы бедра его, может противостоять любой земной силе. А наша субботняя радость о Боге разве означает иное, нежели то, что мы можем к нашему страху перед Богом добавить нашу любовь? Хромыми, но неуязвимыми выйдем мы из его рук.

Яков Ицхак не мог дольше сдерживаться.

— Ребе, — сказал он сдавленным голосом, — что означает этот Гог? Он может существовать во внешнем мире только потому, что он живет в нас, внутри, — он показал себе на грудь. — Тьма, которая породила его, питалась мраком наших коварных и слабых сердец. Наше предательство Бога возвысило Гога. Ни в душе, ни в людях нет больше силы света.

— Вот наглость! — взорвался Шимон, который начал ворчать уже при первых же словах Еврея. — Он оскорбляет ребе!

Одним движением руки ребе утихомирил всех.

— Ты слишком страдаешь, Яков Ицхак, — сказал он. — Человек не должен позволять себе так страдать.

— Что я значу, ребе! — пробормотал Еврей.

Ребе крепко сжал его правую руку.

— Завтра днем мы поговорим о тебе, — сказал он.

Одно против другого

В воскресенье после утренней молитвы молодой Яков Ицхак почувствовал, что сердце его страшно колотится. «Ты боишься?» — спросил он себя по старой детской привычке, и голосок, как будто действительно детский, отвечал изнутри: «Я боюсь». «Мне кажется, — признавался он позднее своему другу Ишайе, — я бы охотно сбежал, как Хайкель, когда я отпустил его воротник, но ребе сказал: «Пойдем», и в этом было больше силы, чем в моей медвежьей лапе, держащей Хайкеля».

Еврей сидел теперь напротив учителя. По комнате разливалось легкое печное тепло, к которому прибавлялся еще жар ярких лучей осеннего солнца, льющих из окна. И корешки книг казались горящими.

— О чем ты думал, Яков Ицхак, — спросил ребе, — когда решился прийти ко мне?

— Ребе, — ответил он, чуть помедлив, — я на это не решался.

— Как так? — спросил ребе.

— Решаться, — объяснил Еврей, — это как разбег перед прыжком. Но когда кому-то говорят «Прыгай!» — и тот

прыгает тут же, не размышляя, то это нельзя назвать решением. Правда, и раньше ребе Довид мне это говорил, но я не мог, а теперь смог.

— Почему ты не пришел раньше?

— Я боялся.

— Чего?

— Вас, ребе. Вашей близости.

Ребе помолчал немного. Потом спросил:

— А теперь не боишься?

— Нет.

— Почему же?

Еврей смутился.

— Может быть, — сказал он, колеблясь, — потому, что раньше ребе Довид говорил: «Поезжай в Люблин», а в этот раз сказал: «Мы поедем в Люблин». И я поехал, не успев даже задуматься.

— Но и раньше, когда ты боялся, ты ведь хотел приехать?

— Конечно.

— В чем же было дело?

— Ребе, — сказал Еврей, — это легко объяснить... Когда я ушел из родного города и поехал в Апту, там жил тогда святой человек ребе Мойше Лейб, который теперь сассовский ребе.

— Да, действительно святой человек! — подтвердил ребе.

— Ребе Мойше Лейб, — продолжал Еврей, — был добр ко мне и принял меня. Иногда во время молитвы я выходил из тела и разума. Цадик заметил это и однажды наедине очень сердечно сказал мне, чтобы я оставил этот путь, потому, сказал он, что мы поставлены здесь внизу не напрасно и не должны покидать свой пост. С тех пор он стал брать меня с собой, когда ездил выкупать посаженных в тюрьму за долги или навещать бедных вдов, чтобы пожелать им доброго дня, спросить их, в чем они нуждаются, дать им денег. Притом он совершенно не заботился, благочести-

вы ли и добры те люди, которым он помогал, или, наоборот, они — скопище всех пороков. Он не выносил, когда при нем кого-нибудь называли злым. «Человек делает зло, — говорил он, — только когда злой соблазн побуждает его. Но это еще не делает его злым. Никто не хочет творить зло. Или он просто попадает в тенета, сам не зная как, или он принимает зло за добро. Ты должен любить человека, который делает зло, с любовью помочь ему выбраться из водоворота зла, в который его загнало злое побуждение, с любовью должен ты ему объяснить, что высоко, а что низко. Без любви ты не добьешься ничего, он укажет тебе на дверь и будет прав. Если же ты назовешь его злым, будешь ненавидеть и презирать, ты сделаешь его действительно злым, желая ему помочь. Человек становится злым, когда замыкается в своем зле. Никто не зол, пока сам не заключит себя в тюрьму своих злых поступков. Не раньше он становится злым, чем замкнет сам себя в темном мире».

Еврей замолчал, но, заметив, что ребе ожидает продолжения, заговорил снова:

— Нечто похожее говорил мне и ребе Довид, когда я после долгих блужданий пришел в Лелов. И я понял, что это правда. Но это еще не вся правда. Это правда, касающаяся того, что происходит между людьми. Там, где есть любовь, она безгранична, и там предел власти Сатаны. Но для меня мало знать истину о зле в мире. Зло в мире могущественно, оно правит миром. Я не могу узнать зло в другом человеке. Потому что, когда я его встречаю в другом, я побеждаю его, чуждаясь его, ненавидя или презирая, или любовью. В обоих случаях оно остается непостижимым для меня. Я узнаю его только в самом себе. Там внутри, где никакая чуждость не отделяет и никакая любовь не спасает, там я чувствую некую силу, побуждающую меня отступить от Бога, пробующую использовать для этого лучшие силы души. Тогда я понимаю,

что зло могущественно и что не имеет значения, как я себя веду по отношению к другим, потому что оно умеет воспользоваться даже силой любви и отравить то, что было исцелено прежде. Но так не может продолжаться!

Было видно, что Еврею неловко выносить наружу то, что было скрыто глубоко внутри. Но он не мог удержаться.

— Поэтому я спросил у ребе Довида, — продолжал он, — что может сделать человек, чтобы спасти мир? И он мне ответил: «Помнишь, когда братья говорили Иосифу: «Мы праведны», он в гневе прогнал их. Но когда они признались: «Вина на нас за брата нашего», он сжалился над ними». Это была правда, но я не удовлетворился ею и сказал: «Да, это так. Но это еще не вся правда. Тут скрыта тайна. Я должен добраться до нее, а ты не можешь помочь мне найти ее. Я должен отыскать, где учат злу мешать пользоваться добром, которое им потом погубляется». И он мне ответил: «Тогда ты должен пойти к моему учителю в Люблин. Он умеет обращаться с добром и злом». Я услышал это и испугался. Но однажды этот страх пропал.

— Разве ты не видишь, Яков Ицхак, — сказал цадик, — что даже Бог пользуется злом?

— Богу это возможно, Он может заставить служить себе все, а Ему ничто повредить не может. Но добро, я имею в виду не Божественное добро, а то, что на земле, смертное добро, когда оно пытается подчинить себе зло, само ему незаметно покоряется. Растворяется в нем, даже не заметив этого, и исчезает.

— Но и это Божественный промысел!

— Да. И я знаю, что Господь сказал: «Мои мысли — не ваши». Но я знаю, что Он требует от нас чего-то, чего-то ждет именно от нас. И когда я не могу терпеть зла, которое Он терпит, то я вижу: в этом своем нетерпении и сказывается то, чего Он от меня требует.

— Расскажи мне, Яков Ицхак, когда ты впервые почувствовал, что есть сила, которая принуждает тебя к чему-то.

— Это было давно, ребе.

— И все же расскажи.

Еврей, тихо и запинаясь, стал рассказывать:

— Когда я покинул город Апту, жену и детей (теперь ее уже нет в живых), я поселился в одном имении, учил детей хозяина. В доме жила, уж не знаю почему, его замужня дочь. За столом она смотрела на меня без всякой симпатии, но как будто удивляясь мне. Мы не перемолвились ни словом. Однажды ночью, когда я читал при свече, она вдруг вошла ко мне. Она стояла передо мной босая, в ночной рубашке, и молча смотрела на меня, не вызываяще, а так, как будто она хотела кинуться к моим ногам, но не осмеливалась. Я увидел, что она красива, хотя раньше не замечал этого. Ее покорность обратилась в силу принуждения. Меня поразила ее красота, сердце пронзило сострадание к ней, как к живому существу, но в то же время от нее исходило принуждение. И оно было подкреплено моей жалостью и восхищением, оно воспользовалось ими. Внезапно я отдал себе отчет в том, что смотрю на ее голые ноги. «Не принуждай!» — крикнул я. Женщина, очевидно, не понимая моих слов, приблизилась ко мне. Тогда я выпрыгнул в окно и бежал всю мартовскую ночь, как можно дальше от нее. Позже, когда я работал в одном отдаленном местечке учителем, она пришла ко мне и, плача, просила простить ее, говоря, что какая-то сила заставила ее это сделать. «Я знаю, — утешил я ее, — что властитель принуждения переделся тобой, но прежде он должен был заставить тебя стать его одеждой».

— Но если бы ты и подчинился злему побуждению, разве это означало бы предать Бога?

— Бог, — сказал Еврей, — Бог свободы. Он, у кого есть сила заставить меня, не принуждает меня ни к чему. Он

уделил мне часть от своей свободы. Я предаю его, если позволяю кому-то управлять собой.

— Со мной в юности случилось нечто похожее, — сказал ребе, — правда, прыгать из окна не пришлось. В холодный зимний вечер на пути в Лизенск к ребе Элимеlexу я заблудился. Я увидел в лесу огонек, пошел на него и вышел к жилью. В доме было светло и тепло. Там не было никого, кроме одной молодой женщины. До этого я не видел близко женщины, кроме одной, которая пыталась вовлечь меня в свои сети, но я оставил ее, заметив на ее челе чуждый знак, и она потом действительно, когда мы расстались, перешла к «Другой стороне». Женщина в лесу накормила меня и угостила стаканчиком горячего вина, потом она села рядом и стала спрашивать: откуда я, что было со мной раньше и о чем я мечтаю в эту ночь. Я испугался чарования, которое пробуждали во мне ее глаза и голос. Страх пронзил меня до глубины, где не осталось ничего, кроме трепета перед Богом и слабого стремления любить Его. Но когда страх коснулся любви, то пробудил ее, и она огнем охватила всю мою душу. Ничего не осталось во мне, кроме страстной любви, зажженной этим огнем. В это мгновение я огляделся: не было никакой женщины, никакого дома, не было леса — я стоял на дороге, которая вела в Лизенск.

— Милость была на вас, ребе, — сказал Еврей.

— Когда ты понял, — спросил ребе, — что Бог есть Бог свободы?

— Когда мне было восемнадцать, — ответил Яков Ицхак, — в школе Апты я считался лучшим, и поговаривали, что ребе, когда уедет куда-то, что он часто делал, назначит меня за главного. Но я знал про себя, что только учился Торе, а о Боге не знал ничего. Я учил Его слова, я молился Ему, я горячо молился, но я не знал Его. Тогда я понял, что

только с помощью учения не достичь знания. Молитва приближала к Нему, но не к знанию. Это долго мучило меня. Однажды я вспомнил, что рассказывают об отце нашем Аврааме, да покоится он с миром. Он испытал Солнце, Луну и звезды, он узнал, что они не боги, он переходил из сферы в сферу и нашел их слишком легкими. И, наконец, узнал, что над небом и землей властвует Тот, кто создал их и ведет их. В этих размышлениях я провел три месяца. Искал и понял, что принуждение стремится овладеть всем, но что все стремится к свободе. И внезапно, помимо всяких размышлений и поисков, меня озарило в одно мгновение, что свобода живет у Бога. Это снизошло на меня в то мгновение, когда я произносил начальные слова утренней молитвы: «Слушай, Израиль». Мысль об этой полной божественной свободе сотрясала все мое телесное существо, зубы стучали так, что я не мог произнести последнее грозное слово молитвы: «Один». Только когда я по-настоящему понял, что для нас, пусть созданных из праха, существует свобода, я смог продолжить молитву.

— И со мной случилось подобное, — сказал ребе. — Когда я завершил изучение Талмуда, счастливый, убежал из города, бродил и любовался зреющими полями. Вдруг я увидел соседа, студента, немного старше меня. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Я завершил Талмуд», — отвечал я. «Ну и что?» — воскликнул тот. — Я в свое время тоже учил его, а посмотри на меня сейчас — я свободный человек, я свободно мыслящий». Тогда я понял, что все только начинается для меня. Я побежал в синагогу, открыл ковчег и распростерся перед ним, молясь, чтобы мне был указан верный путь. Вдруг я увидел огромную фигуру, до потолка, но не испугался, а приветствовал его, потому что узнал в нем отца нашего Авраама. «Ищи учителя, — сказал он мне, — который укажет тебе путь», — и я отправился к Магиду из Ме-

жерича, человеку Божьему, он жил еще в Ровно, и стал учиться у него своему пути.

— Путь, говорите вы, ребе. А может ли человек здесь, на земле, идти все дальше и дальше?

— Что ты имеешь в виду, задавая этот вопрос?

— Я имею в виду вот что. Человек видит перед собой ступень, но не может взойти на нее, пока живет в этом мире и заключен в этом теле. Должен ли он просить Бога взять его отсюда? Но ведь безусловно прав был ребе Мойше Лейб, когда говорил: «Мы стоим каждый на своем посту и не должны покидать его». Здесь должны мы сражаться со Злом, здесь!

— Ах, Яаков Ицхак, — сказал ребе, — что ты все о ступенях? Когда начинаешь думать о ступенях, конца этому не будет. Ты ведь знаешь, что ребе Михл явился после своей смерти моему ученику, ребе Гиршу из Жидачова, и рассказал ему, что там он переходит из мира в мир. Каждый раз мир, в котором он находится, кажется ему землей, над которой высится небо, которое ему неизвестно, но потом и оно оказывается землей. Вот так обстоит дело со ступенями. А путь человек должен строить подобно тому, как мостят дорогу. То есть он приносит камни, утрамбовывает их, присыпает песком — и когда сделает определенный участок, тогда переходит к другому, идет дальше, это и есть путь.

Он замолчал. Молчал и Еврей. Вдруг лицо Хозе, всегда красноватое, потемнело, а вертикальная складка, пересекавшая лоб, стала еще глубже. Но он молчал. Потом заговорил, но очень медленно, как бы перебирая слова во рту и пробуя, пригодны ли они.

— Но смерть, Яаков Ицхак, смерть...

Лизенск, город ребе Элимелеха, лежит в лесистых горах. Часто ребе Элимелех рано утром переходил мост через реку Сан и шел в горы, которые с этой стороны плавно поднима-

ются вверх, а с другой стороны, наоборот, круты. Он поднимался на вершину, которая имела правильную форму куба, и долго сидел там. На вершине этой был лесок, и его называли лесом ребе, а вершину — столом ребе, и еще долго будут так называть. Ежегодно на Лаг Ба Омер — тридцать третий день между Пасхой и Шавуот, праздником учеников, туда приходят отовсюду йешиботники, бегают и стреляют по столу ребе из луков. Разумеется, когда ребе приходил туда, ни один еврей, ни один поляк не смел приближаться к этому месту. Но время от времени двое из учеников ребе поднимались туда, чтобы практиковаться в одиноком созерцании. Одним из них был я, а другим — мой старший друг Залке, который всегда обо мне заботился (в прежнем рождении он был моим отцом). Однажды сидел я там, погруженный в мысли, соответствующие этому месту, о глубоком смирении и самоустранении. На этот раз стремление возгорелось во мне с такой силой, что я решил немедленно принести себя в жертву. Я подошел к краю скалы и хотел кинуться вниз. Но Залке незаметно следил за мной, он подбежал, схватил меня за пояс и уговаривал меня не делать этого, пока это желание совсем не исчезло.

Уже некоторое время габай стоял в дверях.

— Ребе, — крикнул он, когда воцарилось молчание, — сумасшедший мальчик взбесился. Он вопит, что пришел к вам, и только с вами хочет говорить.

Цадик поднялся. Он положил руку на плечо Якова Ицхака, который тоже поднялся, и они стояли рядом, и было видно, что ребе чуть выше этого крепкого молодого человека. Так они стояли несколько мгновений. А потом ребе повернулся и вышел с поднятой головой, как было у него в обычае, а за ним шел Яков Ицхак, опустив голову. Так был прерван их разговор.

Рубаха

Через несколько дней старшие ученики, те, кто не жили в Люблине, разъезжались по домам. Собрался и Довид Леловский, хотя ему тяжело было оставлять друга среди людей, многим из которых он был не по вкусу. Прощаясь, он с нежностью спросил его: «Ну теперь ведь ты доволен, Яков Ицхак?» Еврей молчал. Довид повторил вопрос. «Ребе внушает ужас», — сказал Еврей. Довид вздрогнул. «Он истинный человек», — сказал Довид, помедлив. Оба замолчали. Подошел Ишайя, который за время, что провел здесь, стал еще бледнее. С тяжелым сердцем уехал Довид домой.

Через некоторое время уехал и ребе, никто не знал куда. Ученики шептались между собой, что это одна из тех поездок, которые ребе время от времени предпринимал по примеру Баал-Шем-Това, приказывая кучеру отпустить вожжи и дать лошадям ехать, куда им хочется, без всякой цели. Во время таких путешествий случались странные происшествия, о которых потом кучер рассказывал боязливо, с темными намеками на чудеса, совершенные ребе.

Перед отъездом ребе сделал две вещи, смысла которых никто не понял. Он приказал, чтобы во время его отсутствия молодой Яков Ицхак принимал молодых людей, желающих поступить в учение, и чтобы он разрешал сложные споры, касающиеся Торы. Это было странно, потому что в Люблине тогда был Йуда Лейб из Закилкова, самый старший из учеников. Кроме того, ребе послал Еврею одну из своих рубах с наказом сразу же ее одеть. Яков Ицхак был в смятении от обоих этих распоряжений. Он подошел к ребе, когда тот уже садился в повозку, поблагодарил за подарок и попросил освободить его от поручения, для которого он был слишком неопытен. «Ты — правильный человек», — сказал ребе. «Может быть, можно еще с этим поговорить?» — спросил

Яков Ицхак. «Должно отдать необходимые распоряжения, прежде чем лошади увезут отсюда», — ответил ребе.

На следующий день сразу после молитвы Еврей в новой рубахе пришел в дом ребе и расположился в прихожей, чтобы исполнить свой долг. В это мгновение вошли несколько чужаков. Он посмотрел на них вопросительно, чтобы определить, не хотят ли они поступить к ребе в учение. И тут случилось нечто, что испугало его, как ничто в жизни не пугало. Он взглянул на одного из вошедших, вполне заурядного на вид человека, а потом невольно перевел взгляд на его лоб. И вдруг как будто пала завеса. Он оказался на берегу моря, огромные волны вздымались до небес. И вдруг они тоже разорвались пополам, как завеса, и показался человек, совершенно непохожий на вошедшего, но на лбу его была такая же печать, которую Еврей увидел у него. Вдруг волны проглотили его, возник другой человек, непохожий на прежнего, но с той же печатью на лбу. Но и он исчез, а глубина порождала еще и еще странные образы, но все были с той же печатью. Еврей закрыл глаза. Когда он открыл их, снова все стало, как прежде, — та же комната и вполне обычный человек перед ним. Долго он не решался посмотреть на него во второй раз. Когда же он это сделал, все повторилось: снова разверзлась бездна, а из нее возникали образ за образом. Но теперь Еврей победил смятение своего ума и решил выполнять свое простое и ясное задание. Он стал рассматривать всех пришедших, стараясь понять суть каждого. Он погружал каждого в глубину своей памяти и держал глаза открытыми, пока мог. И, наконец, на четвертом или пятом человеке он почувствовал, что что-то в нем изменилось: его взгляд проникал в глубину, скользил по ней с немислимой быстротой. Он стал видеть сквозь человеческую оболочку первоначальный, древний образ.

Смятение, которое он победил, снова вернулось к нему, когда кончилось время утренних посещений. Он пошел не к себе, а в дом молитвы и учения, надел талит и тфиллин, сел напротив ковчега и погрузился в безмолвную молитву. Тут случилась удивительная вещь, одновременно и смешная, но потом уязвившая его еще больше.

К западу от Люблина на берегу большого пруда располагалась деревушка Винава, теперь она входит в городскую черту. Это небольшое продуваемое со всех сторон ветром скопление деревянных домишек по обе стороны от синагоги. Когда Хозе уехал из Ланцуты (а там он поселился сразу, как ушел от своего учителя ребе Элимелеха), ему понравилось это место и он остался здесь, говорят, по ангельскому повелению. В городе ему не дали поселиться яростные враги хасидского пути. На самом берегу пруда жил человек, взявший в аренду шинок. Вся его жизнь протекала в мучительных и почти всегда бесплодных попытках оплатить аренду. Денег не было никогда. Но как только ребе переселился в Винаву, все изменилось. Каждый раз, когда приближался срок выплаты, шинкарь шел к ребе, и его молитва делала чудо — деньги всегда находились самым непредвиденным образом. Когда ребе уехал в Люблин, сила его молитвы все равно помогала шинкарю.

Неподалеку жил другой шинкарь, тоже арендатор. И вот в то время, о котором мы ведем речь, случилось, что ему нечем было заплатить. Жена его уговорила последовать примеру первого шинкаря и пойти к ребе в Люблин. Он приехал, и ему сказали, что ребе в отъезде. Он не поверил этому — не может ребе разъезжать просто так, без дела. Он пошел к цадику домой, там ему сказали то же самое. Он опять не поверил и пошел в Дом молитвы. Там он увидел человека в талите и тфиллин. «Никто кроме ребе, — подумал он, — не будет сидеть здесь в разгар дня в таком

наряде». Он подошел к сидящему и протянул ему записку с просьбой и «искупительные деньги», объясняя свое дело. «Я не ребе», — сказал Еврей. Это было слишком для опечаленной души шинкаря, и, поняв, что это не ребе, он упал в обморок. Еврея это странное происшествие и позабавило, и огорчило. Он привел упавшего в чувство, помог ему подняться и сказал: «Хорошо, если ты говоришь, что я был ребе, то я — ребе». «ребе, — спросил шинкарь, рыдая, — что мне делать?» — «Ты говорил псалмы, чтобы обрести помощь в беде?» — «Ну еще бы!» — ответил шинкарь. «Ты говорил псалмы по ночам, когда кругом тихо и тебе никто не мешает?» — «Я слишком устаю к ночи, ребе, много работы днем, к ночи на меня нападает глубокий сон». — «Тогда купи, — сказал Яков Ицхак, — большого петуха. И как только он закричит, вставай и молись. Каждое слово произноси всем сердцем, и твоя молитва будет не напрасной». Шинкарь поблагодарил и ушел. Еврей еще час сидел в доме молитвы. Время от времени он разражался смехом. Но это был печальный смех.

На следующее утро с первыми лучами солнца по еврейским переулкам Люблина бежал человек. В нем узнали вчерашнего посетителя. «Где ребе?» — кричал он. «Ребе в отъезде» — говорили люди. «Где ребе, — спросил он, — с которым я вчера здесь разговаривал?» — «Что еще за ребе?» — переспрашивали его с удивлением. Но этот человек больше не мог удерживать в себе то, о чем ему хотелось рассказать. «Я нашел клад!» — крикнул он. Не сразу он смог рассказать связно о том, что с ним случилось. Когда петух закукарекал, он спал сладким сном. Желая устранить помеху, он схватил что-то с полу и изо всех сил ударил в стену. При этом вдруг от удара выпал кирпич, и рука его, уйдя в образовавшееся отверстие, ударилась обо что-то металлическое. Он зажег свет и увидел маленький ящик. Он

вскрыл его и нашел там сверток с серебряными гульденами! Очевидно, они были спрятаны его дедом, который погиб во время войны, не успев рассказать свою тайну.

Молва об этом облетела все закоулки. Все судачили о «ребе», высказывали разные догадки. Наконец эта история дошла до Еврея. Больше он не смеялся. Ему казалось, что рубаха жжет ему тело.

Когда он пошел совершить омовение, за ним по пятам следовал странного вида человек. Он был страшно худ, на нем был желтый драный халат, а на почти лысой голове — крошечная шапочка. Еврей не обратил на него внимания, зашел в микву и уже было вошел в воду. Но тут этот человек подошел к нему и заговорил хриплым голосом: «Ребе, — сказал он, — дай мне что-нибудь». — «Видишь, у меня пустые карманы, — отвечал Яков Ицхак, — нет ни гроша». — «Ребе, — сказал человек, распахивая кафтан, — у меня нет даже рубашки». Еврей содрогнулся, взглядевшись в этого желтого человечка. «Возьми мою», — сказал он.

Человек взял рубаху и исчез.

Игра начинается

Среди учеников Хозе Йуда Лейб из Закилкова был самым старшим.

Он пришел к ребе Элимелеху одновременно с учителем. Когда Хозе уезжал, он оставался за главного. Ребе Элимелех в свои последние годы жил очень уединенно, учениками занимался именно Йуда Лейб. Самых ревностных среди них, с которыми он неустанно занимался, называл лейб-гвардией, но не говорил, кого они защищают и от кого. После смерти учителя они уехали вместе с Йудой Лейбом в Закилков. Но вскоре случилось нечто непонятное. Однажды Хозе спросил

кого-то из посетителей, где Йуда Лейб. «Он со своей лейб-гвардией», — отвечали ему. «К субботе они будут у меня», — сказал Хозе. В ту же ночь самый верный из лейб-гвардейцев выскользнул из дома и оказался в Ланцуте. На следующую ночь трое последовали его примеру. К концу недели никого из лейб-гвардии не осталось.

— Есть ли кто-нибудь еще у него? — спросил Хозе у того, кто пришел последним.

— Ни единого, — отвечал тот.

— Тогда он сам придет теперь, — сказал Яков Ицхак. Прошло десять дней, прежде чем это случилось. Был вечер.

— Никого не впускай сегодня, — сказал Хозе габаю, — я хочу сегодня лечь пораньше.

Когда Йуда пришел, его не пустили. Он не повышал голос, это было не в его правилах, но медленно и настойчиво повторял, что должен видеть ребе. Дверь открылась, и на пороге появился тот, кто годы был ему лучшим другом, в халате и трубкой в зубах. Вид его был непривычно величественным.

— Что случилось? — спросил Хозе. Габай скрылся.

— Ты забирал моих учеников, — сказал Йуда.

— Я никого не забираю, — сказал Хозе, — я беру тех, кто сам приходит.

Йуда стоял все еще в дверях.

— Подумай о ребе Элимелехе, — призвал он.

— Если бы он сейчас пришел, он бы тоже стоял на пороге, — сказал Хозе. — Как говорится в Мидраше: «Если бы Шмуэль жил тогда, когда вождем поколения был Эфта, то он бы поклонился Эфте». Нужно знать, кто вождь поколения, а тот, кто не знает, тот просто дурак, — он растянул последнее слово.

Тогда Йуда поклонился ему и остался в Ланцуте. Но жил он там не как ученик, а как соученик ребе, он носил по

субботам такой же белый халат и сидел рядом с ребе во главе стола.

Йуда Лейб был худощавый, раньше времени поседевший человек. Разговаривая, он не делал никаких жестов. Шаги его всегда были размеренны. Если он опирался на двоих людей, то ни к одному не склонялся. Его стремление к знанию осталось таким же, как в юности, и ни в чем он не находил удовольствия, кроме как в учении. Никто не мог обвинить его хоть в малейшем нарушении правил. Когда к нему обращались, он отвечал не сразу, а подумав. Он не любил смотреть на людей, но и ничего другого он не любил.

Через день после происшествия в микве он собрал у себя нескольких учеников. С Кальманом, которого упрасивал не уезжать, он полчаса беседовал, а потом тот все-таки уехал, покачивая головой. Из старших, кроме Шимона, который ворчал под нос больше, чем обычно, был Нафтоли. Он не относился серьезно к тому, по поводу чего они собрались. Он весело разговаривал с соседом и, казалось, смеялся над этим. Иссахар Бер, которого Меир накануне преследовал, цитируя каббалистические сочинения, с тем чтобы открыть глаза на опасность, исходящую от Еврея, уклонялся от приглашения, но все же вынужден был прийти. Меир, брат которого уехал, сидел безмолвно, но глаза его сверкали. Среди младших были двое особенно привязанных к Иегуде. Один из них — Иекутиль — казался воплощением глупости, которую он сумел обратить в добродетель. Второй, по имени Айзик, гордился своей хитростью. Он старался все время напоминать о ней своему обожаемому учителю.

Реб Йуда Лейб коротко объяснил, почему он собрал их: причина была в невозможном поведении новичка, который вел себя так, будто он сам ребе. «Пока ребе был здесь, он вел себя крайне почтительно, смотрел ему в рот. Стоило ребе уехать, как он стал принимать проходящих и вглядываться

им в душу, как ребе, будто он мог там что-нибудь увидеть! А теперь он уже начал творить чудеса...»

Но тут, как и в памятный вечер за длинным столом, Иссахар Бер вскочил и поднял руку. Он так волновался, что начал заикаться, но потом овладел собой.

— Нет, это ложь. Это Сатана, нашептывающий злое, говорит твоими устами! Способность совершать чудеса сама избрала Еврея. Оставь его в покое! — С поднятой рукой он пошел к выходу, остановился и крикнул еще раз: — Не трогай его! — и взмахнул угрожающе рукой, прежде чем выйти.

— Он помешан на чудесах, — сказал с усмешкой Нафтоли. — Он хуже меня. Его волнует только чудо, а не тот, кто творит его.

Йуда и бровью не повел, он как будто не слышал слов Иссахара Бера. Замечание Нафтоли он тоже как будто бы пропустил мимо ушей, хотя то, что тот сказал, имело отношение к его собственным словам:

— Египетские маги тоже творили чудеса и знамения. Что общего они имели с чудесами Моисея? Ничего, только видимость похожа. Нет большей опасности, чем фальшивое чудо. Нам нужно быть бдительными.

Он замолчал. В тишине раздался крик Нафтоли, который поразил всех тем, что в нем не было и тени насмешки и веселости, как обычно.

— Ребе бодрствует за всех нас, он знает, что делает!

Йуда Лейб помедлил с ответом.

— Там, где есть великий свет, — сказал он потом, — там собираются силы тьмы, чтобы его поглотить. Но как они могут к нему приблизиться, такие, как они есть? Они должны сами одеть одежды света. А свет привлекает свет.

Уже некоторое время Меир сидел, как будто готовясь к прыжку.

И вот он взорвался:

— Разве мы не наблюдаем вот уже целый год, — сказал он гневно, — как злые силы стремятся обмануть цадика? Разве не проник к нам их посланец, и ребе терпит его! Сам ребе говорил мне, что чудовище было послано к нам с небес. Но в первый раз его разоблачили, теперь они послали другого, более тонкой выделки.

— Хочу вам кое-что рассказать, — вставил Шимон, — я был вчера вечером у родных в Винаве. Когда я шел к дому, дорогу мне преградил наглый нищий и стал вымогать у меня милостыню. «Таким, как ты, я не подаю», — сказал я и пошел дальше. А он бежал за мной, почти наступая на пятки. «А молодой ребе дал мне рубашку!» — крикнул он мне вслед. «Какой молодой ребе?» — «Такой широкоплечий!» Ужасное подозрение возникло во мне. «Покажи эту рубашку», — сказал я. Он скинул кафтан. На воротнике рубашки была голубая вышивка. Я потом спросил сестру Айзика Рохеле, она стирает для ребе, она подтвердила, что это его рубашка. Вот что подарил «молодой ребе»! Помните, как он огорчил ребе во время прощальной субботней трапезы, а тот по своей доброте не захотел обращать на это внимания. И вот теперь этот выскочка показывает все свое презрение к учителю, отдавая бесценный дар проходимцу, чтобы показать, как мало он на самом деле ценит все, что связано с ним!

— Мы должны посоветоваться, что нам делать, — сказал Йуда Лейб.

— Разрешите мне вставить словечко? — спросил Иекутиль.

— Говори, — сказал Йуда Лейб неохотно, потому что никогда не знаешь, что скажут глупые уста.

— Мне кажется, — сказал Иекутиль, — что, когда пройдут сто двадцать лет, выскочка может попытаться занять трон.

Высказанная так грубо мысль причинила всем острое ощущение неловкости и стыда. Но она уже была высказана и требовала ответа.

Айзик, самый горячий последователь Иегуды Лейба, понял, что теперь его черед говорить.

В жизни Айзика было одно странное и загадочное происшествие. Когда он был ребенком, отец его владел в одном маленьком городке домом, где снимал комнату брат ребе. Однажды он не смог заплатить, и его выставили на улицу перед самым Рош Ашана. Говорят, что когда ребе, живший тогда в Ланцуте, узнал об этом за два дня до праздника, то пробормотал: «Будет потеря». В тот же день отец Айзика вышел из дому, чтобы закрыть ставни, и больше его никто никогда не видел. Еще ребенком Айзик пошел к одному из цадиков, чтобы узнать, когда вернется его отец, но напрасно. Когда ребе оставил дом ребе Элимелеха и осел в Люблине, ему помог устроиться там один из его приближенных хасидов, который был дядей Айзика. По его просьбе ребе взял в дом Айзика и его сестру Рохеле. Она вскоре стала вести хозяйство, на ней был весь дом, а брат стал учиться. Он не оставлял надежды, что ребе скажет ему однажды, где его отец, но спрашивать не решался. Когда ребе обращался к нему, он отвечал, не поднимая глаз. Он очень привязался к Иегуде Лейбу и всегда был рядом с ним.

— Разрешите мне, — сказал он, приподняв, как он это делал всегда перед тем, как начать говорить, свое и без того кривое левое плечо, — разрешите предложить, что нам делать дальше касательно ребе?

— Говори же, Айзик, — сказал Йуда Лейб, и впервые в его голосе звучала какая-то теплота.

— Я думаю, — сказал Айзик, — нам нужно обратиться к ребецен, жене ребе.

Все замолчали. Но было видно, что это предложение им понравилось, всем, кроме Нафтоли, который, когда они принялись обсуждать детали этого плана, резко рассмеялся и как бы между прочим сказал:

— На меня вы тут не рассчитывайте.

Говорить с женой ребе было поручено Айзику.

Жена ребе

Циля, жена ребе, родила ему четырех сыновей и дочь. Старшему, Израилю, было тогда около восемнадцати лет, он недавно женился. Он любил одиночество. К отцу он испытывал такое почтение, что первый никогда не осмеливался заговорить, а ждал, когда тот обратится к нему. С учениками он близко не сходил, жил своим домом и к отцу приходил с женой только по субботам и праздникам. Про него уже в ранней юности можно было сказать то, что сказал один из учеников Еврея гораздо позже: он был «трактатом в себе и для себя». Второй сын, Иосиф, четырнадцати в то время лет, был очень робок и никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись предварительно с отцом. О десятилетней дочке было известно только то, что она гораздо больше была привязана к Рохеле, чем к матери. Третий сын был болезненный шестилетний ребенок, а четвертый еще лежал в колыбели.

Циля была маленькой женщиной деликатного телосложения, с очень узким личиком. Неизвестная болезнь пожирала ее. Она все время думала о смерти. И даже сразу после бракосочетания попросила ребе, чтобы он не замедлил помочь ей, как только она окажется в высшем мире. Она никому не говорила о своей болезни и уклонялась от вопросов. Она оставалась по-прежнему спокойной и ровной, только похудела еще больше и краска совсем сошла с ее губ. Врача в

дом она не пускала. Ребе старался угадать малейшее ее желание. Ни одного человека он не слушал с таким вниманием, как ее. Никогда не перебивая, выслушивал внимательно все, что она говорила.

Когда Рохеле доложила ей, что Айзик хочет переговорить с ней, и намекнула на предмет разговора, Циля вначале решительно отказалась. Но Рохеле настаивала, утверждая, что есть вещи, не терпящие отлагательства, тем более что никому не известно, когда вернется ребе. В конце концов она согласилась и назначила час, но настояла на том, что Израиль и Иосиф будут при этом присутствовать.

Любимым занятием Израйля были прогулки в окрестностях Люблина, особенно он любил созерцать воду. Он как раз гулял по берегу реки, когда его позвали. Израиль пришел, но предпочел стоять не вместе со всеми, а в стороне, в оконной нише. Он был высок, как отец, но гораздо уже и стройнее, в нем не было отцовской величественности. Он высоко держал голову, как отец, но взгляд его был гораздо печальней и всегда устремлен вдаль.

Черты Иосифа были гораздо грубей, чем у брата. Он все время мигал, как будто солнечный свет раздражал его.

Айзик начал осторожно, тщательно выбирая слова. Он рассказал о последних событиях, о личности сомнительного ученика и об известных ему обстоятельствах его жизни. Он поведал, что тот лишился благоволения родителей своей женой из-за неподобающего поведения, что жил как бродяга и что его покинутая жена умерла с горя. Все заметили, что жена ребе сначала слушала его совершенно невозмутимо. Но когда речь зашла о подаренной рубашке, нахмурилась и вздрогнула, услышав о смерти его жены. Айзик подумал, что настал момент коснуться самого главного. Он обращался одновременно к матери и сыновьям, но потом к одному только Израйлю.

Израиль все время стоял у окна. Иногда он даже отворачивался и смотрел на улицу. Но когда Айзик произнес главное обвинение, употребив иносказательное выражение «сто и двадцать лет», Израиль подошел к нему стремительно и сказал: «От меня ты не дождешься осуждения». Опустив голову, что было не в его привычках, будто стыдясь стремительности своих движений, он снова вернулся к окну.

Айзик, выше, чем обычно, приподняв левое плечо, вопросительно посмотрел на Иосифа. Иосиф же избегал смотреть на него и ничего не говорил даже тогда, когда Айзик подошел к нему и заглянул в лицо. Усмешка исказила лицо Айзика.

— Что, вы, хасиды, хотите от меня? — спросила Циля, когда он закончил свою речь.

— Чтобы вы предупредили ребе.

— Почему я?

— Потому что он прислушивается к вам.

Казалось, губы Циля стали еще блее.

— Я могу сказать ему только правду, — произнесла она с трудом.

— Правды достаточно, — ответил Айзик.

Израиль отошел от окна, с любовью взглянул на мать, кивнул брату и вышел. Оставшиеся в комнате молчали.

Сердце

Ребе в это время гостил у своего друга ребе Израйля Магида (Проповедника) из Козниц.

Когда ребе Элимелех почувствовал приближение смерти, он позвал своих любимых учеников к своему ложу. Они все приехали в Лизенск, в том числе и Хозе, который за год до этого с ним помирился. Все они пришли к нему, первые трое: Яков Ицхак, Менахем Мендель из Риманова, незаметный человек, лицо которого воплощало примиренность

со всеми, и, наконец, Израиль из Козниц. Ему позволили сесть потому, что он был увечный, лицо его было бледнее, чем у умирающего. Элимелех прикоснулся руками к своим почти слепым глазам, потом протянул руки к Хозе, и тот сразу же склонился над ним и в свою очередь прикоснулся к его глазам. Элимелех обнял обеими руками седую голову Хозе, а потом, обняв Менделя, прижал и его голову к своей. Наконец он положил правую руку на сердце, которому уже недолго оставалось биться, и сразу же прикоснулся ею к груди Израиля.

С тех пор все трое собирались время от времени, и их учитель был с ними. Обычно это происходило в Козницах, потому что Магид жил тогда там почти безвыездно. Он был сыном очень старых родителей, которые выпросили его у Баал-Шем-Това. Чудо случилось — ребенок родился, но он оказался очень болезненным. В детстве он перестал расти, был тщедушным и узкогрудым. Почти все время он лежал на кушетке, укутанный в шубу из кроличьего меха. Если он собирался встать на ноги, ему надевали особые тапки из медвежьей шкуры — только в них он мог стоять. В синагогу его возили в инвалидном кресле. Но там он преображался. Он поднимался и легкой походкой шел к ковчегу, все расступались перед ним. Он садился на высокий табурет и полностью погружался в экстаз молитвы. После молитвы «Восемнадцать благословений» он вставал на разостланную перед ним овечью шкуру, падал на нее и молился опять, иногда поднимаясь и подпрыгивая. Когда же слуги уносили его в кресле, он снова становился бледен, как смерть, но бледность его теперь сияла.

Он был велик в молитве. Молитва называется служением сердца, и ребе Элимелех всю силу своего сердца передал своему ученику. Он молился не только в положенное время, он молился, как дышал, — всегда. Словами и без слов. Когда он молился словами, то часто вставлял в высокое течение

молитвы слова низкого языка, потому что так ему велело сердце. Иногда он выкрикивал любовные словечки, которые говорят польские крестьянки своим парням, когда собираются с ними на ярмарку и улещивают их, чтобы те подарили им яркую ленточку. Но Магид не хотел выпрашивать подарков ни у кого. Когда он разговаривал с людьми на самые обыкновенные темы, речь его интонацией и подъемом все равно напоминала молитву. И один из прислуживавших ему говорил: «Когда смотришь на спящего святого Магида, то видишь, что он и во сне молится».

Отовсюду приходили к нему еврейские ремесленники и польские магнаты, умоляя молиться за них или прося совета, зная, что он, молясь, мог получить его. Он молился за всех. «Если Ты не спас еще Израиль, то спаси хотя бы гоев!» — такова была нередко его молитвенная просьба.

Так и в этот раз оба друга сошлись у постели ребе Израйля и беседовали с ним. Они беседовали не только о высоких и высочайших предметах, но и о событиях дня. О высоком они говорили, как о чем-то близком и привычном, а о земном — как будто оно было небесным. Иногда они молчали, но молчали вместе.

— Ветер поднимается на западе, — сказал однажды Хозе.

— Написано: «Вот идет буря Господня», — добавил Израйль, как будто молясь.

— Буря должна прийти с севера, — вставил Мендель.

— Ветер подчиняется велению Его, — почти пропел Израйль.

Они помолчали.

— Что-то совершается в глубине, — сказал Хозе.

— В глубине живет страдание. Написано: «Из глубины воззвал я», — подтвердил Израйль.

— Великая ненависть бродит в глубинах, — сказал Мендель, как бы предупреждая.

— Стрaдание больше ненависти. Написано: «Если ненавидящий тебя голоден, дай ему хлеба», — сказал Израиль.

Опять молчали они.

— Стрaдание и ненависть — властители умеют пользоваться ими, — сказал тогда Хозе.

— Написано: «Грозящая рука будет сломлена», — сказал Израиль.

— Властители идут во главе народов, — сказал Мендель.

— Написано: «Я сделал тебя светочем народов», — сказал Израиль.

И опять молчали они.

— Морские рыбы пожирают друг друга, — сказал теперь Мендель.

— Левиафан пожрет их всех, — сказал Израиль.

— Он — Гог? — спросил Яаков Ицхак.

— Имя еще нельзя прочитать, оно не вписано еще.

— Когда же будет оно вписано?

— Когда мир будет лежать в родовых муках.

— То, что сейчас начинается, разве не роды?

— Роды или просто схватки, этого не знает носящая во чреве. Написано: «Были беременны, мучились, — и рождали как бы ветер».

— От чего зависит это?

— От того, будет ли приготовлено место для дитяти.

— Кто приготовит это место?

— Кто окажется способным на это.

— Как приготовить место?

— Отделите возвышенное от низкого! — пропел Израиль. — Растопите материю! Выбросите шлак! Руда зазвонит!

— Где все это случится?

— На улице. Дома. В сердце.

Молитва

На этот раз Хозе остался в Козницах дольше обычного. Уже и Менахем Мендель давно уехал, а он все медлил.

Когда же он пришел попроситься, Магид попросил принести ларец и достал оттуда лист бумаги, на котором было что-то написано.

— Наш учитель, — сказал он, — как раз перед тем, как вы помирились, составил эту молитву и велел читать ее перед всеми остальными молитвами. Незадолго до смерти он дал ее мне и приказал передать и тебе в нужное время. Вот оно настало.

Хозе взял лист и уехал.

В Люблине жена сразу же поспешила рассказать ему о том, что случилось без него. Рассказ о том, как Еврей пытался увидеть истинный лик проходящих, и о чуде, которое он совершил, Хозе выслушал, улыбаясь. Но когда она рассказала о рубахе, Хозе вздрогнул. Однако он успокоил жену: мол, сам во всем разберется.

Он ушел в свою комнату и долго оставался там один. Он хотел уже позвать Еврея, но в этот момент ему попался на глаза лист, взятый у Магида. Он развернул его и прочел: «...Наставь нас на путь истинный. Сохрани нас от высокомерия, гнева, раздражения, от печали, и от клеветы, и от всех других дурных наклонностей, которые удаляют нас от святого и чистого служения Тебе. Пролей на нас Дух Твой святой, чтобы мы прилепились к Тебе и стремились к Тебе... Спаси нас от ревности ближних и в наших сердцах истреби ревность. Дай нашему сердцу видеть доброе в ближних и не осуждать их, дай нам говорить с ними в духе истины, что есть благо в очах Твоих... Аминь. Да будет воля Твоя».

Он встал и повторил молитву ребе Элимелеха. Потом он велел позвать Еврея.

По лицу того было видно, что он опечален. Ребе потребовал, чтобы он отчитался в том, что ему было поручено. Молодой Яков Ицхак рассказал, каких учеников принял за это время. Вместе с некоторыми из прежних они образовали небольшой кружок, который он возглавил. Кружок этот отличался ревностью в учении, никто не хотел отставать от других. Он стал описывать этих учеников и, характеризуя их, незаметно стал говорить о них такие вещи, которые ускользают от самой острой наблюдательности. Заметив это, он понял, что надо рассказать и о тех невероятных изменениях, которые произошли в его собственной душе. По голосу и выражению лица его было видно, что эта трансформация причиняет ему страдание. Под конец он попросил ребе освободить его от занятий с учениками.

— Я хочу, чтобы ты, как прежде, принимал новых учеников, — сказал ребе, — и чтобы ты приобщал их к учению. Теперь тебе будет легче. Но расскажи, что еще случилось.

Еврей хотел промолчать о странных событиях, как, например, об истории с сокровищем и о подобных этому, но ребе сам спросил его об этом.

— Правда, — сказал Еврей с неохотой, — случились не очень хорошие вещи. Это потому, что вас здесь не было, и потому, что люди слишком жаждут пустых чудес, а вместо чуда получают только подобие его. Они превратно судят обо всем. Но сами эти случаи настолько жалки и смехотворны, что, я думал, они недостойны ваших ушей.

Но ребе не успокоился, пока не услышал обо всем. Он слушал очень внимательно, видно было, что рассказ забавляет его.

Напоследок Еврей вынужден был поведать и о подаренной рубахе. Теперь он говорил не просто подавленно, но крайне удрученно.

Он заметил, что чело ребе потемнело.

— Вы сердитесь на меня, ребе? — спросил он.

— На тебя, Яаков Ицхак? — спросил ребе с удивлением, как будто речь шла о ком-то другом. — На тебя я не сержусь. Но объясни мне, почему ты отдал ее?

— Вот именно это, — сказал Еврей, — я не могу объяснить себе сам. Мне непонятно. Я был принужден. На этот раз я не смог выпрыгнуть из окна.

— Из сострадания? — спросил ребе.

Еврей задумался.

— Нет, — сказал он, помедлив. — Нет, не совсем. Отчасти это было сострадание, но не оно побудило меня. Сострадание идет из глубины, вид несчастного уязвляет нас глубоко изнутри, как рана... Но тогда это принуждение пришло не изнутри. Это было, как будто какая-то сила не хотела...

Он не мог говорить дальше.

Ребе больше не вынуждал его. Еще больше омрачилось его лицо.

— Ничего, — сказал он, — что случилось, то случилось. Не печалься об этом. Не всегда удастся прогнать их — «этих собак, этих наглых». Возвращайся к своему служению.

Еврей вышел в прихожую, где лежала расслабленная старая женщина, которую привезли из Варшавы. Она громко жаловалась на свои страдания. Неохотно взглянул он на ее чело. И вдруг лицо его просияло. Он видел только лоб этой женщины и ничего больше. Его дар у него забрали. Он отвернулся. «Благословен Тот, кто возлагает бремя на сердце, а потом забирает его».

Хозе остался сидеть в мрачном настроении. Он хотел еще раз прочитать молитву ребе Элимелеха и не смог.

Голделе в Люблине

Однажды утром Иекутиль вбежал, ухмыляясь, к Еврею. Он рассказал, что в гостинице появилась очень толстая жен-

щина, которая хочет говорить со своим зятем, Яаковом Ицхаком из Апты.

Еврей попросил у ребе разрешения и пошел к ней. Голделе встретила его сладкой улыбкой и злыми словами.

— А вот и ты, Яаков Ицхак, — сказала она.

— Да, вот и я, — ответил он.

Голделе истолковала его простой ответ как вызов.

— Я приехала сюда, чтобы напомнить тебе, Яаков Ицхак, о твоём долге, — сказала она.

— Не скоро человек понимает, в чем состоит его долг, — ответил Еврей. — Долг, как правило, сам пытается спрятаться от него.

Тут Голделе не выдержала.

— Что ты плетешь! — закричала она. — Ты знаешь, что у тебя есть дети, или нет?

— Я знаю, — ответил Еврей.

— Помнишь ли ты, — продолжала она, — что я писала тебе, когда ты ударился в бега?

— Я помню, — ответил Еврей. — Вы писали, что я дурак.

— А еще?

— Вы писали, что я недостойн иметь такую хорошую жену и таких красивых детей.

— А разве ты достоин был иметь такую жену, как моя бедная добрая Фогеле, да пребудет с ней мир?

— Нет, я был этого недостойн, и сейчас я этого недостойн. Как правило, человек всегда имеет то, чего недостойн.

— Ну ладно, — сказала Голделе. Она была обескуражена тем, что он с ней во всем соглашался, и в то же время уязвлена его непонятными репликами. — Может, ты припоминаешь, что я еще писала тебе?

— Вы писали, что я должен бросить свои глупости и немедленно вернуться в Апту.

— А разве это не были глупости?

— Нет, — сказал Еврей.

— Неужели ты и теперь не понимаешь, какой это было глупостью — все бросить и бежать, и именно тогда, когда ты помирился с моим добрым благочестивым мужем, да упокоится он в раю?!

— Я больше не мог оставаться среди людей.

— Опять ты несешь вздор! Разве тебе было плохо у нас? Что тебе не нравилось у нас?

— Мне было хорошо у вас.

— Ну ладно, — сказала Голделе, понизив голос, — а сколько денег ты присылал своей жене ежегодно?

— Больше я не мог.

— Да я не об этом! Мы заботились о Фогеле и детях сами, как только можно мечтать! Но... Мне рассказывали, что, уже когда прошло несколько лет после твоего ухода, ты купил себе тфилин за целый дукат! За дукат! Это правда?

— Да. Ребе Мойше из Пшевурска, автор книги «Свет лица Моисеева», собственной рукой написал для них разделы Торы. Я долго копил на это.

— Непостижимо! А помнишь, что я еще писала тебе?

— Я помню. Вы писали, что жена нуждается в муже, а дети в отце.

— И ты будешь с этим спорить?

— Вы правы, — продолжал Еврей очень тихо, как бы объясняя нечто себе самому. — Тот, кто впадает в руки Бога живого, не может быть ни мужем, ни отцом, пока Бог не отпустит его.

Голделе не могла найти слов.

— Что ты говоришь! Разве мы все не в руках Божьих? Ладно, короче. Ты так и не вернулся, а все время шлялся по свету!

— Да, от деревни к деревне.

— Ты обучал чужих детей, нimalo не беспокоясь о своих! А по временам исчезал совсем, ни один человек ведать не ведал, где ты шляешься! Когда умирал мой муж, напрасно посылали за тобой, тебя не смогли найти! И вдруг, не предупредив ни словом, ни строчкой, ты вернулся, но потребовал, чтобы никто не приходил к тебе. И мы должны были делать из себя шутов, ввали, что ты болен, и никто не приходил к тебе. И вдруг, так же неожиданно, ты исчез снова.

— Да, я странствовал.

— Странствовал, странствовал! Опять безумные слова.

— Матушка, — сказал Еврей, и глаза его вдруг посветлели, а голос потеплел, — разве вы не слыхали, что Шехина бродит по миру в изгнании и что мы тоже должны странствовать, подобно изгнанникам, пока не почувствуем, что блужданиям пришел конец.

Голделе смутилась, что случалось с ней крайне редко.

— Не будем об этом говорить, — сказала она почти умоляюще. — Это все прошло и не вернется. Но об одном я хочу тебе напомнить. — Голос ее снова зазвенел от обиды и еле сдерживаемого раздражения. — Ты, должно быть, забыл, что Фогеле после твоего последнего исчезновения в срок родила ребенка и умерла. Ты тогда снова неожиданно вернулся, и она, бедная, успела попрощаться с тобой.

— Я ничего не забыл, — сказал Еврей.

— Помнишь, ты дал ей клятву, — продолжала Голделе.

— Как вы знаете, — проговорил Еврей, снова тихо обращаясь к сидящей перед ним женщине, — когда ей уже немного оставалось, она спросила меня, любил ли я ее хоть немного. Я сказал ей по правде, что я любил ее почти как самого себя. Но это было бы ничего не сказать. Я любил ее больше отца и матери, больше друзей моей юности, и только Бога я не могу не любить больше. «Если это так, — сказала она, — тогда поклянись, что не женишься ни на какой другой

женщине, а только на моей сестре». — «Я охотно поклянусь тебе, что не женюсь ни на ком». — «Нет, — ответила она, — поклянись, что женишься на моей сестре Шендель Фогеле», — так она сказала слово в слово и повторила, изменив второе имя, но не заметив этого: Шендель Фройде (Радость). Тогда я должен был поклясться.

— Вот видишь, — сказала Голделе, — она позвала меня тогда и рассказала, в чем ты поклялся ей. А так как Шендель Фройде была еще ребенком, то, когда Фогеле умерла, мы не заводили об этом речь. И ты оставался с детьми, хотя часто отлучался, но я молчала. Когда прошло полгода, я напомнила тебе об этом, и ты ответил, что, когда время придет, ты исполнишь клятву.

— Все так и было, как вы говорите.

— И вот девушка выросла, — сказала Голделе, — а ты и не думаешь исполнять обещанное.

— Я думаю об этом, — сказал Еврей.

— Вот время пришло.

— Нет, еще не пришло. Я исполняю в доме ребе обязанности, от которых только он может меня освободить.

— Ты можешь, — сказала Голделе гневно, — пожить здесь еще некоторое время после свадьбы, раз ты считаешь, что так нужно.

— Время еще не пришло, — повторил Яков Ицхак.

— Значит, кто-то должен поговорить с ребе, — возразила она.

— Упаси вас Бог, — закричал вдруг Еврей, сверкая глазами на притихшую женщину, — упаси вас Бог хватать вертящееся колесо за спицы. Оно вам отомстит.

Голделе была больше всего поражена самой собой. Никто никогда не говорил с ней так, и она позволила это. Она стерпела. Она бросила всякие попытки уговорить зятя. Почти сразу же она уехала.

Через несколько часов после ее отъезда Айзик, зайдя сначала в гостиницу, побежал к жене ребе.

Орлы и вороны

Из всех учеников своих ребе больше всего любил разговаривать с Нафтоли, ему было важно, что тот скажет о прошедшем дне. Нафтоли всегда рассказывал все, что с ним случилось, и никогда не жалел об этом. Но он никогда не тщеславился, часто подсмеивался над собой. Он говорил, что не нужно стараться казаться умней, чем ты есть, и нельзя утаивать мысль, раз она тебе пришла в голову. И все же невозможно утверждать, что он недооценивал ум или мудрость. Однажды ребе спросил его: «Почему написано: «Будь простым перед Господом», а не «Будь мудрым перед Господом»?»⁹ Нафтоли ответил, что нужно быть поистине мудрым, чтобы быть простаком, ведя дела с Господом, надо дать ему обхитрить тебя. Ребе часто раздражало, что Нафтоли постоянно высмеивает себя или других. Однажды он потребовал, чтобы Нафтоли не шутил целый год. Тот очень неохотно согласился. Но с условием, чтобы ребе не задерживал свою молчаливую молитву больше чем на час (как это было у него в обыкновении) и не задерживал хазана и всех хасидов. Хозе не мог устоять перед веселой настойчивостью Нафтоли и обещал, но в следующую же субботу нарушил обещание. Он заметил, что во время этой молитвы Нафтоли отпустил шутку, которая вызвала смех среди окружавших его, хотя они старались его заглушить. Потом он спросил, что же такое смешное сказал Нафтоли. Тот ответил: «Я сказал, что у ребе такой вид, как будто он думает о свадебной ночи». — «А это правда», — подтвердил Хозе, смеясь. «В то время, когда я молюсь, приходит душа одного музыканта, ищущая спасения,

он поет мне мелодии, которые пел на моей свадьбе, чтобы напомнить о себе». Больше ребе не пытался изменить нрав любимого ученика. Иногда он укорял его. Но смягчал укоризну ласковым словом, потому что он явно ценил особую близость и понимание между ними.

Нафтоли, хоть и не чувствовал крепкую привязанность к Люблину, был и в этом свободен, как во всем остальном. После смерти ребе Элимелеха он сначала хотел стать учеником Менахема Менделя из Риманова. Но потом он посетил Хозе и привязался к нему. Тем не менее он часто посещал ребе Менахема Менделя и жил у него какое-то время, несмотря на несогласия, которые возникали между ними. Позже он любил рассказывать об этом.

— Когда я приезжал к ребе Менделю, я должен был иметь в голове все Святое Писание. Когда я возвращался сюда, я шел с друзьями в шинок пить мед. Есть разные пути. Перед ребе Менделем каждый должен стоять в благоговении, а перед нашим ребе, если ребе к тебе расположен, можно и пошутить. Однажды ребе Мендель приехал сюда, в Люблин, и мы, как обычно, устроили пирушку, веселились и танцевали один пуще другого на столе. Ребе Мендель крикнул: «Ну и ну!» — и мы обмерли от страха и затихли, как мышки. Но тут ребе крикнул: «А ну, давай!» — и мы снова заплясали как сумасшедшие, с удвоенным пылом. И Мендель, не говоря ни слова, смотрел на нас и терпел.

Следующей после прихода Еврея зимой стали ходить странные слухи о смутах и восстаниях. Хозе попросил Нафтоли разузнать, что происходит. В Польше готовилось восстание, хоть пока и скрытно, но явно для чуткого Нафтоли. А вскоре новости посыпались как из рога изобилия — о брожении во всем западном мире. То, что происходило в Польше, мало интересовало ребе. Но когда Нафтоли рассказывал о парижских событиях, он слушал с напряженным интересом,

прерывая его изредка репликами, которые как будто и не предназначались для ушей Нафтоли. Когда последний описывал ему, основываясь на том, что слышал, главных персонажей этой разворачивающейся мировой драмы, борющихся друг с другом, ребе устремлял прямо перед собой вопрошающий взгляд, знакомый тем, кто подавал ему просительные записки. В такие моменты казалось, что все его чудесные способности сосредоточивались в глазах. Вскоре, однако, пламя гасло в его очах, он тряс головой и бормотал: «Это не он!» Хотя Нафтоли и привык постоянно удивляться и ужасаться, общаясь с ребе, все же ему становилось не по себе при виде этих огненных глаз и этого бормотания, похожего на отдаленное ворчанье грома.

Во время этих отчетов Нафтоли часто заходила речь и об учениках. Никто лучше него не знал обо всех взаимоотношениях между ними, о постоянном соперничестве, случайных ссорах и примирениях. Никто не мог лучше понять их. Рассказывая, он как будто держал в руках весы и взвешивал на них тех, о ком говорил... Ребе благосклонно слушал, время от времени задавая вопросы, а когда речь заходила об Еврее, лицо его светилось интересом и симпатией. Оно принимало совершенно другое выражение, чем тогда, когда он слушал о происходящем во Франции. Но он никогда не задавал вопросов об Еврее. А Нафтоли говорил о нем с подчеркнутым уважением и доброжелательностью, хотя и как будто умалчивая о чем-то.

В конце третьей недели апреля Нафтоли докладывал ребе о событиях, происходивших во Франции в конце марта — начале апреля. Был третий день Песах.

— Вороны должны уступить место коршунам, — сказал вдруг ребе. — Да и вороны уже близко.

— Вороны заслуживают только презрения? — спросил Нафтоли.

— Не нужно, — ответил ребе, — презирать ворон. Они полны жизни. Но у них есть три сомнительных свойства. Во-первых, никакие другие птицы не могут соседствовать с ними, потому что вороний грай заглушает их пенье. Во-вторых, они считают себя единственными птицами на свете, полагая, что другие птицы только прикидываются, что они не вороны, и что они хотели бы орать, как вороны, но не делают этого из притворства. Вороны думают, что можно заставить выдать их истинную природу, если перекричать их. В-третьих, ворона не умеет быть одна; оставшись без стаи, она умирает от ужаса одиночества.

— Предположим, — спросил опять Нафтоли, — что орел живет в дружбе с воронами. Кому это будет тяжелее, орлу или воронам?

— Я вижу, — сказал ребе лукаво, — ты ждешь, что я отвечу — орлу. Но я разделяю твое мнение, что воронам такое содружество вынести тяжелее.

— А кому из них, — спросил Нафтоли, — нужнее такое странное сообщество?

— Орлу, — ответил ребе.

— Почему вы такого мнения, ребе?

— Потому что вороны изначально живут в стае. А если орел решает присоединиться к ним, значит, он действительно имеет в этом нужду.

— Да, — сказал Нафтоли задумчиво. — Это так, как вы говорите. И из этого следует, что орлу приходится все время идти на уступки, чтобы вороны его терпели.

Ребе засмеялся:

— Не очень веселая перспектива для орла.

— Да уж, это очевидно, — заметил Нафтоли, — но, в конце концов, неужели так уж обязательно им жить вместе?

— Нет, до этого не дойдет! — воскликнул ребе.

— Нет, конечно, не дойдет, — сказал Нафтоли, и внезапно его лицо сморщилось и стало старым, как будто оно не при-

надлежало человеку тридцати с небольшим лет. — Нет, до этого не дойдет. Я просто сделал такое допущение, потому что вы сказали, что теперь орлы уйдут, и к власти придут вороны, поэтому я и подумал, что вдруг они смогут договориться.

— Вороны будут править? — спросил ребе. — Я действительно сказал так?

Нафтоли не ответил. Он казался глубоко погруженным в размышления.

— Мы, — сказал он через некоторое время, сделав такой жест рукой, будто отметал свою прежнюю мысль, — мы сделали ценное приобретение в лице этого человека из Апты. Он очень способен к учению, но почему-то кажется, что его истинная сущность прячется за этой любовью к учению. — Он запнулся, вспомнив, как похоже говорил Еврей о ребе и чуде, а потом продолжал: — Всем известно, что он долго занимался каббалой, но потом оставил это. Меир говорил мне, что Еврей отказывается даже говорить об этом. Он находит это странным и подозрительным. Еще мне говорили, что он молится иступленно, но только когда на него находит. А вместе со всеми в установленные часы молиться не желает. Он ждет, когда душа его созреет и сможет вылиться в слове. Но ведь для каждого часа есть своя молитва, и человек не должен говорить: «У меня нет сейчас настроения».

— Если кому-то случается, — сказал ребе, — пропустить час молитвы из-за страстной любви к Богу, то это не подлежит наказанию. Поистине «блажен нарушивший закон во имя Бога». Ведь даже и мы часто пропускаем дневные молитвы.

— Это совершенно другое дело, — ответил Нафтоли. — У нас так бывает потому, что с помощью дневной молитвы, имеющей сходство с предстоянием на Небесном суде, мы стремимся определенным образом повлиять на высший мир. Для этого все участники ее должны быть в состоянии пол-

ной сосредоточенности. А наш друг из Апты не просто иногда пропускает установленную молитву, но имеет такое обыкновение — молиться в одиночестве. Нехорошо, когда избранные отделяют себя от нашего круга, в то время когда союз этот должен быть прочен как никогда.

— Человеческое сообщество, — сказал ребе, — предстоит перед высшими мирами. Но в присутствии самого Бога человек всегда как одинокое дерево в пустыне.

— Истинны ваши слова, — сказал Нафтоли, наклонив голову, — но когда другие замечают, что одно место пустоует, то внутренняя общность нарушена. Правда, этот несомненный вред уравнивается потрясающим умением этого человека обращаться с учениками. Самые ревностные из новеньких привязаны к нему, как и «старики». И в его кружке основательно учатся, основательно пьют. И то и другое они делают весело. О питье нечего и говорить, но что касается учения, вы сами знаете, как у его кружка пылают сердца. И нельзя сказать, что способные среди них общаются только с такими же способными; нет, они ищут тех, кто слабее, и поднимают до своего уровня...

— Нафтоли, — сказал ребе медленно, подчеркивая каждое слово, — среди нас нет ни орлов, ни ворон. Мы все блудные сыновья одного Отца. Некоторые из нас безумнее, чем другие, но разница невелика. Все мы заблуждаемся, одни чуть больше, но какое это имеет значение? Все мы братья и сыновья.

— Это правда, — сказал Нафтоли, кивнув еще энергичнее, — но вы говорите так, будто и вы один из нас.

— Конечно, я один из вас.

— Цадик, — сказал ученик, — звено между нами и Богом.

— Ах, Нафтоли! — воскликнул ребе, — если бы и ангел убеждал меня, что я цадик, я бы и ему не поверил.

— А я, — ответил Нафтоли с упреком, — могу поклясться, что вы — совершенный цадик. Но, конечно, мы все —

брatья. Поэтому особенно больно наблюдать, как наше братство разделяется и внутри него другое сообщество живет своей отдельной жизнью.

— Другое сообщество? — спросил ребе изменившимся голосом.

— Может быть, это не совсем точное слово, — пробормотал Нафтоли.

Ребе посмотрел на часы. Когда он делал это, как и когда надевал очки, это было знаком того, что нормальный порядок вещей изменился.

— Прими сегодня просительные записки вместо меня, Нафтоли, — сказал он.

Небесное письмо

В субботу после Песаха случилось странное и зловещее событие.

Чтобы смысл его хоть сколько-нибудь прояснился, надо иметь в виду, что в то время многочисленные противники хасидов считали их лицемерами и обманщиками, строя различные ловушки, чтобы доказать, что они не обладают теми добродетелями, на которые претендуют. Особенно легким им казалось разоблачить Хозе, который, превыше всего цenia смирение, был необыкновенно гордым человеком. Они не могли понять, что в одном человеке могут уживаться эти два качества, в отличие от гордости и высокомерия, гордости и тщеславия, которые как раз не уживаются вместе. Но различить их и впрямь бывает непросто.

Один из заграничных посетителей Хозе привез с собой, как многие, своего сына. Ребе сразу поразили пуговицы на сюртуке этого парня: они были по тогдашней моде огромные и блестящие. «Он не из наших», — сказал он сразу. Когда к

нему подвели юношу, ребе стал пальцем, как делают дети, играя, пересчитывать пуговицы. Когда он дошел до десятой, последней, то сказал: «Вот видишь, так действует и злой дух. Он говорит (и тут он ткнул в первую пуговицу): «Делай это», завтра он скажет: «Делай то (ткнул во вторую)» — и так все дальше, пока не дойдет до последней, пока пуговицы не кончатся».

Парень тупо посмотрел на него. Потом один из люблинских хасидов рассказывал, что парень после этого устался на висевшие субботние одежды ребе, долго на них смотрел совершенно бессмысленными глазами.

Вечером в пятницу ребе, как обычно, вышел из миквы, габай помог ему, как было заведено, одеть субботнее одеяние. Надевая белый шелковый кафтан, ребе сказал: «Как этот кафтан тяжел сегодня!» Положил руку в карман и достал свиток, запечатанный сияющей золотой печатью. «Не раньше конца субботы!» — сказал он и положил письмо в ящик стола. Уже сразу после встречи субботы все хасиды шептались о том, что ребе получил с небес послание, а наутро в еврейских переулках города только об этом и говорили. Когда суббота прошла, Хозе достал свиток, хасиды столпились вокруг, с изумлением рассматривая надпись и печать. На печати стояло имя Бога. Как только он заметил его, он отложил свиток и отвернулся. Еврей смотрел ему в лицо в это мгновение и заметил, что оно исказилось гримасой сильнейшего отвращения. Но сразу же он снова обернулся и сказал окружавшим хасидам: «Откройте его!» Они не посмели. «Ты открой его, Цви Гирш!» — сказал тогда ребе. Цви Гирш из Жидачова был знаменит своим тайнознанием и глубокими познаниями в каббале, а также остротой зрения и сноровкой во всем. В мгновение ока он снял печать, не сломав ее, и развернул свиток. «Читай!» — приказал ребе. Гирш прочел. В письме говорилось, что Яков Ицхак, сын Матель, есть избранный на

небесах Мессия. Он должен взойти на гору возле Люблина и, дув в шofар, созвать весь изгнанный народ, чтобы идти в Иерусалим. Гирш опустил голову. Остальные стояли в изумлении и вопросительно смотрели на ребе. Только Еврей и Ишайя, стоявшие рядом, смотрели на всех присутствовавших по очереди. Молчание длилось несколько секунд.

— Не так уж далеко от первой пуговицы до последней, — прошептал ребе, он подозвал одного из самых младших учеников. — Возьми эту тряпку, — велел он, — сожги и пепел разбросай на помойке.

В это же самое время парень с большими пуговицами исчез. Напрасно отец искал его повсюду. Много позже выяснилось, что он перешел в православную веру и царь назначил его цензором: он проверял все написанное на еврейском языке. Говорили, что был довольно мягок, исполняя свою должность. В старости, в 1831 году, он присоединился к польскому восстанию, а после его подавления бежал в Англию. Так говорили. В конце концов, однако, незадолго до смерти он вернулся к вере отцов.

Прощание

На следующий день Ишайя пришел к ребе и попросил разрешения уехать. Уже давно его звали в его общину в родном городе Еврея, — он возглавлял там раньше раввинский суд и синагогу. Он, однако, отказывался. Но вот теперь он чувствует, что пришло время. Он сказал на прощание, что семь месяцев пребывания здесь дали ему больше для понимания сущности веры, чем вся предыдущая жизнь, и просил разрешения вернуться к Новому году.

Ишайя был несколькими годами старше Еврея. Он пришел в его город, когда Еврей был еще ребенком. Но, несмотря на разницу в возрасте, они быстро подружились,

вместе учились и редко расставались. «Никто не может так учиться, как мы с тобой», — сказал однажды младший, когда они независимо друг от друга растолковали одно доселе темное место Писания. У Ишайи было аскетическое лицо, хотя он был далек от аскетизма. Он был очень скромнен и молчалив. Но когда его спрашивали о чем-то, он все знал лучше других. «Мой книжный шкаф» — называл его ребе, который был недоволен его решением уехать.

Позже два друга сидели на скамейке перед гостиницей.

— И все же, несмотря ни на что, лучше бы ты остался, — сказал Еврей.

— Лучше бы нам уехать вместе, — сказал Ишайя.

— Я должен остаться, — сказал Еврей.

— Ты заметил, что все только и ждали, что он поддастся?

— Не все, — заметил Еврей.

— Те, кто и не ждал, вели себя так, будто ждут, — сказал Ишайя.

— Мы должны смотреть на самого человека, а не на его отражение в чужих глазах.

— С такими людьми, как этот, — сказал Ишайя, — важнее даже их отражение, чем они сами.

— Другие безгранично верят ребе, — сказал Еврей.

— Легче жить, когда безгранично веришь в человека.

— А разве не надо верить в человека? — спросил Еврей. — Надо, но не беспредельно.

— Я боюсь, — заметил Ишайя, — что скоро и в меня поверят.

— А я боюсь оказаться недостойным, чтобы в меня поверили.

Молчание воцарилось опять. Первым заговорил Ишайя:

— Не стоит и говорить, что я и сам отношусь к нему так же. Он — могучая личность, и я не мечтал бы о большем,

чем называться «одним из учеников великого Хозе из Люблина». Но жить здесь, понимаешь, Яков Ицхак, жить я здесь не могу и не хотел бы мочь. Знаешь ли ты, Яков Ицхак, чем здесь пахнет?

— Я понимаю, о чем ты говоришь.

— Ну?

— Ты имеешь в виду, что здесь стремятся на что-то повлиять.

— Да, это так.

— А разве человек не должен стремиться к этому, Ишайя?

— Ты же понимаешь, что я хочу сказать на самом деле. Конечно, раз Господь бросил нас пресмыкаться здесь, мы должны стараться сделать жизнь лучше, а если получится — то и душу. И для этого некоторым даны тайные и скрытые силы. Но когда червяк встает на хвост и делает величественные жесты, заклиная небо, как будто от него зависит спасение мира...

— А может быть, и вправду спасение мира зависит от нас, Ишайя?

— От нас?

— Не заклинаниями, конечно, ими мы можем воздействовать только на самих себя. И когда мы стремимся спасти мир, мы терпим поражение. Когда мы хотим силой добиться чего-то, у нас не получается ничего. Но если мы не хотим что-либо изменить, вот тут мы и оказываемся способными к этому.

— Да, это мне понятно.

— Мы здесь, мы присутствуем здесь, Ишайя, мы созданы не напрасно. Да, мы слабые создания, беспомощнее многих, но не напрасно мы слеплены из праха. Когда мы думаем о руке Творца, которая лепила нас, можем ли мы думать, что это было напрасно! На нас следы его пальцев. И что гораздо важнее — Он вдохнул в нас свое дыхание. Благодаря его дыханию в нас жива душа. И как прекрасно, как чудесно

сознавать, что все ничтожно перед Его взором, но мы можем и обязаны, нам разрешено мыслить о Нем, исходя из нашего вида и образа, поскольку мы созданы по Его образу. Его дыхание! Его вид! Его взор!

Ишайя ответил не сразу.

— Мне нравится твое воодушевление, Яаков Ицхак, и я боюсь его. Я помню, как ребенком еще ты молился так истово, что падал без сознания. Из экстаза возникает только умирание, повторяющееся умирание, а не жизнь. И потому я хочу, прежде чем уеду, сказать тебе еще кое-что. Очень часто и сейчас, и еще в детстве, ты ждал, когда на тебя найдет исступление, чтобы молиться. Это неправильно. Мы не можем молиться, слушая только, что нам подсказывает сердце. Мы входим в намоленный дом молитвы, построенный нашими отцами. Тут не «я» и «ты», но молящийся народ, к которому принадлежим и я, и ты. Что у тебя в сердце, ты можешь излить Создателю утром, когда ты просыпаешься, или во время одинокой прогулки за городом. Но предустановленный порядок означает для нас и пространство, и время, которые мы должны соблюдать.

— И ты упрекаешь меня, Ишайя? — грустно спросил Еврей. — Ты сказал правду, но это только часть правды. И ты это знаешь сам. То, что строили сотни поколений, одно может исказить. Но как я могу присоединиться к общей молитве, если я слышу в общем шуме молитвы чужие ноты, если я слышу, как некто Шимон думает при этом об урожае, а некто Рувен — выберут ли его в совет? Святой Баал-Шем-Тов своим пламенным учением утвердил необходимость правильного намерения души и тем обновил все учение. Магид из Межерича углубил само учение, но не укрепил сообщество. Наш ребе Элимелех бросил свою душу в духовный огонь, и вышло так, что вся молитва исходила только от его силы. Здесь, в Люблине, молитва сообщества становится пла-

менной, когда присутствует ребе. Когда его нет, то нет ни единого живого слова. А живое слово должно быть, оно нуждается в нас. Да, есть назначенные времена и сроки. Но тот, кто пренебрегает ими, делает это не для того, чтобы облегчить себе жизнь. Он медлит и ждет, пока снизойдет дух, чтобы предстоять за всех. И тогда он молится не как отдельная душа перед своим Творцом, а как Израиль перед Богом Израиля.

— Это путь, по которому нельзя идти за тобой, — сказал Ишайя все так же печально: — Когда у тебя будут ученики (а у тебя будет много сильных учеников), они все будут разными, и это опровергнет твой взгляд на молитву. Он станет прямо противоположным. Это нельзя передать другим.

— Может быть, так и будет, Ишайя, как ты говоришь, — сказал Еврей. — Но мы не должны бояться. Бог идет к победе через наши поражения.

Они расстались по-прежнему по-братски, но тень печали омрачила их прощание.

Речь к шестидесяти

«Вот ложе его — Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытни в бою; у каждого меч при бедре его ради страха ночного», — говорится в «Песни Песней».

Ребе Израиль бен Элиезер, Баал-Шем-Тов, говорил в свое время: «Душа моя не хотела спускаться в этот мир, она думала, что не сможет противостоять огненным змеям, которые живы в каждом поколении». Потому ей в помощь были приданы души шестидесяти героев. Души цадиков, чтобы защитить ее. Они стали его учениками, и с их помощью ему удалось выполнить свою миссию и обновить народ Израиля.

Самым могучим учеником был Дов Бер, Магид из Межерича, а ребе Яков Ицхак, Хозе из Люблина, был его учеником.

Через семь недель после Пасхи, в Шавуот, праздник первых плодов и дарования Торы, у Хозе за столом собрались отовсюду, из дальних и ближних краев, все его ученики, что были за тринадцать лет. Он пересчитал их и сказал: «Мои шестьдесят сильных».

Все одели в этот вечер белые кафтаны, даже Довид из Лелова. Только в конце стола сидел некто, многим незнакомый, в темном коротком пиджаке, какие носят немцы. Подстрижен и причесан он был тоже не как все, и борода была на западный манер. Он был немного старше, чем Еврей. Его звали Симха Буним, аптекарь. Он был не похож на остальных хасидов, но пользовался у всех огромным уважением. У него было редкое занятие: он возил лес на продажу в Данциг, бывал на Лейпцигской ярмарке. Но внезапно он решил стать фармацевтом, сдал экзамен во Львове и получил магистерское звание, после этого он открыл свою аптеку в городе Пшисхе. Уже очень давно он был привязан к козницкому Магиду. Но время от времени навещал Люблин, куда его впервые привел, как и Еврея, Довид из Лелова. Хозе очень надеялся на него; однажды он изучал с ним вместе какой-то отрывок из священных книг, а потом сказал: «Теперь ты — мой ученик, а я — твой учитель». Среди присутствовавших один только Нафтоли обращал особое внимание на Бунима. Он чувствовал некое притяжение к Буниму, какое могла бы испытывать ртуть по отношению к серебру.

Это было время после недолгой победы польского восстания и незадолго до его полного разгрома. Несколько недель назад русские опустошили Варшаву и Вильно. Именно в тот самый час, когда «шестьдесят сильных» сидели за праздничным столом, великий, хоть и маленький, мужик Суворов на русско-турецкой границе оттачивал тактику штыкового боя,

не догадываясь, что уже в середине лета он поведет войска в атаку совершенно в другом направлении и против других врагов. У одного из старших учеников сын участвовал в польском восстании, и отец напрасно пытался уговорить его покинуть поляков.

Дом учения, где на этот раз стоял стол, сиял зеленью. Всюду висели зеленые ветки, ими был устлан и пол. Как будто польский лес пришел в еврейский дом учения.

Ребе разговаривал со всеми — с теми, кто сидел рядом, и переговаривался через стол с теми, кто сидел далеко. Жесты его были сдержаннее обычного, и голос звучал взволнованно. Казалось, он принял какое-то решение, которое должно быть исполнено. И глаза его сверкали ярче обычного. Никто бы не сказал, что он почти слеп.

Во время трапезы Буним прошептал Довиду из Лелова: «Как ты думаешь, кому сегодня будет поручено сказать благословение? Ребе смотрит на всех по очереди. Это испытание наполняет всех трепетом. Кто может выдержать это? Ни ты, ни кто бы то ни было из тех, кого он знает досконально. Я — единственный, кого он знает плохо».

Действительно, после еды ребе поднял кубок и спросил: «Кто скажет завершающее благословение?» Он стал сразу же, улыбаясь, переводить невыносимо ясный взгляд с одного на другого. Мелкие человеческие слабости и недостатки, о которых уже давно забыли или которые вообще не заметили, не были прямо названы. Речь заходила только уже о конечном итоге этих слабостей, в которые смог проникнуть человеческий глаз и о которых смогли сказать человеческие уста. Никто не был обижен, никто и не мог быть обижен. Довид из Лелова кивнул, как будто бы в знак благодарности; Еврей глубоко задумался; и даже обидчивый Нафтоли рассмеялся, будто бы в ответ на добрую шутку. Даже суровый Иуда Лейб из Закилкова ответил улыбкой, хоть и принужденной.

В конце речи ребѣ сказал: «Мудрый ребѣ Буним скажет благословение».

Потом, когда снова заговорил ребѣ, все почувствовали, что в нем созрело нечто, и плоды пора собрать. Он говорил не как обычно — из великой глубины, он будто властно приказывал.

Он начал с толкования Священного писания. А именно с начала Десяти заповедей, которые он читал сегодня во время утренней молитвы. Потом он перешел к празднику и его значению.

— Почему деревья украшают сегодня стены этого дома и всех наших домов? Почему зеленые ветви рассыпаны по полу? Мы празднуем Шавуот. Но Бог открылся Израилю не под крышей дома, а на горе, и там росли деревья и травы. Написано: «Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе; даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей».

Мы украшаем все зеленью не в память о том, что было когда-то. Откровение происходит сейчас, оно живет, оно в становлении. Это не то, что случилось в прошлом и о чем нужно вспоминать, оно с нами, оно происходит сейчас. Мы не вспоминаем, а создаем место для Откровения, мы ждем освящения.

«Когда человек, — сказал когда-то бердичевский ребѣ, — становится достойным, он слышит в этот праздник Шавуот голос, который говорит: «Я — Господь, Бог твой». Если мы этого достойны, то мы слышим этот голос здесь и сейчас. Если мы готовы услышать, мы слышим. Он не может не звучать. Он ищет нас, он ждет. «Где ты? — спрашивает он. — Я твой Бог. Здесь ли ты? Ты еще здесь?»

Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Весь мир для человека сосредоточен

в этот миг в этой горе. Когда Господь сходит на нее в огне, гора начинает дымиться, она начинает страшно колебаться. А мы в это время стоим у ее подножия и видим первое облако дыма, мы чувствуем, что наше тело тоже сотрясается от ее толчков. И слышим ли мы голос, говорящий с вершины горы: «Я — Господь, твой Бог»? Если мы готовы услышать, мы услышим.

Мне рассказали о том, что произошло только что в столице мира. Четыре недели назад человек, которому все там повинуются, придумал заставить всех поклоняться некоему высшему существу, и на этой неделе должен состояться праздник в честь этого нового божества. И найдутся люди по всему миру, и даже среди нас, которые обрадуются и скажут: «Видите, безбожие в этом мире идет к концу!» Однако такое нововведение хуже всякого безбожия. Потому что для безбожника престол Вселенной пуст, как пусты и внутренние покои их душ. Они ослабнут и падут в конце концов, и Господь сжалится над ними, как и над теми, кто опустошает свою душу во имя правды. Но те, кто провозглашают высшее существо, ставят выдуманного шута на престол мира и в покои своих душ, предназначенных стать домом Вечноживущего, поселяют смерть. Поистине любой идол живет этого верховного существа. Люди, которые поклоняются идолу, видят в нем живое божество и приносят живую жертву. А этому отвлеченному существу как можно молиться и ожидать, что оно поступит с тобой как живое с живым? И сам этот человек, о котором говорят, есть вестник смерти, поддельвающийся под вестника жизни, пустышка, прикидывающаяся полной; бесплодный и безоглядный, он даже не может, как шут, сыграть поклонение этому высшему существу, а если бы попытался, то всеобщий смех поразил бы его раньше, чем топор, который для него уже отточен. Чего же добивается этот человек, заставляя поклоняться бездушному существу? Он

наделяет его мнимой властью, чтобы укрепить свою собственную. Но когда однажды недобрым утром он забудет завести свою игрушку, то рухнут они оба.

Так знайте, это и есть дым горы, на которую сходит Господь. Он, живой, говорит: «Я Господь, Бог твой». Кто же тот, кому он говорит «Ты»? Тот, кто слышит. Так слушайте же, хасиды, слушай, Израиль, слушайте, все народы! Он тот, кто выводит нас из рабства к свободе. Тот, кто приходит к свободным.

Ребе замолчал. Когда он заговорил опять, голос его стал еще звонче.

— Мир, — сказал он, — пришел в движение, и мы не должны хотеть, чтобы оно прекратилось. Когда мир корчится в схватках, значит, скоро родится Мессия. Спасение не придет само по себе, не свалится с неба. В страшных болях должно корчиться тело мира, он должен дойти до края гибели, прежде чем возродится. И ради этого Господь попускает мирским силам восставать против Него. Но ни на каких скрижалях в небесах еще не обозначен час, когда Свет и Тьма сойдутся в последней схватке. Это отдал Господь во власть цадикам, и именно об этом говорится: «Цадик решает, а Господь исполняет». Почему же так? Потому что Господь хочет, чтобы мы сами спасли себя. Мы можем ускорить рождение Мессии. Сейчас облака над горой мира еще невелики и преходящи. Придут темнее и больше. Мы должны ждать знака, чтобы начать действовать в глубине сокровенного. Мы должны держать свою силу наготове, чтобы не пропустить того мига, когда темный огонь осмелится вызвать на бой свет. Не гасить, но лелеять. Написано: «Горы, как воск, тают от лица Господа». Где тают горы, где совершается чудо — там Синай.

Когда ребе замолчал, никто не произнес ни слова. Все шестьдесят молча разошлись.

Взрыв

Позже Довид из Лелова, Еврей и Буним сидели вместе на постоялом дворе. До сих пор они не могли произнести ни слова.

Наконец заговорил ребе Довид, — и, в первый раз с тех пор как он нашел в Люблине духовную родину, в словах его ощущалась тревога.

— Путь оборвался, — сказал он. — Где мы очутились? Куда нам направиться? Мы не можем вернуться. Помилуй нас, Господи!

— Разве вы не учили нас, — сказал Еврей, — что когда мы мним себя потерянными, то это знак, что скоро явится нам милость Господня? Она будет сильнее суда над нами. Много или мало мы знаем о Боге, но мы знаем твердо: Он не колдует. У колдуна нет времени для милости.

Буним живо повернулся к Еврею.

— Ты прав, ребе. Бог не волшебник. Это волшебник демонстрирует свою силу, как павлин — свой хвост. Бог скрывает ее.

— Друзья, — сказал Довид, — давайте помолимся вместе. Настал тяжелый час. Тяжелее не бывало. Давайте вместе молиться.

И они втроем образовали круг безмолвной молитвы.

После этой молитвы они сидели молча и умиротворенно.

Вошел габай, он пригласил ребе Довида и Якова Ицхака зайти к ребе.

Довид спросил, может ли ребе Буним пойти с ними. Вскоре они получили согласие.

— Что он хочет сообщить нам? — спросил Довид по дороге. — И что мы скажем ему?

— Мы можем сказать только одно, — заметил Еврей. — Ничто не приведет нас и народ израильский под руку Гос-

пода, только всеобщее покаяние и всеобщее к Нему обращение.

— Он скажет, — вставил Буним, — что народ израильский никогда не обратится.

Еврей странно посмотрел на него.

— Сейчас он должен так сказать.

На пути у них маленькая девочка прыгала на одной ножке. Она прыгала с камня на камень по замощенной улице и старалась прыгать в определенном порядке и ритме. Она была слишком сосредоточенна, чтобы смотреть вокруг, и неожиданно ее голова столкнулась с коленом Довида. Она не очень ушиблась, только посмотрела вверх слегка удивленно и укоризненно.

— Да, — сказал Довид, — я виноват. Где были мои глаза? — И он достал из огромного кармана леденец.

И вот все трое стояли перед ребе. Он казался более спокойным, чем за столом, но на лице его можно было заметить болезненное напряжение.

— Садитесь, — сказал он подчеркнуто дружески. — Я хочу знать, — сказал он, — о чем говорили ученики после того, как мы разошлись. У меня возникло чувство, будто после моей речи распались звенья хорошо спаянной цепи. Я видел, как вы шептались. Может быть, вы скажете — о чем? Это поможет мне понять, что же происходит в умах учеников.

Довид задумался:

— Не помню, чтобы я шептался. Или не заметил.

— А ты, Яаков Ицхак? — спросил ребе.

— И я не помню, я ничего не шептал. Разве что в задумчивости пробормотал что-то сам себе о том, что было у меня на уме. Но я ни с кем не перешептывался.

— А что было у тебя на уме?

— Ребе, — сказал Еврей, — в прошлую ночь мне снилось, что весь мир сгорел. Я пролетел через этот пожар, и

вокруг меня неслись разметанные обломки звезд. Когда я проснулся, вокруг все было охвачено пламенем и не сразу погасло. Я с трудом встал, руки мои так дрожали, что я с трудом смог зажечь свечу. Чтобы успокоиться, я открыл Писания. Они открылись на словах Господних, обращенных к Баруху, сыну Нерии: «Все, что Я построил, разрушу, и что насадил, искореню, — всю эту землю. А ты просишь себе великого — не проси». Эти слова не выходили у меня из головы. Утром, когда вы читали Десять заповедей, мне казалось — сами прилетели в дом, чтобы слушать. Но потом я вдруг опять увидел тот же огонь, что во сне. Из него раздался голос: «Великого — не проси». Позже, когда вы говорили об откровении, мне показалось, я слышу, как гудит шофар с Синая. Но тут же услышал эти же слова: «Великого — не проси». И, когда вы замолчали, я все еще шептал их сам себе.

— Что же было у тебя на уме, когда ты шептал?

— У меня на уме? Ничего. Только эти слова.

— Но ты думал о ком-то в этот момент?

— Да, конечно. Я думал о нас всех.

— Обо всех?

— Конечно, обо всех.

— В таком случае скажи мне, что случилось с нашей цепью?

— С цепью?

— Несмотря на мелкие конфликты, какие всегда случаются там, где много людей, Люблин всегда славился тем, что был един в достижении цели. Но вот случилось нечто, от чего наша связь ослабла.

— Я должен подумать, — отозвался Еврей, — о том, что вы сказали. — Он задумался. — Я не видел, чтобы она ослабла, до сегодняшнего дня. Были моменты разъединенности между мной и другими с самого начала. В том, что касалось вопроса о чуде. Но она уменьшалась. Наобо-

рот, теперь я в прекрасных отношениях со многими верящими в сверхъестественное.

— В чем же причина этой разъединенности?

— Для многих ваших учеников, ребе, все события в мире делятся на естественные и так называемые чудесные. Я и еще некоторые другие все больше приходим к убеждению, что такого разделения на самом деле не существует. Я не могу думать, что Бог смущает наши бедные умы, нарушая законы природы. Я думаю, что, когда мы говорим «природа», мы говорим о том, как вещи были сотворены, а когда говорим «чудо», мы говорим о скрытом в них откровении. В первом случае мы видим творящую руку Господа, а во втором — указующий перст. Но по сути это одно и то же. Различие состоит в том, что палец виднее для нас. «Чудо» — это просто открытие нашей способности воспринимать скрытое откровение. Кто может знать границы сущего, если они сотворены Богом?

— Это ты выразил достаточно ясно, Яаков Ицхак. Но скажи, почему до сегодняшнего дня ты не так чувствовал ослабление цепи?

— Только сегодня произошло событие, поколебавшее мою связь с Люблином. И Довид тоже это почувствовал... И, возможно, Буним.

Буним кивнул так энергично, что его аптекарская шапочка съехала на сторону и светлые волосы выбились наружу во все стороны.

— В чем же причина этого?

— В ваших словах, ребе, о власти и искуплении. Разрешите мне высказать вот сейчас перед друзьями то, что в самой сокровенной глубине моего ума. Тогда это станет яснее.

— Говори.

— Вы должны знать, ребе, что я с самого детства твержу псалмы. Когда случалось что-нибудь необычайное, трево-

жащее мое сердце, будь то беда или радость, я начинал повторять какой-нибудь псалом или отрывок из него, и внутри меня восстанавливался мир. То же происходило и в самые трудные минуты моей страннической жизни. Часто я проводил несколько бессонных ночей подряд. Я был одинок и со страшной ясностью сознавал свою ничтожность и ничтожность человека вообще. В такие ночи ко мне возвращались слова, полные новой силы и значения: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь?» И я понял: пока человек мнит, что он может получить сам от себя совет, мечтает с помощью рассуждения обрести свободу, до тех пор он будет рабом и скорбь будет в сердце его, а Господь будет скрывать от него лицо свое. Только когда человек усомнится в себе и со всей силой отчаянья обратится к Богу, как написано: «Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш», — тогда он получит помощь. И, когда я это понял и обратил свою измученную душу в отчаянии к Богу, я получил помощь. И тогда же я понял то, о чем давно размышлял, — сокровенный смысл омовения. Ты покидаешь себя, ты расстаешься с собой со всем, и тогда ты обретаешь себя. С тех пор я верю всем сердцем, что так обстоит дело с каждым из нас и со всем народом Израилевым. Действительно, спасение зависит от нас, но не от нашей силы, а от раскаяния. Правду говорят наши мудрецы, что все назначенные для прихода Мессии сроки прошли. Его приход теперь зависит от нашего раскаяния и нашего возвращения к нему. Бог нуждается только в нашем раскаянии, чтобы спасти мир. Он не отвернул от нас лица. Это мы отвернулись от Него. Как только мы обратимся к Нему, его лицо осветит нас. Иногда в тонком сне я вижу, как Мессия поднимает шофар к своим губам.

Но не дует в него. Чего он ждет? Уж не того, чтобы мы заклинали таинственные силы, а просто чтобы мы, заблудшие сыновья, вернулись к Отцу.

Ребе слушал его терпеливо. Только на мгновение тень гнева пробежала по его лицу. Потом он поднялся. Ученики его, конечно, тоже. Он подошел к столу, который стоял между ними. Властно он положил обе руки на стол, правую — на лежащую на нем книгу, как будто хотел дать священный обет.

— Люди Израиля не покаются, — произнес он, — как Спаситель уже придет.

Ласточка влетела через открытое окно и заметалась по комнате. Как слепая, она колотилась о стену, пока, наконец, с усилием не отлетела от нее и не упала на стол, где рядом с книгой и осталась.

Чтобы дом не рухнул под давлением духа над ними, Буним задал какой-то сложный вопрос о толковании Писания. Они сели и целый час обсуждали его. Довид же держал все это время в руках ласточку. Он налил в блюдце воды, чтобы она напилась, когда придет в себя.

Подтверждение

Поздним вечером следующего дня молодой Яков Ицхак и Буним, бродя вдоль мягко освещенных молодым месяцем пригородных ржаных полей, пришли, наконец, к древней липе, которую Еврей охотно избирал целью ночных и утренних прогулок. Они сидели под деревом, вдыхая его благоухание, и смотрели на звезды.

— Вот основание моей веры, — сказал Буним, — Тора говорит: «Когда взираю я на небеса — дело перстов твоих».

— Это хорошее основание, — ответил Еврей, — но нам, народу Израильскому, ближе слова откровения: «Я — Гос-

подъ Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства».

— Часто спрашивают, — сказал Буним, — почему Десять заповедей начинаются этими словами: «Я — Господь Бог твой, создавший небо и землю».

— Потому, — ответил Еврей, — что если бы это было иначе, то человек, без сомнения, подумал бы: да, есть в вышних Бог, но какое ему дело до моей ничтожной жизни? Ему нет дела до меня, и я не буду беспокоить его. Вот почему Бог выкрикнул человеку: «Я тот, кто вытащил тебя из грязи; обратись ко мне — и я помогу тебе во всех бедах».

— Да, это правда, — ответил Буним, — но разве не бывает так, что Бог позволяет человеку увязнуть в грехах и несчастьях и ничего не делает, чтобы спасти нас?

— Бывают такие времена, — ответил Еврей, — подобные Божьему затмению. Во время затмения Солнца становится так темно, что кажется — Солнца нет вовсе. Это похоже. Что-то становится между нами и Божьим ликом, и тогда кажется, что мир остывает от нехватки божественного света. Истина в том, что именно в такие времена мы должны обратиться к Богу, чтобы спасение, которое нам уготовано, стало в самом деле нашим личным спасением. Мы теряем знание о Нем; кажется, Его нет вообще, кругом темно и холодно. Нам мнится бессмысленным обращаться к Нему, забывшему о нас, Он — Творец мира, но не Отец нам. Нечто невероятное должно возникнуть в нас, чтобы мы все-таки снова уповали на Него. И тогда является спасение. Отчаяние расшатывает стены тюрьмы, в которой заперты наши скрытые возможности. И тогда источник первоначальной глубины открывается в нас.

Они умолкли; наступил вечер, звезды сияли, и мягко благоухали липы.

— Ничто не печалит меня в такой степени, — сказал наконец Буним, — как то, что наше обращение к Богу так

суетно и лукаво. Не удивительно, что в этом пестром мире человека увлекает и сбивает с пути множество обольщений. Но когда человеку удастся избежать этого и он возвращается к Богу, которому дал вечный обет, даже тогда обращение его обманчиво и половинчато. Это делает меня безутешным. Я часто спрашиваю себя, почему в Судный день мы каемся, но не получаем прощения. Стоило царю Давиду один раз сказать: «Я согрешил», — и сразу в ответ он услышал: «Господь очистил твой грех!» И вот я подумал, что, когда Давид говорил: «Я согрешил против Господа», в сердце своем он прошептал: «Поступай со мной по своей воле, я все приму с любовью». Но когда мы говорим: «Согрешили мы», то ждем от Бога прощения. И когда говорим: «Мы предали тебя», мы ждем, что он отпустит грех и еще одарит множеством благ.

— Нельзя слишком сердиться на людей, — сказал Еврей, — за то, что они создают себе прекрасный и добрый образ и помещают его на место Бога, ведь так трудно жить в Его страшном присутствии. Поэтому, если мы желаем привести людей к Богу, мы не должны просто разрушать их кумиры. В каждом таком наделении Творца каким-то качеством, в каждой Божественной черте, которая выявлена в этом случае, пусть в ущерб целостности, есть свой смысл. С нежностью и осторожностью мы должны помочь человеку осознать то качество, которое для него притягательно. Наша миссия не в том, чтобы увлечь их туда, где живет чистота святости, — нет, даже в лишенном святости мы должны найти то, что приведет к искуплению и целостности.

— Однажды, — сказал Буним, — когда я собирался в Данциг, один лесоторговец попросил меня присмотреть за его сыном, который должен был поехать в тот же город по торговым делам. Как-то вечером я не застал его в гостинице, где мы жили. Тогда я вышел на улицу, стал искать его, но не мог найти. Наконец я услышал доносящиеся из какого-то дома

звуки песен и музыки. Я вошел. В этот момент песня закончилась, и я увидел купеческого сына, входящего в одну из комнат этого дома. «Спой самую прекрасную песню, которую ты знаешь», — сказал я певичке и дал ей монету. И тогда она запела так прекрасно, что все заслушались. Едва только она запела, дверь открылась, и молодой человек вернулся. Я кинулся к нему. «Тебя искали, — сказал я ему. — Пойдем со мной». Он пошел со мной, не спрашивая, кто его искал, и, когда мы пришли домой, он тоже не поинтересовался этим. Мы поиграли с ним в карты и легли спать. На следующий день он не отходил от меня. Вечером мы пошли с ним в театр. На обратном пути я произнес псалом. Он просил меня повторить его, и так несколько раз, а потом горько заплакал. Позднее он стал учеником Магида из Козниц. А я тогда в этом борделе понял, что Шехина присутствует повсюду и что мы тоже можем служить ей везде.

— Объясните, пожалуйста, точнее, что вы имеете в виду, когда говорите, что Шехине можно служить везде, реб Буним.

— Мне кажется, вы знаете это не хуже меня, и, хоть я у вас не учился, я научился это понимать благодаря вам. Я понял это яснее, когда задумался, почему Ревекка, когда сыновья дрались в ее утробе, воскликнула: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла спросить Господа. Невозможно отделить серебро от олова, пока не расплавишь их в огне. Подобно этому происходит и разделение сущностей в печи материнской утробы, иначе, чем первоначально в лоне Авраама, когда от него зачали две женщины. Ревекка же не знала, что в ней происходит окончательное разделение и что ее тело подобно горну, в котором разделяются металлы. Только уже на сносях, как передают наши мудрецы, она почувствовала, что, когда проходила мимо синагоги, в ней зашевелился Иаков, а когда мимо языческого храма — то в ней встрепенулся Исав. Тогда-то и спросила она: «Я всего лишь женщина, сосуд вос-

принимающий, почему же во мне происходит отделение чистого от нечистого?»

— Вы правы, — сказал Еврей, — в том, что каждый человек должен отделить в себе драгоценное от ненужного. Это зависит от учителя. Как Бог когда-то приказал это сделать Иеремии в самом себе, прежде чем исправлять других. И все же речь здесь идет не только об очищении отдельной личности, ведь Бог хотел, чтобы Иеремия стал его устами, его пророком. Того же он хотел и от Моисея, но только тому он не ставил никаких условий. О Моисее ведь известно, что он был самым кротким из людей. Он — великий цадик, подобен корню Израиля, а все остальные — как ветки. Но ветки пьют соки корня. Если ветки чахнут, — значит, корень плох. Поэтому, когда народ грешил, Моисей считал себя виноватым. «Я виноват, я должен покаяться, чтобы они исправились». Он, смиреннейший, поставил себя ниже всех и привел их обратно к Богу.

Пока они так беседовали, тяжелые тучи укрыли небо. Когда они, ежась от внезапного холода, посмотрели вверх, ни единой звезды не было видно. Только липовое дерево укрывало их, как миниатюрное небо, сияющее бесчисленными цветами, и изливало на них свое благоухание вместо света звезд.

Еврей глубоко вздохнул.

— Почему вы вздыхаете? — спросил Буним.

— Я не могу не думать о том, — сказал Яков Ицхак, — что после Моисея пришли судьи, за ними пророки, а после них люди Великого Собрания. За ними последовали таннаи и аморан, потом пришли учителя, которые сформулировали Закон для народа. А когда они совсем измельчали, появились цадики... А сейчас я вздыхаю потому, что вижу: и они на грани исчезновения. Что же будет с Израилем?

— Может быть, — сказал Буним, — это происходит по вине хасидов, а не цадиков? Когда Баал-Шем-Тов призвал

хасидов к служению, Злой был в страхе, что они выжгут все зло мира огнем своей святости. И он придумал. Он подошел к хасидам, а только горстка была их в то время, и сказал им: «Вы делаете прекрасное дело. Но что могут сделать двое или трое? Вас должно быть по крайней мере десять». И он прибавил к ним несколько своих последователей. Потом у них не хватало денег на синагогу, или свитки Торы, или еще на что-нибудь. Он привел к ним богача из своих, чтобы тот оплачивал их нужды. Тогда он сказал себе: «Больше не о чем беспокоиться, мои люди позаботятся об остальном».

— Да, — сказал Еврей, — как написано: «Колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама».

— Однажды, — сказал Буним, — в варшавском шинке я сидел и слушал, как рядом болтали обо всем на свете за выпивкой два еврейских разносчика. Один из них спросил: «Ты учил раздел Торы этой недели?» — «Да», — ответил второй. «Я тоже, — сказал первый, — но одну вещь я никак не мог понять. Там говорится о нашем отце Аврааме и филистимянском царе Авимелехе: «Они, оба, заключили союз». Я спросил себя, почему написано «оба», это и так ясно». — «Хороший вопрос, — сказал другой, — ну и как ты на него ответил?» — «Я думаю, — ответил первый, — они заключили единый союз, но не стали одним, их осталось двое».

— Это так, — возразил Еврей, — но до каких пор будем мы разделять филистимлян и слуг Авраама, хасидов Сатаны и настоящих хасидов? Неужели спасены будут одни, а другие нет? Когда мы говорим о «спасении мира», мы разве имеем в виду только спасение добрых? Не означает ли искупление и искупления злых от зла? Если мир навсегда разделен между Богом и Сатаной, значит, он не Божий? Вы говорите: «Не стали единым», — когда же, наконец, все-таки восстановится единство? Должны ли мы строить царство верных, а осталь-

ное предоставить Господу? Зачем же нам даны уста, если не для того, чтобы истину своего сердца изливать в чужое сердце, и руки разве не для того, чтобы передать отпавшему немного жара нашей крови? Разве случайно дана нам способность любить даже сыновей Сатаны? Все учение наше ложно, если мы колеблемся испытать на них свою силу. Конечно, мы сражаемся с ними по Божьей воле. Мы должны взять неприступный город за семью стенами, их душу, разве не для того, чтобы все обратить к благу? Как можем мы бороться против них, если и себя победить не можем? Разве упрямство, глупость, леность и коварство присущи только им, а нам нет? Если же мы забудем об этом, если будем только углублять бездну между нами, доведя ее до самых космических глубин, не станем ли мы сами слугами Сатаны?

Ветер все еще дул. Облака громоздились в небе. Но тут и там стали появляться просветы, как будто огромное сверло пробуривало в них дыры и там зажигались звезды. Друзья взглянули на небо и увидели просвечивающий сквозь тучи месяц.

— Ребе, — сказал Буним, — в городе Пшисхе в Радомском переулке есть аптека. Недалеко от нее есть дом, который ждет вас. Не знаю пока, какой именно. Но я найду его. Приезжайте и поселитесь в нем, и позвольте мне помогать вам и стать вашим первым учеником.

Еврей был глубоко взволнован, но не дал ответа.

Сон

Пора было идти спать, но Яков Ицхак чувствовал необычную бодрость. Впрочем, он с юности засыпал с трудом. Но он знал, что стоит ему лечь, как он мгновенно уснет. Так случалось каждую ночь, с тех пор как он поселился в Люблине. А раньше он никак не мог заснуть, долго перебирал в

уме события дня. «Что это? — спросил он себя, — как случилось, что я стал засыпать так быстро? Я отдаю себя в чьи-то руки, я засыпаю, как дитя на материнских руках. Все мое сопротивление исчезло, и я научился отдавать себя». Потом он вспомнил, как осмелился сказать ребе о тайном смысле омовения, что он состоит именно в отказе от себя. «Это было глупо, — сказал он себе, — он сам все знает. Этому я научился у него. И все же...» Он задумался, потому что, как ни был ясен и бодр его ум, он не мог выразить то, что пришло ему в голову. Он понимал только, что это нечто необычайно важное для всей его жизни, может быть, самое важное, но не мог понять, что это. Он бросил тщетные старания вспомнить, пошел в постель и проговорил молитву на сон грядущий. «Господи, я прощаю всех, кто разгневал меня или причинил мне зло... Пусть никто не будет наказан из-за меня. Да будет воля Твоя, Господи. Бог мой и Бог отцов моих, чтобы я не согрешил пред Тобой и не разгневал Тебя». Он вернулся в одеяло и в то же мгновение уснул.

Он спал спокойно, но на исходе ночи, перед рассветом, ему приснился тяжелый сон.

Он, спящий, стоял на свежем пепелище и вглядывался в утлый серый свет. Внезапно оттуда очень медленно вышел человек на быке. На нем был длинный черный плащ, на котором серебром были вытканы таинственные знаки. В руке всадник держал странный жезл, при ближайшем рассмотрении оказавшийся змеей. Бык остановился, задыхаясь, как будто устав от страшной тяжести. Спящий рассмеялся прямо в морду быка, и тот исчез. Потом он рассмеялся над змеей, и той не стало. Тогда он засмеялся в лицо человеку, теперь спешившемуся, но тот не исчез, исчезла только его одежда. Она сползла с тела, обнажив наготу, которая сразу стала огненной. Сновидец пытался засмеяться и не смог, он понял, что над огнем смеяться

нельзя. Человек поднял руку, — и все вернулось: одежда, бык и змея, а на голове человека теперь засверкала корона. Это была настоящая золотая корона, только золото было жидким, хоть оно и не растекалось. Смеяться было уже невозможно. Человек что-то сказал быку, и тот кивнул. Потом человек поднес жезл к спящему и что-то прошептал. Змея выплюнула яд. Но спящий дунул — и он отлетел в сторону. Тогда человек взмахнул жезлом, и змея приготовилась кинуться на спящего и задушить его, но тот свистнул, — и она отступила. Когда человек в плаще увидел это, он бросил жезл на землю, тот выпрямился и превратился в куклу в белоснежной рубашке и с голыми ногами. Голова ее была головой одной умершей женщины, но она говорила. «Это я», — сказала голова. «Это ты», — подтвердил спящий. «Я — Фогеле», — сказала голова. «Ты — Фогеле». — «Я — Шендель Фройте». — «Ты Шендель Фройте». — «Я — Фогеле Фройте», — сказала голова. Спящий упал... Тут сон вылетел из него, и он проснулся. Но не осмеливался в это поверить.

Тень ребе Элимелеха

На второй день праздника после утренней молитвы Довид из Лелова позвал Еврея к себе в гостиницу.

— Я должен с тобой поговорить, — сказал он.

Когда они вместе сели за стол, Довид долго молчал. Еврей знал эту его привычку и не удивился. Довид принадлежал к тем, кто прекрасно выдерживает испытание совместным молчанием, испытание на содержание золота в человеке. Но в этот раз оно было необычным, что-то мешало ему говорить.

— Яков Ицхак, я должен решиться на нечто крайне мне неприятное, чего я стараюсь избегать даже в случае необхо-

димости, а именно — говорить о других людях. Я это сделаю, потому что хочу, чтобы ты понял нечто очень важное. Когда я привез тебя сюда, я догадывался, но не вполне, о том, какое течение подхватит твою утлую лодку. Теперь я это знаю. Говорить о других мне тяжело, но об этом особенно трудно. Как будто рассказываемое противится рассказу. Но это необходимо.

О великом цадике люди говорят, что он — вождь поколения. Что это значит? Чтобы вести, надо знать путь. Но этого еще недостаточно. Чтобы вести по пути, который знаешь, надо идти первым. Но нужно еще следить, чтобы никто не потерялся, чтобы все шли дружно. Это значит, все должны следовать за первым. Он не должен слишком забегать вперед. Дружно, — значит, все доверяют друг другу и все привязаны друг к другу. Ребе Элимелех был великий цадик. Среди его учеников царило согласие и преданность. И не только среди учеников; любой, кто входил с ним в соприкосновение, заражался этим духом. Недавно я познакомился с одной старой женщиной, которая служила у него в доме еще до меня. Я спросил ее, что осталось у нее в памяти. «Ничего особенного не могу вам рассказать, но больше всего мне запомнилось вот что. Всю неделю на кухне шли свары, как это часто бывает у служанок, но однажды накануне субботы ребе пожелал нам доброй субботы, и уж не знаю, что на нас нашло. Только мы кинулись друг другу на шею и одна другую просили: «Милая моя, забудь все плохое, что я тебе делала всю неделю». Вот это запомнилось». Он даже никому ничего не говорил. Это просто вдыхалось в его присутствии. И пока он был жив, все держались вместе.

Наш ребе был при дворе ребе Элимелеха старшим над учениками. Самые выдающиеся из них даже в мыслях не оспаривали этого места. Сам цадик в старости не мог уже делать все необходимые дела и часто, когда к нему приходили

с каким-то спорным вопросом, отвечал: «Идите к ребе Иццику!» — так звали нашего ребе.

Однажды он был в отъезде в день праздника Симхат Тора. Меня тогда не было еще в Лизенске, но Элизер, сын ребе Элимелеха, мне рассказывал. Он видел, как расстроен его отец, и спросил его, почему он из-за отсутствия одного ученика так беспокоится, ведь есть много других, вполне достойных. «Ты ведь знаешь, — ответил он, — что каждый год в этот день мы строим горний Святой Храм. Все ученики вносят различные храмовые сосуды, а он несет Ковчег Завета. Без него я могу тысячу раз восклицать: «Восстань, Господи!»⁵ — и это останется втуне».

Ты знаешь, Яков Иццхак, что за семь лет до своей смерти, которая случилась в год его семидесятилетия, ребе Элимелех совершенно переменился. Ты не можешь себе представить, насколько он стал другим. Не сразу, а постепенно он отдалялся от всего мирского, стал как бы чуждым даже своей воле, разуму, всему своему телесному составу. Лицо его светилось, а взгляд не останавливался на земных предметах, но уходил в глубь него самого. Ходил он всегда на цыпочках, что было забавно наблюдать, потому что он был ростом еще выше нашего ребе. Время от времени он вдруг поднимал руку, как бы отталкивая кого-то невидимого. С учениками он всегда был требовательным, теперь стал сверхстрогим, говорил с ними скупой и сразу отводил глаза, удивляясь, что он вообще видит их. Среди них возник кружок, в котором считали, что это — старческая слабость. На деле он был велик как никогда, только отношения с людьми давались ему все труднее, они раздражали его. Ребе Израиль из Козниц говорил: это потому, что люди кажутся ему неловкими по сравне-

⁵ «Восстань, Господи!» — стих из Числ. 10:35, который священники пели во время переноса Ковчега Завета. Произносится при выносе свитка Торы из синагогального ковчега.

нию с ангелами, созданными его делами и постоянно окружающими его.

Неудивительно, что большинство учеников привязалось к нашему ребе, который интересовался их жизнью и судьбой. Один недобрый человек (он умер раньше срока) в насмешку прозвал его Авессаломом, намекая на сына царя Давида, который рано утром выходил к воротам и встречал лестью всех шедших к царю. Но на самом деле ребе не имел в виду ничего подобного.

Однажды наш ребе вернулся в Лизенск из поездки и рассказал, что видел по дороге два необычно больших дерева: одно из них было широким и мощным, второе тонким. На вершине первого уже не было ветвей, но оно голым стволом стремилось к небесам. Более же слабое дерево было зато все покрыто листвой.

Вскоре у него состоялся серьезный разговор с ребе Элимелехом, после чего он уехал в Ланцут, местечко недалеко от Лизенска, где вскоре основал свою школу. Одни говорят, что сам ребе благословил его на это. Другие же, более верные источники, говорят, что он просто отослал его, а благословил создать свою школу только за год до смерти. Реб Калман однажды спросил меня со значением, знаю ли я, как велико было просветление пророка Илии в последние годы его пребывания в земной юдоли. Так как я не ответил, он сказал: «Его современники не могли уже понимать его и не могли руководствоваться его советами в своей жизни. Тогда Бог сказал Илии: «Их разум не постигает твоей святости и твоего света. Поставь Елисея вместо себя. Он меньше тебя, но он сможет указывать им путь по мере их разумения».

Ребе Элимелех часто отсылал разных людей, которые раздражали его, в Ланцут, но он не заметил, как многие сами стали уходить туда. Это происходило на моих глазах. Наш ребе часто приезжал в Лизенск, чтобы отпраздновать суб-

боту, обычно в сопровождении своего габая. Однажды, узнав о приезде, я пошел к нему в гостиницу. Это было в пятницу, перед закатом. Поприветствовав его, я хотел уже удалиться, чтобы не мешать готовиться к празднику, но он остановил меня. «Ребе Довид, — громко сказал он, — а знаете ли вы, когда входит суббота?» — «Это я знаю очень точно, — сказал я ему, — мне об этом говорит моя рука». И я показал ему свое запястье, на котором перед началом субботы вены взбухали и начинали бешено колотиться. «Раз вы это знаете, — сказал ребе, — позвольте рассказать вам одну историю. Однажды дочь капитана влюбилась в сына генерала, и, хотя они были неравны, предназначенное им оказалось выше земного обычая, они поженились. Вы поняли, что я имею в виду?» — «Да, — отвечал я. — Это тайна, о которой говорится в книге «Плод древа жизни». В будние дни верхние миры соединяются с тоскующими по ним нижними, чтобы избрать из них павшие силы и с началом субботы создать новые души». Ребе обнял меня: «Оставайся со мной», — сказал он. Но я знал, что ребе Элимелех сказал ему: «Ты приходишь ко мне, чтобы увести моих хасидов. Подожди, когда все достанется тебе».

Но община в Ланцуте продолжала расти. Я сам стал ездить туда и в конце концов проводил больше времени там, чем в Лизенске. Ты должен это понять, Яаков Ицхак, ребе Элимелех больше не обращал ни на кого внимания. Он проходил среди учеников, как грозовая туча.

По дороге из Лизенска в Ланцут есть маленький городок, там служил учителем один из учеников ребе Элимелеха. Он поехал однажды на субботу в Ланцут. Ребе Элимелех, видно, узнал об этом, потому что, едва кончилась суббота, он был уже в доме этого ученика и спросил у его жены, где он. Она сказала, что скоро вернется, а сама пошла навстречу мужу и уговаривала его схитрить и не признаваться в том, что он был

в Ланцуте, но тот сказал, что не может лгать учителю. И когда ребе Элимелех спросил, где он был, тот ответил: «Ребе, вы живете на седьмом небе, куда людям не добраться. Но в Ланцуте есть лестница, с ее помощью можно подняться на небо Лизенска». — «Умник! — закричал ребе Элимелех. — Исчезни!» Ученик пошел в свою комнату, лег на постель и больше уже не поднялся, через неделю он умер. А ребе Элимелех все-таки поехал в Ланцут и среди ночи появился у нашего ребе. Он сделал ему какое-то предложение, которое тот отверг. Говорят, он сравнил его с Саулом, который сначала отказался от царства, а потом напрасно пытался вернуть его. Но все это только слухи. Сами участники этого разговора молчали о нем. Сын ребе Элимелеха Элиэзер рассказывал мне, будто, вернувшись, ребе бормотал что-то о потерявших веру и проклял кого-то. Элиэзер напомнил ему, что он сам посылал учеников в Ланцут. Ребе Элимелех дал ответ, которого сын его не понял, а я только смутно догадываюсь о его смысле. Он сказал, и слезы навернулись ему на глаза: «Но я еще хочу жить». Невозможно подумать, что он, столь далекий от всего земного, цеплялся за смертную юдоль. Нет, он сказал это в связи с созданием новой общины в Ланцуте. Он имел в виду, что он еще должен сделать нечто, что миссия его еще не исполнена до конца. Никто не знает, что именно он имел в виду. Но это было нечто противоположное тому, чего добивался наш ребе, и ставило под сомнение его начинания. Я слышал, как реб Гирш, ученик нашего ребе, говорил: «Такого учителя, как ребе Мелех, не было со времен мудрецов Талмуда. Но у нашего ребе глаза лучше». Я с тех пор научился кое-чему и знаю, что глаза — не главное в человеке. Важнее то, на что они глядят и что видят, а это не зависит от глаз.

Определенно известно только то, что наш ребе после этого разговора бросил общину и переехал дальше по тече-

нию реки Сан на северо-запад, в город Развадов (а это случилось десять лет тому назад). Здесь он жил год. Если при нем упоминали название этого города, он говорил: «Польшки это значит развод, разрыв союза». Но душа его была беспокойна. Он вернулся было в Ланцут, но потом все-таки поехал в Лизенск, получил там благословение и прощение ребе Элимелеха. Он сказал учителю, что хочет уехать подальше. И вскоре переехал в Люблин. На следующий год ребе Элимелех умер. Прошло семь лет, прежде чем главы общины, ярые противники хасидизма, дали ему право на жительство, а один из них полюбил его и подарил маленький домик на краю города вместе с землей.

Такова была история, не случайно рассказанная ребе Довидом. Но возможно, что он был не совсем прав и что передача земли и дома произошла несколько позднее, в ноябре, уже после их разговора. В это время было подавлено польское восстание Суворовым. В борьбе с ним при защите Варшавы почти в полном составе погиб еврейский легион. Когда горело предместье Варшавы Прага и шла резня поляков и евреев, как рассказывают, Хозе стоял у окна и всматривался вдаль, желая узнать судьбу тех, кого он знал в Варшаве. И он сказал одному из самых влиятельных евреев Люблина, что видел его дочь, стоящую у окна в рубашке с цветочками, она качала на руках младенца. В благодарность за это известие богач и подарил ему дом.

О смерти и жизни

Когда Еврей вернулся к себе на постоялый двор, он прошел мимо полуотворенной двери, откуда доносилось пение псалмов. Их пытался петь кто-то, но голос все время прерывался, а в паузах слышны были стоны. Он заглянул туда и

увидел человека, лежащего в постели; его сын, как он знал, был недавно помолвлен с внучкой козницкого Магида. Еврею было известно, что этот больной поселился здесь за неделю до Песах. Он много раз хотел навестить его, но ему говорили, что тот не хочет видеть никого, кроме ребе. Однако на этот раз он не смог не переступить порог. Он увидел, что человек этот ужасно страдает и что с ним нет никого, кроме сына. Еврей спросил, чем он может помочь. Юноша зарыдал и не ответил ни слова. В этот момент Яков Ицхак заметил, что больной перестал стонать и, словно ищет кого-то глазами. Он приблизился к постели больного и, стараясь приободрить его, поинтересовался, как он себя чувствует. «Я умираю», — ответил тот. Стоило Еврею пристально взглянуть на мгновение в глаза этого незнакомого человека, и он увидел, что мера его страдания исполнилась и плод созрел.

— Несомненно, — сказал он, засмеявшись, — вы умрете, но не обязательно сейчас.

— Я умру вот-вот, — сказал больной.

— Ни один человек не может знать час своей смерти с такой точностью. Я понимаю, что вы имеете в виду: все ваше тело, все внутренности болят, вы смертельно устали и думаете, что дуновение, легкий удар по плечу, холодное дыхание в затылок могут прикончить вас. Но все это на самом деле только вопрос к человеку, согласен ли он умереть. Если он соберет остаток сил и скажет «нет» или, скорее, если он сможет обратиться к Господу с мольбой поверх плеча ангела, склонившегося над ним, то рука, уже поднятая, упадет.

— Нет, это не так, — сказал больной, едва дыша, — мой час близок.

— Откуда вы это знаете?

— Знаю.

— Забудьте то, что вы думаете, — сказал Еврей со сдержанной властью, — и обратитесь к Богу жизни.

Больной замолчал. Но тот, кто требовал, чтобы он вернулся к жизни, заметил, что что-то переменялось. Глаза больного закрылись, судорожная гримаса исчезла, измученное тело впервые за много дней расслабилось. Шли минуты. Ласковый июньский дождь стучал в окно. Часы пробили полночь. Еврей неподвижно стоял над больным, сосредоточив всю свою силу, чтобы помочь ему. Пробил еще час. Больной открыл глаза и огляделся.

— Благословен будь, Господь... — прошептал он.

Конца благословения никто не расслышал.

— Пойди к хозяйке, — сказал Еврей сыну, — и попроси у нее кружку меда.

Тот посмотрел на него с изумлением, но повиновался.

— Мы должны выпить за здоровье друг друга, — сказал Еврей, поднося кружку к губам страдальца. Больной сделал большой глоток, еще один, и заснул. Легкий пот выступил у него на лице. Часы пробили два. Еврей присел на кровать и бодрствовал до рассвета. Тогда уже он убедился, что все решилось в пользу жизни.

История этого человека такова. Он был учеником Хозе, но редко посещал его. Когда ребе был в Кознице, он случайно заметил этого человека, остановился и пристально посмотрел на него. «Вы должны приготовить свою душу к смерти, которая придет к вам не позже, чем через год», — сказал он. Вскоре после Песах этот человек приезжал в Люблин с сыном и привез с собой саван. Дома он не рассказал никому, даже жене, о том, что ему предсказано. И здесь, в Люблине, никто не знал об этом. Он рассказал об этом только своему сыну и велел молчать. В Люблине он не мог ни есть, ни пить, ни спать, все свое время он отдавал молитвам и изучению Торы. Каждый вечер он заходил к ребе незаметно от других, чтобы получить благословение. Больше он не общался ни с кем. Недели через две он

заболел и слег. Через семь недель после праздника Песах он почувствовал, что конец близок. На второй день Шавуот он сказал сыну: «Нужно подготовиться».

На следующее утро, как только Еврей вернулся к себе, ребе сразу после утреннего омовения пришел навестить больного.

Отстранение

Позже днем ребе сказал Еврею:

— Ты, кажется, спас человека, предназначенного смерти. Как тебе это удалось?

— Я просто поговорил с ним, — ответил Еврей.

— Просто поговорил?

— Да, потому что сам он не мог бы избежать смерти.

Ребе удивленно смотрел на него.

— О чем ты говоришь?

— О чем же еще — о жизни и смерти.

Ребе удивленно посмотрел на него.

— Ты выглядишь изможденным, Яаков Ицхак. Последнее время ты делал много самой разной работы. Тебе надо отдохнуть.

— Означает ли это, — спросил Еврей, — что вы хотите, чтобы я временно отстранился от своих обязанностей?

— Да, ты прав, — сказал ребе и добавил, улыбаясь: — Не подумай, что я прогоняю тебя.

— Я надеюсь на Бога, он не допустит, чтобы вы прогнали меня, — сказал Еврей. — А я вас никогда не оставлю, если вы меня не прогоните.

Опять ребе посмотрел ему прямо в глаза. Ученики говорили, что, если посмотреть в глаза святому Еврею, видишь его сердце.

Позже в этот день (а это была пятница) на Еврея напало ужасное беспокойство. Такое, что он не мог больше оставаться в четырех стенах, будь то даже стены синагоги. Он шагал по переулкам, сияющим субботней чистотой, среди бегущих или просто гуляющих. Он видел всех и никого. Он свернул с уставленной пышными и богатыми домами Широкой улицы на Замоквую. Постоял перед Еврейскими воротами. Потом прошел по петляющей вдоль Замоквой горы Портновской улице, украшенной причудливыми и затейливыми от фундамента до крыши строениями с многочисленными балконами и лестницами. Вышел на Мясницкую улицу — с нее когда-то началось строительство еврейского предместья. И оказался на прилегавшем к ней кладбище, которое было еще старше, чем эта улица. Он произнес благословение: «Благословен будь Господь наш, царь мира, который создал вас в правоте, кормил вас, поддерживал вашу жизнь по справедливости и послал вам смерть по справедливости. Который знает число ваше, сколько вас будет на суде, и однажды Он призовет вас к новой жизни по справедливости. Благословен будь, Господь, оживляющий мертвых». Он пошел по узкой тропинке меж кустов и покосившихся и совсем разбитых временем памятников к вершине холма, откуда был виден расположенный в долине францисканский монастырь. Он снова прошелся по Мясницкой, мимо синагог и домов ученья, в которых служба шла к концу, по Широкой улице. Но по-прежнему ему была противна мысль переступить порог какого-либо дома. Он сделал еще круг по городу. Другими глазами он посмотрел сейчас на людей, готовящихся оставить суету недели позади и вступить в святость субботы. «Как хорошо, — подумал он в сердце своем, — что я больше не могу читать по вашим лицам тайну вашего прошлого и будущее, предназначенное от века! Как хорошо, что я при всем своем одиночестве не

выше вас, не над вами!» Но и эта мысль не успокоила его. Беспокойство толкало его дальше, он не мог стоять на месте. Когда он проходил мимо прилепившейся к Замковой горе маленькой синагоги бродяг, принадлежащей странствующим скорнякам, то подумал: «Разве и я не бродяга?» Ему сразу же пришла на ум мысль о странствующей Шехине и о том, как она явилась ребе Леви Ицхаку на Дубильной улице (о чем говорили недавно за древним столом). Он стоял перед молельной скорняков. Внезапно с остановившимся на миг сердцем он понял, что улица опустела, что она совсем безлюдна. Все небо было в закатном пламени. Вдруг откуда-то появилась и прошла мимо него, распространяя запах кожи и мездры, толпа скорняков. Они заполонили всю улицу. Каждый нес на плечах ради праздника шкуру медведя вместо обрывков заячьего и кроличьего меха, носимых ими в будни. Каждый нес в руке сумку с талитом и тфиллин.

— Ради Бога, братья, куда вы спешите? — закричал Еврей. — Зачем вы несете тфиллин? Суббота близка, и они больше не нужны.

— Нет никакой субботы, — бормотали они в ответ, — больше не будет субботы.

— Суббота приближается! — почти рыдал он. — Братья, суббота близка!

Медведи окружили его и заплясали, трясая сумками, в которых гремели кости.

— Никогда больше не будет субботы! — ревели они, вытягивая шеи к Еврею.

Ему показалось, что в медвежьих мордах он узнает лица люблинских учеников: Шимона, Меира, Ицхака, ухмыляющуюся тупую физиономию Йекутиля.

— Слушай, Израиль! — вскричал он и упал без чувств на землю.

На следующий день перед началом третьей субботней трапезы место Еврея пустовало... Но как только стемнело, кто-то подошел к столу, за которым было много народу. Некто сидел там и дрожал, как в лихорадке.

— Почему ты здесь? В твоем состоянии лучше лечь в постель, — прошептал подошедший. Ответа не было.

Когда зажгли огонь, он увидел, что рядом с ним стоит Еврей, а дрожь унялась..

Буним и Хозе

Ребе больше любил беседовать с Бунимом, своим редким гостем, даже больше, чем с Нафтоли. Нафтоли рассказывал новости о мире — Буним сам приносил с собой мир. С ним было бессмысленно разговаривать о политических событиях. Он сразу переводил этот разговор на другой уровень. Он как будто стирал краску и позолоту с этого простого и грубого мира и обнажал его деревянную основу. Но когда разговор заходил просто о жизни, он был неистощим, рассказывая истории, легенды, вспоминая похожие случаи. Много позже, уже в старости, он говорил, что хотел написать книгу под названием «Человек», в которой был бы отражен весь человек, но потом решил, что лучше этого не делать. Тому, кто с ним разговаривал, казалось, что слышал, как он читает ее вслух.

В этот раз у ребе на уме было что-то особенное, о чем он хотел поговорить с Бунимом. Он вышел из дверей и увидел того гуляющим под вязами и курящим свою длинную трубку из верескового дерева. Он не стал его звать, а, что было крайне необычным, просто неслыханным, присоединился к своему ученику и тоже стал ходить взад и вперед под вязами с маленькой пенковой трубкой в зубах, которую предпочитал курить на открытом воздухе. Вязы были старые и кри-

вые, но сейчас, в июне, они были покрыты шапками прекрасной листвы.

— Буним, — спросил ребе, — ты помнишь, как ты в первый раз приехал ко мне?

— Как же мне не помнить? — ответил Буним. — Это было вскоре после того, как вы здесь поселились. Я приехал с ребе Довидом, несколько дней я видел вас только издалека и слышал, как вы говорили о Торе. Я не понял ваших слов, но понял другое: будущий мир здесь, в этом месте, у этого ребе. После застольной молитвы вы положили мне руки на плечи и сказали: «Держись за меня, будь рядом, тогда Шехина будет пребывать в тебе, а люди будут искать тебя, чтобы услышать, что ты откроешь им».

— Ты мне тогда ничего не ответил, — сказал Хозе.

— Что я мог тогда ответить? — сказал Буним. — Я был совсем другим тогда. Я был недостойным сосудом для Шехины, и я совсем не желал, чтобы люди приходили ко мне.

— Поэтому ты и вернулся?

— Да, помнится, это было сразу после Рош Ашана и Судного дня. Тогда я получил от вас то, чего искал, а не то, что вы считали нужным мне дать.

— Чего же ты искал?

— Я хотел узнать пределы души.

— Как же получилось, что ты вернулся? Ты ведь не собирался?

— Нет.

— Я тогда в Рош Ашана объявил, что все, кто хотят трубить в шофар, должны сказать мне об этом.

— Я не умел трубить в шофар, но объявился.

— Ты помнишь, что я сказал тогда?

— Вы сказали, что трубить в шофар — это не труд, не умение, а мудрость. Поэтому мудрый ребе Буним годится для этого.

— А дальше?

— Вы отвели меня к себе и научили правильной концентрации, как собрать всю душу и направить ее ввысь, перед тем как протрубить в шофар. Потом мы пошли в синагогу и вы сказали: «Возьми рог и сосредоточь душу». Но я отказывался трубить, говорил, что не умею. «С чего ты это взял?» — спросили вы.

— Что же ты мне ответил?

— Я сказал: «Моисей, прежде чем нести народу откровение, даже тогда, когда узнал имя Бога, утверждал, что не имеет дара речи».

— Разве это был ответ на мой вопрос?

— Нет.

— Тогда ответ сейчас.

— Ответ такой же, как раньше. Я хотел узнать, как высоко простирается душа.

— И ты это узнал?

— Да.

— А теперь ты все еще стремишься к знанию?

— Теперь нет, но в молодости, когда я учился у венгерских хасидов, я хотел узнать все, что только можно узнать в этом мире.

— Все?

— Все, что я могу вместить. А сколько он может вместить, человек узнает только из опыта.

— И я для тебя — часть мира?

— Да, ребе. Здесь — центр мира, его срединная часть.

Ребе молчал, покуривая. Потом сказал:

— А помнишь, что было накануне Судного дня?

— Вы позвали меня и спросили совета, что делать с вашей старой, поеденной молью, меховой шляпой. Вы сказали, что моль распространяется все больше. Тогда я посоветовал вам вычесать зараженные насекомыми части.

Вы ответили поговоркой: «Тот, кто может прочесть чужое письмо, может его и доставить». Тогда я сам вычесал вашу шляпу.

— А ты понял смысл всего этого?

— Конечно. Я понял, что, снедаемая постоянной жаждой познать природу души, моя собственная оказалась в опасности и могла погибнуть, как ваша шляпа. Моя душа была подпорчена стремлением изучать людей, а не просто сочувствовать им и ощущать себя близким им. Я понял, что должен исправить этот недостаток, иначе моя душа погибнет. И не давать этому ощущению возникнуть снова. Я должен быть простым с людьми, а не рассматривать их как объект изучения. С тех пор я переменялся. Не тогда я стал вашим учеником, когда мы изучали какой-то отрывок, а тогда, когда вычесал вашу шляпу.

— А ты считаешь себя моим учеником, Буним?

— Да, я ваш ученик и всегда им буду.

— Но после этого ты снова уехал.

— Я вернулся только через год после праздника Песах.

— И когда ты вернулся, я спросил: «Ну как ты, Буним?»

— Я мог ответить только, что мне очень горько. Сердце мое стало горьким. И вы сказали: «Значит, ты на правильном пути, ибо сказано: «Сердца сокрушенного и смиренного Бог не уничижит»».

— И это так и было, тебе стало легче?

— Да.

— А чем ты занят теперь?

— Теперь я смешиваю вещества для лекарств и слезу, чтобы мысли мои оставались чистыми и несмешанными.

— А какова твоя цель?

— Быть рядом с теми, кто нуждается во мне. Вы учили меня, ребе, быть там, где ты нужен, и таким, каким нужен.

— Ты нужен нам здесь, Буним.

— Я имею в виду, нужно быть готовым помочь другому в достижении его цели.

— Ты нужен нам, Буним, для нашей цели.

— Ребе, — сказал Буним, — мои легкие и мой рот не научились лучше трубить в шофар.

Говоря это, Буним прислонился к вязу и вспомнил, как они сидели здесь с Евреем четыре дня назад.

Сейчас небо было ясное и все усеяно звездами, луна была в половине. Бессознательно Буним поднял лицо к небесным огням и так же бессознательно, опуская глаза, посмотрел в ставшее смертельно бледным лицо ребе — с него сошла вся краска. Никто ни прежде, ни потом не видел такой перемены во внешности люблинского Хозе.

Ребе постучал о дерево, вытряхивая пепел из трубки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Заметки

Дальнейшее повествование продолжают заметки одного из учеников люблинского ребе, по имени Бениамин. Он сам был из Люблина и жил там летом 1797 года. Эти записки он писал не как дневник, но скорей как воспоминания, оглядываясь назад и выбирая только самое значительное. Я сделал из них извлечение, касающиеся интересующей меня темы. Реб Бениамин писал:

«Здоровье ребе улучшилось в этом году по сравнению с двумя предыдущими, когда он часто казался усталым. Он уделял больше внимания занятиям и особенно — тайному учению, что прежде доверял реб Меиру и реб Гиршу, когда тот приезжал в Люблин. Застольные беседы, которые в последние годы были весьма коротки и в которых он излагал лишь малую часть того, что его волновало, теперь стали, как прежде, обстоятельными. Особенно много внимания он уделял доверию к цадику и отношениям между ним и учениками. Однажды ночью я записал по памяти его речь и привожу ее

здесь. Она была посвящена словам пророка Исайи: «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке, без света».

«Кто из вас боится Господа?» Это о тех, кто истинно верит в Бога, но в то же время не удаляется от людей, а спасается сам среди них и даже благодаря им, и помогает им вернуться к Богу. «Кто слушает гласа раба Его» — это о тех, кто слушает голос цадика, раба Его, и верит ему. Почему Господь называет цадика Своим рабом? Потому что он идет в темноте. Он проходит через мрак похоти и суетных желаний, которые затемняют лик Бога. «Кто ходит во мраке, без света?» — тот, для кого светит во тьме только божественное Ничто, возникшее из высочайшей первоначальной силы, из «Короны», которая по причине чуждости всему материальному называется также «Ничто».

В другой раз реб спросили о том, почему в Рош Ашана, когда к столу подают голову ягненка, полагается говорить: «Да будет воля Твоя, чтобы мы были подобны голове, а не хвосту». Ребе объяснил это так: «Нужно молиться о том, чтобы стать учеником настоящего цадика, которого можно назвать главой, о том, чтобы каждый был близок к ней и служил ей».

В этом же году мы узнали от реб Нафтоли о новом правителе Запада, по имени Бонапарт, его второе имя звучало как Аполлион или Наполеон. Реб Нафтоли самолично рассказал мне о разговоре, который произошел между ними по этому поводу, и я записал его. Была пятница. Ребе, по обыкновению, вошел в дом учения, куря трубку. Было известно, что в этот день дары Духа особенно обильно изливаются на него. Реб Нафтоли рассказал ему, что этот Бонапарт захватил Рим и римского Папу и что посланный Папы на колених умолял смягчить условия мира. «Это тот человек», — сказал реб . Нафтоли не мог истолковать эти слова, но я понял, что, должно быть, это связано с приходом Гога, кото-

рый ребе предсказал четыре года тому назад. Нафтоли не стал со мной спорить, а продолжил свой рассказ. Он доложил ребе о том, что сейчас этот Наполеон стоит под стенами Вены и что императорское войско гнется под натиском, как написано у Исаяи: «Они колеблются, как деревья в лесу от ветра». Тогда, рассказывал Нафтоли, ребе подошел к окну и долго пристально вглядывался вдаль, сказав следующие слова: «Я вижу его, он маленький и тощий, но он пополнеет. Ноги у него короткие, а голова большая». Реб Нафтоли упомянул о том, что этот человек происходит не из той страны, во главе которой стоит, а с отдаленного острова. На это ребе сказал: «Он — сидонец». Нафтоли сказал, что нет, этот человек не из Тира или Сидона, он происходит с маленького острова на Западе, но ребе повторил, что он сидонец, и добавил: «Он мнит, что он лев пустыни. Но он не лев. Я вижу у него на лбу знак Скорпиона. Он пришел с сидонских островов. Он пришел из вод бездны. Он посланец Абадонна. Он никого не любит и хочет быть любимым всеми. Он относится к миру, как хищник к добыче. Он от Абадонна». Это доподлинные слова ребе, переданные мне Нафтоли. Он еще сказал мне: «Давно известно мудрецам, что восстанет армия под знаком Скорпиона и опустошит землю, а ее предводитель будет Ангел бездны, по имени Аполлион, что по-еврейски значит «Погибель»». Я очень внимательно выслушал его и верно записал его слова.

Я запомнил упомянуть о том, что реб Йуда Лейб недавно покинул нас и вернулся в свой Закилков. Это произошло после долгой беседы с ребе. Он потребовал, чтобы ребе наказал Еврея, который основал свою общину в Пшисхе, где он жил уже два года. Ребе отказался поверить в это. Еврей все время приезжал в Люблин, и он рассказал бы об этом, если бы подобное произошло. Но реб Йуда Лейб настаивал на этом, тогда ребе сказал: «Скорее вы встанете во главе новой

общины, чем он. Вы уже давно думаете, что Архангел Правды не на моей стороне. Еврей не поддастся такому заблуждению». Тогда реб Йуда Лейб ушел, не сказав ни слова. Говорили, что он был обижен тем, что ребе доверил присмотр за учениками более младшему, чем он, реб Меиру.

Раз зашла речь об Еврее, нужно отметить, что после его отъезда противники сплотились в союз, во главе которого стояли Йуда Лейб и реб Шимон Немец. Но на деле всем заправлял Айзик, который посылал шпионов в Пшисху, чтобы выяснить, действительно ли Еврей учит, действительно ли к нему приходят с молитвенными записками и искупительной платой другие хасиды, а самое главное, навещают ли его ученики из Люблина. Не секрет, что не только ребе Довид и реб Буним, но и многие другие ученики зачастили туда. Выяснили, что реб Иссахар Бер, который, правда, посещал очень многих цадиков, частый гость Еврея. Довольно странно, что и молодого Переца, брата реб Иекутиля, видели в Пшисхе... Все эти сведения были собраны и преподаны в нужном свете ребе. В основном это делал реб Иекутиль, который не умел лгать. Конечно, это была правда, но истолкованная по-своему. Однако ничто не могло склонить ребе предпринять что-либо против Еврея, к которому все еще было привязано его сердце.

Я должен поведать еще о том, как случилось, что реб Шимон Немец, который всегда недолюбливал Еврея и всегда ворчал на него, возгорелся к нему самой черной ненавистью. А дело вот в чем: когда Еврей ехал в Люблин в первый раз после переселения в Пшисху, ему случилось встретить по дороге на постоялом дворе реб Шимона. Они позавтракали вместе. Вдруг реб Шимон сказал: «Я не поеду в Люблин. Я вижу, что ребе нет дома». Еврей оспорил это. Наконец они решили вместе ехать туда. Реб Шимон поехал только для того, чтобы посмеяться над самоуверенностью и упрямством Ев-

рея. Как только они въехали в ворота, люди встретили их словами о том, что ребе недавно уехал куда-то. Реб Шимон торжествовал: «Ну что, разве я неправильно увидел?» — «Это неверно», — ответил Еврей. Они вошли в дом и узнали, что ребе действительно собирался уехать, но отложил поездку. Реб Шимон спросил Еврея, откуда он это мог знать? «Потому что вы так хвастались вашей прозорливостью», — сказал Еврей. С тех пор неприязнь реб Шимона превратилась в великую ненависть.

Благословение

Пшисха на вид ничем не отличается от бесчисленных польско-еврейских местечек, где поляков, конечно, гораздо больше, но кажется, что наоборот. На улицах чаще попадаются евреи, они деятельнее и шумнее. Впрочем, в Пшисхе их было и впрямь немало, особенно в пятницу, когда за несколько часов городишко полностью преобразался.

На главной улице (она называлась Радомская, потому что если по ней идти, а потом выйти из города и продолжать путь в этом же направлении, то придешь в город Радом), на этой улице была аптека. Посетитель входил, наклоняясь, под низкий свод и видел впереди еще один свод, ведущий еще ниже и как будто повторяющий первый. Среди довольно убогой обстановки выделялись два сияющих старинных сосуда. Поперек комнаты стоял прилавок, на нем, помимо весов, теснились банки с лекарствами, бутылки с разноцветными жидкостями, надо всем царил запах сливовой водки и вишневки. Завсегдатаи наслаждались ими в сторонке, за двумя маленькими столиками. Они пили за здоровье хозяина, болтали с ним, а когда посетителей было немного, играли с ним в шахматы.

В эту пятницу крестьянка ожидала у прилавка, пока Буним приготовит по рецепту лекарство. Он был в прекрасных отношениях с местными крестьянами, они часто советовались с ним по самым разным вопросам, не имеющим отношения к лекарствам. («Он знает», — говорили они уважительно.) Буним расспрашивал женщину о здоровье ее младших детей, правой рукой готовя лекарство, а левой перебирая струны гитары, лежавшей рядом. Вдруг дверь отворилась, и вошел какой-то хасид. Он посмотрел на Бунима удивленно и неодобрительно. Наконец он выразил свои чувства следующим образом: «Буним, — сказал он, — вы неправильно себя ведете». — «Реб Йошке, — ответил Буним, — вы самый глупый из всех хасидов!»

Тот вышел, унося озлобление в душе, но потом рассказывал, что в следующую ночь ему явился во сне его дедушка, который дал ему пощечину и сказал: «Отстань от него, не тебе судить его, своим сиянием он освещает многие залы здесь в небесах».

Вскоре после этого Буним сел играть в шахматы с одним пользующимся плохой репутацией ростовщиком. Буним часто играл в шахматы с сомнительными людьми. Сам он делал ходы со смиренной сосредоточенностью. При этом он бормотал или приговаривал что-то вроде: «Хорошо подумай ты, чтобы не было беды». Эти приговорки, казалось, относились только к игре, но противники невольно задумывались над ними. Они чувствовали, что речь идет об их жизни. Они сопротивлялись, боролись, но потом все-таки раскаяние поселялось в их сердцах. И в этот раз все вышло чудесным образом. Буним сделал неверный ход, противник воспользовался этим и загнал его в тупик. Буним попросил разрешения переходить, соперник позволил ему это. Вскоре это повторилось, однако на этот раз соперник возмутился и сказал: «Один раз я разрешил переходить, и хватит». — «Горе человеку, —

воскликнул аптекарь, — если никакая просьба уже не помогает ему вернуться!» Молча ростовщик смотрел на Бунима, но не было сомнения, что легкий огонек загорелся в пепле его души. Буним встал, подошел к прилавку и побренчал немного на гитаре. В этот момент дверь отворилась, вошел мальчик, который передал просьбу Еврея немедленно прийти к нему. Буним уже привык к таким вызовам. Когда к ребе приходил кто-нибудь, нуждавшийся в исцелении души, которая была запущена (то, что Буним называл «трудный случай»), он обычно кричал: «Позовите сюда аптекаря, пусть поможет!» Неправда, что ребе принимал записки и деньги, но и в помощи никому не отказывал. В этот раз, кажется, случай был особенно трудным. Буним позвал свою жену Ривку заменить его. Она улыбнулась, как делала всегда, когда смотрела на него. Казалось, она всегда радовалась, глядя на него, и не уставала им восхищаться. Он тоже улыбнулся в ответ. Ему нравилось веселить ее, он тоже восхищался ею. Он попросил жену встать вместо него за прилавок и ушел.

Еще в одном из переулков, прилегающих к дому Еврея, он увидел большую толпу, состоявшую из хромых, расслабленных, их родственников и помощников. Все они страшно кричали и жестикулировали, требуя впустить их в дом. Бунима увидели из окна и открыли ему дверь, но тех, кто попытался втиснуться за ним, вытолкнули на улицу. Дверь тут же закрыли на засов.

Еврей встретил Бунима в сенях.

— Посоветуйте, что мне делать, реб Буним, — сказал он. — Случилось нечто, само по себе хорошее, но оно может иметь дурные последствия. Как вы знаете, я уезжал на родину навестить родителей. Я задержался и должен был встретить субботу в дороге, на постоялом дворе. Уезжая, я хотел расплатиться с хозяином, но он не взял денег. Он сказал, что ему нравится, как я молюсь, что он понял, почему я молюсь только

тогда, когда мое сердце готово к этому, что он человек простой и не смеет так молиться, но рад, что есть на земле кто-то, кто молится так. Поэтому ему противна даже мысль взять деньги за то небольшое, что он смог для меня сделать, и что, если я буду настаивать, это оскорбит его. Тогда я спросил его, не могу ли я как-нибудь иначе отплатить ему за доброту. «Лучшее, что может сделать добрый гость, — ответил он, — это благословить хозяина дома». Жена, дети и слуги собрались вокруг него, я благословил их всех, сел в коляску и просил кучера поторопиться. Но тут он крикнул: «Ребе забыл попрощаться с нашей дочерью и благословить ее». — «Я не знал, что у тебя есть еще дочь, — сказал я слегка раздраженно, — почему ее нет здесь? Пусть она сию же минуту выйдет». И тут она действительно вышла, еле волоча ноги, подошла прямо ко мне и склонила голову для благословения. Все закричали и зарыдали, потому что случилось чудо. Одиннадцать лет эта девушка лежала парализованная, не в силах даже повернуться с боку на бок. Пока они охали и ахали вокруг нее, я вскочил в коляску и уехал. Думал, слухи об этом не донесутся сюда. Но они все же каким-то образом распространились, люди узнали о якобы сотворенном чуде, и вот все больные и калеки со всех окрестностей приходят ко мне, требуя, чтобы я исцелил и их. Что мне делать, реб Буним?

Буним задумался. Никогда он не видел своего учителя в такой растерянности.

— Выйдите к ним и скажите им правду, ребе, — ответил он.

— Правду? — спросил Еврей с сомнением. — Как смогут они ее понять?

— А вы скажите им так, чтобы они поняли.

Он открыл дверь, и они оба вышли. На улице за это время произошли некоторые изменения. К прежним страдалцам добавилась новая группа поляков, товарищей по несчастью. Они стояли несколько в стороне.

— Их я беру на себя, — сказал Буним.

Он быстро подошел к христианам. На чистом, без акцента, польском (он вообще знал много языков) Буним стал уверять их, что этот человек не чудотворец. Он просто один раз невольно послужил орудием Божьим, потому что Бог желал исцеления той девице, но...

Тут слушатели прервали его, не враждебно, но мягко упрекая его.

— Почтенный ребе просто не хочет исцелять нас, — жаловались они.

Тут зашумела и еврейская толпа, вплетая в медленное гудение рассудительной крестьянской речи резкую мелодию плача и жалобы изгнанного народа. Несчастья смертного, его боль, его беспомощность, напрасные надежды — все, что не поддается выражению, все же звучало в их безнадежных криках. Это поразило Еврея. Он преобразился, как будто на него пало сияющее облако любви.

— Братья, братья, — вскричал он, — вы страдаете, как страдают все смертные, и Шехина страдает вместе с вами вашим страданием. Она болеет вашими болезнями, с вами она парализована, жалуется вашей жалобой. Я не знаю, почему вы обречены страдать. Я не знаю, как исцелить вас, я только знаю, что искупление придет. Шехина искупит ваше страдание. Когда это случится, человек перестанет страдать и всякому горю придет конец. Бог, Бог страдания благословит вас. И я благословляю вас Его именем. Во имя единства Пресвятого и Шехины Его.

С этими словами он поднял руки и над евреями, и над поляками. Вместе они склонили голову под благословение.

Евреи поняли его речь не лучше, чем поляки. Но и те, и другие почувствовали истинность и искренность его слов. Медленно, но без тени недовольства, не ропща, люди стали расходиться. Тут только Еврей оглянулся, ища Бунима, но

его не было сзади. Он стоял перед ним в нескольких шагах, склонив голову, Он вместе со страдающими и больными принял благословение ребе.

Внутри и снаружи

Известно, что ребе Буним дал прозвище Еврею — Золотой Колос. Это нуждается в объяснении. Неверно было бы думать, что он назвал его так после того, как увидел во время одного из своих путешествий в королевской сокровищнице искусно сделанный из золота колос с золотыми же зернышками. Буним любил петь утренние молитвы в полях. Существует легенда, что однажды ему явился там в одежде странника наш праотец Исаак, который, как гласит Писание, «уходил в поля, чтобы размышлять». Исаак говорил с ним. Буним часто бродил подолгу в зреющих пшеничных полях и не мог насытиться запахом полей, «благословенных Богом». Говоря «золотой колос», он имел в виду полноту созревания, благословенную зрелость, которая проявляется внешне в золоте хлебов. И когда он подчас срывал колос и с благоговением жевал зерна, к его молитве прибавлялась питательная сила, заключенная в живом и наливающимся колосе.

Нечто от этой восторженности, с которой он смотрел на поле, появлялось у него в глазах, когда он смотрел на Еврея, ставшего после случая с калеками его самым любимым учителем. Он восторженно глядел, как тот с неизвестным ему раньше спокойствием курит, долго вдыхая дым, или как он с той же невозмутимостью откусывает кусочек коричневого печенья, искусно испеченного для мужа Шендель Фрейде. Хоть она часто сердилась на него, но пекла печенье все равно вкуснейшее. Герский ребе, знаменитый ученик Бунима, рассказывал, что Буним говорил: «Когда Еврей курил, душа его

была такой высоты, какой бывает у первосвященника в миг воскурения благовоний, а когда он ел печенье — как у первосвященника, приносящего жертву».

— Ребе, — сказал однажды Буним, — хоть вы и не принимаете молитвенных записок и не толкуете Тору по субботам, все равно вам не избежать своего предназначения и своей судьбы, вы должны встать во главе своей общины.

— И вы так заговорили, Буним, — отвечал Еврей. — Должна ли ложь клеветников стать правдой?

— Что вам за дело до клеветников?

— Я не хочу, чтобы они оказались правы.

— Но, ребе, подумайте, когда кто-то приходит к вам и просит совета, вы не отказываете ему. Когда другой приходит к вам и спрашивает, как ему спасти свою душу, вы помогаете ему. Разве все эти люди уже не составляют общину, не являются уже вашими учениками?

— Я должен помочь каждому, кто обращается ко мне, встать на верный путь. Но не может возникнуть община там, где человек, который мог бы стать во главе ее, не хочет этого.

— Сообщество возникает не по его воле, а потому, что он обладает нужной для этого сущностью.

— Но если он не хочет этого?

— Вы все равно будете вынуждены захотеть.

— Что может меня принудить к этому?

— Кто как не Бог, все равно каким образом!

— Он не принуждает!

Буним боялся нарушить обретенное ребе спокойствие. Но даже и в дружбе есть нечто более высокое, чем забота о друге. Он тихо сказал:

— Он сам сказал: «Я буду в том, кто будет там». Он не скован в образах своего проявления. Если он хочет наставить человека на путь, он может прибегнуть к силе.

— Это жестоко.

— Он не сентиментален. Он суров и милостив. Иов свидетельствует об этом.

— Не говорят ли наши мудрецы: «Прильни к проявлениям Его?» Не должны ли мы ревностно подражать Ему?»

— Мы должны подражать его милосердию, которое Он открывает нам, но не Его суду, который нам не вынести.

— Буним, я знаю кое-что о суде Божьем, и он так же непостижим для меня, как для Иова.

— Его суд иногда бывает мягок, Он не карает, а ведет, Он подталкивает.

Они замолчали. Буним заметил, что хотя Яаков Ицхак страдает, но все равно не теряет своего необыкновенного спокойствия.

— Было время, — сказал Еврей, — когда я сомневался, так ли уж мы необходимы.

— Что вы имеете в виду?»

— Вот что: действительно ли необходимы сообщества и вожди сообществ? Не довольно ли одних святых книг? Я мечтал о том, чтобы возникло поколение чтецов, которые живыми голосами говорили бы живому сердцу. Но этого было бы недостаточно, я понял, что сообщество есть только частица будущего союза всех людей. Нет, мы нужны, но не только для исправления людей. Богу важно не только то, что мы делаем или чего не делаем; точнее, Ему важно, как именно мы это делаем или не делаем. А об этом не написано в книгах.

— Ребе, — сказал Буним, — в Данциге многие купцы удивлялись, почему я, так хорошо зная Тору, все-таки трачу деньги на поездки к цадикам. Какой мудрости могут они научить меня, которой не содержалось бы в книгах? Я пытался объяснить им, как мог, но они все равно не понимали. Однажды они пригласили меня на какое-то представление. Я не пошел. Вернувшись из театра, купцы рассказывали о замечательных вещах, которых прежде не видывали. «Я знаю, о чем вы говорите, я ведь прочел афишу, знаю содержание и действу-

ющих лиц». — «Все равно ты не можешь представить себе то, что мы видели». — «Теперь, — сказал я, — может быть, вы поймете разницу между книгами и цадиками. И вот...»

Дверь отворилась, и вошла очень молодая женщина, толкая перед собой деревянную коляску, в которой гукал бойкий младенец. Было видно, что она боится оставить его без присмотра хоть на мгновение. Если бы не пышная грудь и крутые бедра, ее можно было бы назвать стройной, можно было бы назвать хорошенькой, если бы не огромный длинный нос, который, когда она молчала (а это случалось редко), выражал все ее чувства. Если она была чем-то взволнована (а это было ее привычное состояние), она, прежде чем заговорить, склоняла набок свою маленькую головку, сверкая красивыми серыми с коричневыми точками глазами.

— Ицикель, — сказала она тоном, который мог показаться мягким, но в котором явственно звучала способность мгновенно переключиться на ужасный визг, — я хочу поговорить с тобой, и именно при реб Буниме, потому что он — умный человек.

— Она подслушивала, — прошептала Буним на ухо Еврею, — удивляюсь, что она так долго терпела и не входила.

Чуть спокойнее Шендель продолжала:

— Прислушайтесь к тому, что я скажу. Я требую! Так не может продолжаться!

На лбу у нее выступила капля пота, верный признак, что она вот-вот потеряет способность изъясняться по-человечески и разразится неостановимым потоком слов.

— Тебе нет дела ни до чего, Ицикель, — начала она, — кроме твоих снов, которые ты видишь даже наяву, твои бессмысленные сны — это все, что тебя волнует. Ты забываешь, что у тебя есть жена, ты забываешь, что у тебя есть сын. Только твои сны заботят тебя, а мы тебе безразличны. Мы можем погибнуть, разве нет? А тебе все равно. А надо бы забыть о

снах, надо вернуться к реальности и решиться на что-то, ведь люди сами прибегают к тебе, сходят с ума, тебе надо только протянуть руку, но ты ее прячешь за спину. Ты слишком высокомерен, чтобы обращать внимание на их просьбы. О, конечно, ты ведешь себя дружески, но в сердце ты высокомерен. Я знаю, нет никого холоднее тебя. Я боюсь, когда ты смотришь на меня этими отстраненными далекими глазами, так же ты смотрел и на бедную Фогеле, такими же далекими глазами. Ты помнишь, каков был ее конец и что с ней случилось?

Яков Ицхак молчал.

— Это тебя не волнует, — продолжала она. — Ты так далеко. Ты в своих снах. Но я-то никогда не забуду, как она сидела здесь и вышивала, стараясь не плакать, а ты был здесь и не здесь. Ты думал, я слишком маленькая и ничего не понимаю. А я отлично видела, как она старается не заплакать, а ты бродил по комнате, весь погруженный в свои пустые видения. Но со мной это не пройдет. Я не допущу этого. От меня ты не убежишь, как от нее.

Яков Ицхак молчал.

— Человеческая душа может корчиться в муках у твоих ног, — кричала Шендель, — тебе что за дело? Ты уходишь в свою комнату молиться... Я удивляюсь, что такой, как ты, вообще осмеливается молиться. А люди верят тебе, вот что странно! Они верят тебе больше всех, они даже думают, что ты можешь творить чудеса. Соверши чудо — прокорми свою жену и ребенка! Если бы мама не приехала к нам, мы бы умерли с голоду. Да, ты зарабатываешь учением жалкие гроши. Но даже их ты не даешь нам. Тебе невмоготу, чтобы они оставались дома хоть одну ночь. Все, что остается в доме до заката, ты отдаешь бедным. Но разве мы сами не бедные? Ты уносишь из дому последний грош, когда утром ребенку не на что купить стакан молока! Ты погубишь нас, ты хочешь нас погубить!

Она уже визжала, но вдруг дыхание у нее перехватило, она издала тихий стон и замолчала. Еврей внимательно посмотрел на нее и наконец прервал молчание.

— Шендель, — сказал он, — не грехи! У нас есть крыша над головой и кусок хлеба, и дети Фогель тоже сыты и одеты. Чего тебе больше?

Буним удивленно взглянул на него.

При первых словах Еврея Шендель опять обрела дар речи. Но весь пыл ее пропал. Просто чтобы не уйти посрамленной, она пробормотала еще что-то и вышла, ожесточенно толкая перед собой коляску и хлопнув дверью.

— Ребе, — спросил Буним, — чем этот день лучше прочих? Обычно вы не отвечаете ей!

— Буним, — ответил Еврей, — ты заметил, как она поперхнулась от злости, увидев, что я не обращаю внимания на ее ругань? Я должен был дать ей почувствовать, что ее слова ранят мое сердце. И разве они вправду не ранят меня?

В этот момент за открытым окном послышался легкий шум. Буним вскочил, подбежал к окну, перескочил через низкий подоконник. Еврей услышал резкий вскрик. Через минуту его друг вошел в комнату, таща за руку какую-то упирающуюся фигуру. Это был Айзик. Он уже пришел в себя и даже приподнял, как обычно, кривое плечо. Он повернулся к Еврею и торопливо заговорил:

— Ребе, я знаю, меня оклеветали перед вами. Говорят, что я распространяю о вас злобные слухи. Но это неправда. Да, конечно, я собираю сведения о вас. Но я делаю это для того, чтобы ложь не дошла до ушей нашего ребе. Другой на моем месте делал бы из мухи слона. А я говорю только чистую правду. Сила правды велика и побеждает ложь!

— Реб Айзик, — сказал Еврей, — окажите мне честь, разделите с нами трапезу сегодня.

За трапезой случилось нечто, что вызвало потом много пересудов. Еврей передал Айзику через стол кусок селедки.

Айзик, боясь сглаза, быстро замотал руку платком. Почувствовав в ней какое-то онемение, он испугался, что она может внезапно отняться. Он взял рыбу и поднес ко рту с намерением сделать вид, что он ее ест, а на самом деле чтобы бросить незаметно под стол. Но в этот момент он почувствовал вдруг страшное удушье. В испуге, не зная, что делать, он машинально сунул кусок рыбы в рот и проглотил. Удушье сразу же прекратилось. С тех пор это повторялось каждый раз, когда он собирался съесть селедку, так что в конце концов он был вынужден отказаться от этого блюда.

Армагеддон

Далее я привожу заметки реб Бениамина Люблинского, относящиеся уже к 1799 году:

Все последнее время ребе был так мрачен и озабочен, что казалось, он все время ходит внутри грозового облака, а оно плавает за ним, куда бы он ни пошел. В начале зимы он встретился с Нафтоли. После этой встречи лицо Нафтоли стало серьезней обычного. Он не хотел отвечать на мои вопросы, но, так как я не отставал, он все же наконец сказал:

— Тебе известно, что дон Ицхак Абарванель⁶ трактует слова Исаяи о Гог в том смысле, что Гог сначала завоюет Египет, а уже потом обратится против Израиля?

⁶ *Дон Ицхак Абарванель* — 1437-1508, философ, комментатор Библии и государственный деятель (казначей короля Португалии, в дальнейшем — Испании, а затем — Неаполя). Создатель оригинальной космогонии и историософии рационально-философского характера, значительно повлиявший на эсхатологические представления евреев. Абарванель считает, что государства имеют преходящий характер, они возникли в результате грехопадения и исчезнут в мессианскую эпоху — эти идеи были особенно близки Буберу.

— Ну и что? — спросил я, не понимая, что кроется за этим.

— Разве ты не знаешь, что Бонапарт уже в Египте?

Тут я понял, о чем идет речь.

— Но, — возразил я, — однако дон Ицхак утверждает, что Гог не является конкретной личностью.

— Дурак, — крикнул он мне, — при чем тут это?

Но я так и не понял, почему он назвал меня дураком. Хоть он торопился, я не давал ему уйти. Я схватил его за руку и напомнил, что, согласно Абарванелю, народ, называемый Гогом, будет бороться против христиан, захвативших Святую Землю, а сейчас в Египте и Святой земле хозяйничают турки. Это разозлило его еще больше. Стряхнув мою руку, он ушел, сказав на прощанье: «Что толку говорить с человеком, который не знает, что Бонапарт борется с христианами, даже воюя против турок?» Я остался при своем мнении — по-моему, он не сумел убедительно ответить на мое возражение.

Вскоре после этого ребе послал гонца за ребе Гиршем в Жидачов с просьбой немедленно приехать. Мы все гадали, почему и зачем был приглашен именно ребе Гирш. Впрочем, всем известно, что нет человека более сведущего, чем он, в каббале и в тайном учении.

Он же сам отрицал, что занимается практической каббалой. Как только он приехал, ребе заперся с ним в комнате, и никто не смел даже близко подойти к ней. К счастью, Рохеле убирала в соседней комнате и потом сказала мне, что она слышала, как ребе взволнованно спросил: «Значит ли это, что под севером должно понимать северо-запад?» Я сразу понял, что имеются в виду некие злые силы, ведь известно, что север знаменует «левую сторону». Но когда я поведал об этом реб Меиру, тот рассмеялся и сказал: «Совершенно ясно, что они просто пытаются разъяснить слова Писания о том, что Гог придет в Землю Израиля с севера, тогда как он пришел с

северо-запада, а в Торе нет упоминания о северо-западе». Я думаю, напрасно он смеялся надо мной, ведь речь шла о каббале, о чем-то таинственном. Вообще я нахожу безумным то, что этому Бонапарту придается такое значение. Что заставляет такого человека, как наш ребе, так много думать об этом грубом и неотесанном типе? Правда, многие, даже и наши, только и говорят что о Бонапарте. Но, в конце концов, в мире есть много более важных вещей. Правда, потом произошло нечто, что вроде бы подтверждало правоту реб Меира. Но я уверен, в конце концов окажется, что правда на моей стороне.

Прежде чем я расскажу об этом событии, которое заставило всех призадуматься о Бонапарте, я хочу рассказать о других происшествиях, одно из которых нас испугало.

В середине марта, незадолго до Пурима, нас посетили редкие гости — Довид из Лелова, Еврей и ребе Буним. Они были в очень веселом настроении, как будто пуримские празднества были уже в самом разгаре. Посетив ребе, они пригласили всех на праздник. Реб Нафтоли, который, как и я, принял приглашение без всяких сомнений, сказал мне, когда мы направлялись туда: «Почему говорится о царе Ахашвероше, что он дал большой праздник для всех своих князей и всех слуг, ведь это одни и те же люди? Они князья для народа и слуги для царя. Писание намекает на то, что во время праздника все слуги и все князья одновременно. Но под влиянием вина они меняются. Некоторые начинают считать себя князьями, а другие слугами».

На празднике были почти все люблинские хасиды. Все веселились. Мы много пили, пели веселые и священные песни и танцевали. Один семидесятилетний хасид вскочил на стол, скинул сапоги, приподнял полы кафтана и пустился в пляс среди горящих свечей и стаканов, не задев ни тех, ни других.

Рассказывали разные истории. Довид — о детях, Буним — о данцигских купцах, а реб Нафтоли — смешные истории о

цадиках. Только Еврей молчал. Но слушал всех с веселым лицом.

На следующий день постоянный двор был переполнен люблинскими хасидами. Среди них было немало и недоброжелателей Еврея, они пришли сюда с явным намерением шпионить за ним и доносить на него ребе. В конце концов они оклеветали Еврея до такой степени, что ребе воскликнул: «Он что, явился сюда, чтобы увести моих людей?» Сам Еврей, казалось, ничего не знает об этих толках. Реб Буним, чтобы быть подальше от всего этого, ушел на целый день на прогулку. А ребе Довид, узнав обо всем, попытался переубедить их.

(Через несколько лет автор приписал: «Недавно ребе Довид рассказал мне, что, когда Еврей узнал обо всем, он был очень удивлен и невероятно благодарен ребе Довиду за его старания, много раз благодарил его, а потом спросил, нет ли у него какого-нибудь желания, которому он мог бы помочь исполниться». — «Если уж Довид вообще чего-то хочет, — отвечал тот, — то это поскорей скинуть свою телесную оболочку». В тот же день они решили обручить своих детей, сына ребе Довида Мойше и младшую дочь Еврея — старшая была уже помолвлена, чтобы они поженились, когда вырастут.

Это было за день до поста Эстер⁷. Вечером накануне Пурима, когда пост уже кончился, случилась ужасная вещь. Когда ребе шел в дом молитвы, чтобы прочитать Свиток Эстер⁸, ему внезапно отказали ноги. Он застыл, не в силах сделать ни шагу. Напрасно пытались поддержать его или

⁷ *Пост Эстер* — пост накануне Пурима, согласно преданию установленный царицей Эстер.

⁸ *Свиток Эстер* — Написанная на пергаменте, в соответствии со строжайшими правилами, книга Эстер, которую публично читают в Пурим.

приподнять. Он стал вдруг невероятно тяжелым. Еврей подбежал к нему, чтобы взять на руки и нести, что было бы нетрудно человеку такой огромной силы, но тело ребе как будто окаменело, и Еврей не мог приподнять его. Пробовали и другие, но все напрасно. Тогда вперед вышел Буним. Как только ребе увидел его, то сказал: «Мудрый Буним должен нести меня». Буним сразу же легко поднял его и понес в синагогу. Мы просили ребе присесть, но он отказался и встал прямо перед свитком. Как только он начал читать, его окаменелость исчезла.

(В этом месте на полях приписка, сделанная уже очевидно одряхлевшей рукой: «Здесь нужно добавить слова, сказанные мне самолично ребе Бунимом много позже, когда он уже был слеп и возглавлял общину Пшисхи: «Люблинский ребе был сильнее как хасид, чем я, но никто не знал его лучше меня. Однажды я зашел в его комнату, когда его там не было. И вот я услышал, как его одежды шептались друг с другом и рассказывали о нем разные истории». Мне кажется, эти слова помогают понять, почему именно ребе Буним смог поднять его и нести)».

С этого дня стала заметной давно зревшая перемена в отношении ребе к Еврею. Сильнее всего это проявлялось во взгляде, обращенном на него, — пронзительном и испытующем.

После этого события через три недели случилось то, о чем я постараюсь рассказать так хорошо, как только смогу. Вскоре после Пурима Еврей уехал в Апту навестить своих детей от первого брака. Ребе Довид сопровождал его. Они хотели вернуться перед Пасхой. Реб Буним, уезжая в Пшисху, тоже намеревался вернуться к празднику.

За четыре дня до Песах, когда они все трое были уже на пути сюда, ребе собрал ранним утром в синагоге круг близких учеников. Некоторые из них были старшие ученики, приехавшие ради праздника. Среди них — ребе Йуда Лейб из

Закилкова и ребе Калман из Кракова. Младших было немного. Я был среди них.

О ребе Иегуде Лейбе надо сказать несколько слов. После того как он уехал в Закилков, он очень редко возвращался в Люблин. Когда он приехал в этот раз, ребе спросил его, поздоровавшись: «Говорят, ты основал свою общину?» На это Иуда Лейб дерзко ответил: «Ну и что из этого?» Ребе промолчал. Никто не слышал, чтобы они снова возвращались к этой теме.

Я не могу доверять бумаге все, что произошло во время той встречи. Есть секреты, о которых нельзя писать. Вот что я осмеливаюсь все же рассказать.

Еще за три дня до этого ребе приказал нам окунуться в микву, поститься и на некоторое время отвлечься от всего земного. Сейчас он велел каждому из нас приблизиться, с каждым он говорил о чем-то шепотом. Двоим, чьи ответы его не удовлетворили, он дал знак удалиться. Оставшихся он попросил встать в круг таким образом, чтобы правая рука касалась левой руки соседа. Но именно только касалась, держаться за руки было нельзя. В центре круга стоял высокий столик, а на нем — огромная книга, которую раньше я никогда не видел. Она была открыта. Можно было разглядеть две страницы, покрытые неровными строчками и несколькими рисунками. Ребе подошел к ней и властно приказал всем изгнать все посторонние мысли и сосредоточить всю душу на той работе, которую предстояло исполнить. Он дал каждому из нас указания относительно «попытки вмешательства», как он это назвал, в которой мы должны были участвовать, каждый сообразно своим способностям. Не надо было црилагать чрезмерных усилий, лезть вон из кожи, надо было только подчиниться духовному устремлению часа и преобразить его. Он сообщил нам особые духовные устремления, которые не были известны, как я выяснил потом, даже самым старшим из нас.

Он привел нам, чтобы помочь, подходящий отрывок из Писания. Это был стих из песни Деворы: «Пришли цари, сразились, тогда сразились цари Ханаанские в Панахе у вод Мегиддо, но не получили нисколько серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисрою».

Мне (а может быть, и другим, кто был там), сразу же вспомнилось, как два года назад на Шавуот, ребе прочел после застольных поучений стих из той же песни: «Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога Израилева». Потом ребе сказал следующее: «Дон Ицхак Абарванель говорил, что, возможно, причиной пленения Израиля чужеземцами было намерение Господа создать из них что-то вроде наживки для крючка, на который поймают Гога и Магога». Как говорит Девора Вараку: «Пойди, взойди на гору Тавор... а я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисре, военачальника Иоава, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». И случилось так, что Хананайские цари, увидев Барака, совершенно не испугались его и спокойно продолжали спускаться с горы Тавор, но обманулись и пошли не по дороге к Мегиддо, а через высохшее русло Киссона. И тут вмешались небеса. Внезапно загредел гром и хлынул ливень. Засохшая грязь Киссона превратилась в болото, в котором увязли хананайские колесницы. И они не смогли сопротивляться Вараку и его людям, которые напали на них не только с горы Фавор, но и от истоков Киссона. И так же случится, по мнению дона Абарванеля, и с теми, кто захватил Израиль, они послужат наживкой на крючок, который проткнет губу Гога и вытащит его к горам Израильским, где небеса погубят его в открытом поле. Так и происходит!»

Эти слова: «Так и происходит!» — ребе произнес с такой силой, что все вздрогнули. «Так и будет!» — повторил он и прикоснулся к рисунку в открытой книге, изобра-

жавшему, как я заметил, треугольник. Но его глаза со страшно расширившимися зрачками не смотрели в книгу. «В этот самый миг, — сказал он, — одна из его армий сражается в долине Меггидо, иначе называемой долиной Изреель, на поле битвы народов против конницы и пехоты Султана, которые прижимают врага к горе Тавор. Я вижу сражающихся». Мы увидели их вместе с ним: призрачные дерущиеся толпы перед светлой и сияющей горой. «Его самого, — продолжал ребе, — я не вижу. Но он где-то неподалеку». Его взгляд, обращенный теперь к нам, казался затуманенным. Его слова ударяли в наши сердца. «Это еще не настоящая и решительная битва, — сказал он. — Это только приманка, на которую его завлекают небеса. Когда же дойдет дело до серьезного, им нужен будет помощник. Сейчас его нет. Помощником может быть только народ Израилев. И он придет не из униженной и побежденной Земли Израиля, а издалека, из изгнания. Мы и есть этот помощник. Подумайте о словах Деворы: «Прокляните Мероз, — говорит Ангел Господень, — прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми». Мы знаем это, и мы придем на помощь! — воскликнул он. — Приготовьте ваши души и стойте, час близится!»

Он опустил глаза на книгу, а потом снова посмотрел на нас, зрачки его опять расширились. «Его самого я не вижу, — сказал он. — Он в пути. Он идет от берега Сидонского. Он переходит ущелье. Сейчас его скрывает высокое пшеничное поле. Пшеница шевелится. Ждите. Соберите все силы и ждите. — Внезапно он крикнул: — Я больше ничего не вижу! Совсем ничего!»

Его лицо ужасно исказилось, а близорукие глаза конвульсивно дергались. Сейчас стало особенно заметно, что глаза у него разные. «Ждите, — кричал он, — оно вернется! Он

весь содрогался в неимоверном усилии удержать нечто ускользающее. Мы ждали, окаменев. «Все тщетно, — сказал он через мгновение, — злой дух проник к нам. — Он подошел к скамейке у колонны, сел и опустил голову. — Пойдите узнайте, — велел он, — кто входил в дом в этот момент».

В синагоге не было никого, кроме нас. Я с кем-то еще пошел в дом. В прихожей мы встретили ребе Довида и Еврея. Мы спросили их, когда они пришли. Время совпало. Ребе Довид сказал, что они, узнав о том, что ребе в синагоге, решили его подождать. Я вернулся и рассказал об этом ребе, спросив, не привести ли этих двоих. Он поднялся и сам пошел в дом. Мы следовали за ним. Он прошел мимо ребе Довида, как будто совсем не замечая его. Подошел прямо к Еврею и спросил: «Что ты делаешь здесь?» Еврей смотрел ему прямо в глаза, но ни звука не слетело с его губ. Ребе ушел к себе.

Позднее, узнав о происшедшем, ребе Довид обсуждал это с Евреем, и тот неожиданно сказал: «Я добываю истину в борьбе». Я сам это слышал, и в священном ужасе я вдруг понял, что никогда прежде уста смертного не говорили с такой пронзительной и чистой искренностью. Кто бы ни был этот странный человек, мне открылось, что он больше всего любит правду и не заботится ни о чем, кроме нее.

Через несколько месяцев мы узнали, что Бонапарт оставил осаду Акры, двинулся южнее и выиграл битву при горе Та-вор. Еще через несколько месяцев пришло известие о позорно проигранной им египетской кампании и о том, что он, оставив армию, бежал в Париж. «Это было только начало, — сказал ребе в разговоре с Нафтоли. — Настоящее и самое важное еще грядет. Север есть север, в конце концов». Реб Нафтоли признался мне, что не понял смысла последних слов. Но он не хотел спрашивать. Я же думал, что у меня есть ключ к разгадке, потому что я

слышал слова ребе, обращенные к ребе Гиршу: «Под севером можно понимать в этом случае северо-запад». Я не рассказал об этом реб Нафтоли и не промолвил ни слова. Однако мне было ясно, что «север», как его понимает ребе, это злая сила, которая помешала ему и сделала напрасным его видение. Я уверен также, что эта злая сила вполне реальна. Но я не мог поверить, что Еврей имеет к этому какое-нибудь отношение, и надеялся, что и ребе пришел к такому же выводу. Но, разумеется, я не способен проникнуть в эту тайну. Как может такой человек, как я, даже и пытаться разгадать ее?

В это же бурное время приехал купец из Южной Подольи, торговец перцем, он часто ездил по торговым делам в земли Султана. Купец рассказал, что как раз в тот день, когда мы вместе с ребе видели начало битвы под Мегиддо, Наполеон в Константинополе выпустил воззвание к евреям, живущим в странах, подвластных туркам и арабам, с призывом собраться под его знамена и освободить Иерусалим. Он уже вооружил многих сирийских евреев, и они сражались за него под Алеппо. Когда реб Нафтоли доложил об этом ребе, тот ответил: «Это неправда». Реб Нафтоли заверил его, что человек, принесший это известие, заслуживает полного доверия. Но ребе только повторял: «Это не может быть правдой». И закончил разговор.

Далее следует приписка, датируемая концом 1804 года:

В последующие годы ребе, как рассказывал Нафтоли, отказывался говорить о Бонапарте. Недавно Нафтоли был вынужден уехать, поскольку, помимо обязанности главы раввинского суда в Ропшице, ему пришлось взвалить на свои плечи после смерти отца еще и общину в Линске. Перед отъездом я с пристрастием расспрашивал его и он все время

утверждал, что ребе решительно отказывается говорить об этом человеке. Как я и предполагал, ребе не мог долго заниматься этим человеком свои мысли. (Эта приписка была впоследствии зачеркнута.)

Отец и сын

Я составляю эту хронику на основе устных и письменных преданий. Там, где в рассказе нет указания на время, когда произошло то или иное событие, я стараюсь его вычислить, сопоставляя различные факты. Но, слава Богу, еще есть люди, способные помочь мне, которые лучше знают обо всем этом. Я часто прибегал к их помощи. Однако все же иногда случается, что они сами ошибаются, а иногда просто невозможно установить время того или иного события. К ним относится то, о чем я расскажу сейчас. Потом я снова вступаю на твердую почву.

После праздника Суккот Еврей приехал в Козницы, чтобы провести там субботу, хоть и знал отлично, что его манера молиться, когда ему благоугодно, может разгневать Магида. Перед отъездом Еврей сказал Буниму: «Святой Магид — единственный, кто мог бы упрекнуть меня. Он готов к молитве всегда. Именно поэтому он, если захочет понять меня, поймет в совершенстве».

С недавних пор Магид не так нуждался в отдыхе, как раньше, лежал теперь гораздо меньше. Ему исполнилось шестьдесят. «Я чувствую, что старею, потому что начинаю лучше себя чувствовать», — говорил он. Магид принял гостя, взглянув на него сначала несколько недоверчиво, но постепенно его взгляд становился все теплее. «Он пришел не один, — сказал он позднее ребе Иегуде Лейбу (о котором я расскажу позднее), — по правую руку его шел Князь Торы, а по

левую — Пламя молитвы. Никогда прежде я не видел этих двух вместе».

В субботу утром Магид и его люди ждали Еврея, чтобы начать молитву, но он опоздал к назначенному часу. Тем, кто злился по этому поводу, Магид процитировал стих из «Песни Песней»: «Стан твой похож на пальму». Слово «пальма» звучит как «Тамар». Он считал, что имеется в виду не пальма, но имя свекрови Иуды, сына Иакова. «Если бы другая женщина вела себя дерзко, — объяснил он, — она заслуживала бы наказания. Но Тамар по сути своей всегда была устремлена к небесам, поэтому она ненаказуема. Но тот, кто не Тамар, не должен пытаться поступать, как она».

Во время третьей трапезы Яков Ицхак сидел рядом с Магидом, и тот обратился к нему с вопросом: «Святой Еврей, может быть, ты объяснишь мне, почему на второй день Суккот я чувствую святость и свет этого дня больше, чем в первый, и так бывает всегда во время празднования этого праздника странников? Это угнетает меня, потому что второй день празднуется только в изгнании». — «Именно поэтому, — ответил Еврей, не задумываясь. — Когда мужчина и женщина ссорятся, а потом мирятся, любовь между ними вспыхивает еще сильнее. А между Богом и Израилем так и нет до сих пор примирения».

«Ты воскресил меня», — сказал Магид и, прижав к себе голову Еврея, поцеловал его в лоб.

На следующий день они долго беседовали о многом, что произошло за последние шесть лет. Еврей ни на кого не жаловался и рассказал самое важное, что необходимо было знать Магиду. Наконец последний попросил рассказать о том, как вел себя Йуда Лейб, которого он знал хорошо по Лизенску и часто принимал его у себя. Только теперь стало заметно, что рассказ о нем причиняет Еврею огромную боль. Его сын Иерахмиль, который настоял на том, чтобы его отда-

ли в обучение часовщику, ехал однажды от своего учителя к отцу в Пшисху. По дороге он остановился в Закилкове, чтобы провести там субботу. Красивый стройный юноша произвел на всех приятное впечатление, и ему оказали честь, поручив читать недельную главу Торы, но когда Йуда Лейб узнал, чей он сын, то выгнал его из синагоги.

На следующий год, незадолго до Песах, Магид пригласил Еврея и ребе Йуду Лейба провести с ним субботу. Йуда Лейб взял с собой единственного сына Шмельке, которому было восемнадцать лет, но он все еще был не женат, оттого что был робок и застенчив, как девушка, и целиком погружен в мысли о Торе и служении Богу.

В пятницу вечером Еврей и закилковский ребе встретились за столом у Магида. Они даже не поздоровались друг с другом. Когда Магид подошел к столу, чтобы поблагодарить ангелов мира, собравших всех под одной крышей, он посмотрел на них, остановился и сказал: «Ангелов мира здесь нет, как же мне их приветствовать?» Повернулся и ушел к себе. Потом он вернулся и сказал: «Их все еще нет». И снова ушел. Когда он появился в третий раз, Еврей протянул руку Иегуде Лейбу и сказал: «Да будет мир с вами». — «Но только до конца субботы», — ответил тот.

Тогда и Магид смог произнести приветствие: «Да будет мир с вами, вестники мира, вестники Высочайшего!»

Во время третьей трапезы Еврей, как у него было в обычае, стал петь псалмы. Как всегда, они срывались с его губ с такой неподдельной свежестью, как будто его душа произносила впервые эти слова и изливалась в них целиком. Можно было сказать, что он говорил их, даже когда пел. Когда он дошел до стиха: «Не убойся худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа», — голос его стал таким звонким и проникновенным, что все глаза повернулись к нему. Магид смотрел на него с мягкой улыбкой, а лицо

юного Шмельке было все залито слезами. Но отец его не поднял глаз. Он вдруг, перегнувшись через стол, показал Еврею комбинацию из трех пальцев, поднес эту фигу к самому носу Яакова Ицхака и прорычал: «Вот тебе!» Глаза Магида расширились, а Шмельке, наоборот, закрыл их и задрожал всем телом. Еврей продолжал петь недогнувшим голосом: «Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих».

По этому поводу Еврей позднее вскользь обмолвился: «Кто сам привык показывать себе фигу, будет только доволен, когда весь мир покажет ему ее». Один из его и ребе Бунима учеников, гордый и всегда печальный ребе Менахем Мендель из Коцка, переиначил это так: «Кто привык сам себе показывать фигу, имеет право показать ее всему миру».

По дороге в Закилков Шмельке еле отвечал на вопросы своего отца, и дома продолжалось так же. В следующую субботу, во время третьей трапезы, ребе Йуда Лейб стал объяснять, что он думает о Еврее. Шмельке молчал. Но когда отец сказал, что Магид скоро поймет, что зря тратит свою благосклонность на такой недостойный объект, Шмельке не выдержал:

— Отец, святой Магид сам сказал мне, что видел по правую руку этого человека Князя Горы, а по другую — Пламя молитвы.

— Значит, ты защищаешь его? — спросил отец сердито.

— Я буду делать это до самой смерти, — отвечал Шмельке.

Йуда Лейб щелкнул пальцами.

— Горе моему сыну! — воскликнул он. И тут же увидел на его лице тень близкой гибели. В ту же ночь Йуда Лейб написал Хозе, умоляя его изменить этот приговор. Утром он послал сына с письмом в Люблин. Шмельке добрался до Люблина, лег на постель в гостинице и умер. Хозе говорил о нем, что, если бы ему суждено было жить, он стал бы вождем своего

поколения. Ребе Йуда Лейб приехал проводить Шмельке, на похоронах он был в субботних одеждах. Когда он вернулся в Закилков, жена вышла ему навстречу и спросила о сыне.

— Я послал его в великий дом учения, — ответил тот.

Рассказывают, что через несколько месяцев, во время Седера, священной пасхальной трапезы, он сказал своей жене, что, если она перестанет плакать, ее ждет большой сюрприз. Она обещала и внезапно увидела сына, сидящего с ними за столом. Она разразилась слезами.

— Больше ты никогда не увидишь его, — сказал ребе Йуда Лейб.

Я мало что могу добавить по поводу этой ученой и своеобразной личности. Тот же человек, который рассказал об этом случае во время пасхальной трапезы, раввин из Закилкова, рассказывал, что Йуда Лейб очень оплакивал Еврея, когда тот умер, и говорил своим хасидам, что все, что он говорил против него, было ему же на пользу. Если бы ему не было противодействия, то к нему стекались бы со всех сторон паломники, даже из стран Запада, и они сглазили бы его, утверждал он.

Вскоре после той субботы в Козницах Магид неожиданно, не уведомив заранее, явился ночью в Люблин. Всю ночь он говорил с ребе, а утром уехал домой. Прошло много лет, прежде чем они увиделись вновь. Друг обоих, ребе Менахем Мендель из Риманова, говаривал об этом: «Я — простой крестьянин и присматриваю за окнами двух королевских сыновей, чтобы они не разбили их камнями».

Посетитель

— Неужто вы будете меня учить, как варить лапшу? — кричала Шендель своей свекрови, маленькой деликатной женщине, от которой ее сын унаследовал только порывистость в

движениях. Несколькими годами раньше, после смерти своего мужа, она переехала к сыну по его настоятельной просьбе, — он обожал мать.

— Лапша! Во всей этой Апте никто не умеет ее варить так, как моя мама! Что вы хотите сказать: вот столько муки, столько яиц? Разве это имеет значение? Сноровка — вот что имеет значение. Если она есть, то все получится! — Шендель прихлопнула маленькими пухлыми ручками и с удовлетворением на них посмотрела.

Дверь открылась, и вошел Иекутиль. Он обратился к ней с явно надуманным вопросом, чтобы оправдать свой приход. Он чувствовал себя просто обязанным заглянуть во все комнаты. Уже четыре месяца Иекутиль жил в Пшисхе. Он сразу же стал, если так можно выразиться, обходить все помещение. Он делал это с настойчивостью и ловкостью, которых никто не мог бы заподозрить в этом простодушном человеке. Мне хотелось бы объяснить, каков был характер его знаменитого простодушия.

Он и в самом деле, несомненно, был простодушен, но, кроме того, он был хитер. Его хитрость знала о его простоте, а его простодушие не знало о хитрости. Как если бы у человека один глаз смотрел прямо, а другой вбок, и этот косой глаз мог видеть здоровый, но не наоборот. Окружающие не замечали этого скошенного глаза. Им Иекутиль казался совершенным простачком. Нужно напомнить, что во время совета врагов Еврея именно он сказал об опасности, которая может наступить «через сто двадцать лет». Нафтоли не мог себе представить, как хитрый Иекутиль использовал преимущество простодушия. Айзик вел себя иначе. Он был слишком самовлюбленным, чтобы притворяться глупцом. И он не мог бы сравниться в этом с Иекутилем, потому что последний и не притворялся.

Когда Айзик вернулся в Люблин и доложил, как Еврей чуть не задушил его нехорошим взглядом, Иекутиль весь

превратился в слух. Вот, наконец, настоящее дело для простака, подумал он. Но он не сразу смог уехать в Пшисху. Сначала он с радостью согласился на просьбу Айзика рассказать ребе о поведении Еврея и его приближенных — обязанность, от которой сам Айзик почему-то решил уклониться. Однако он неожиданно натолкнулся на отпор. Это случилось вскоре после ночного разговора Магида и Хозе, когда Магид неожиданно уехал. Предположение, что ребе поверит всему, что говорит простой и немудреный человек, не оправдалось.

— Как я могу принять за истину то, что ты говоришь, — сказал ребе, выслушав подробнейший отчет, — если ты сам не видел этого и не слышал?

Потрясенный неудачей, Иекутиль решил ехать в Пшисху, имея замысел, о котором не сообщил никому. Его тем легче было исполнить, что его брат Перец уже много лет был учеником Еврея и постоянно жил в этом городке. Он представлял, как легко будет обмануть брата, внушив ему, что он, Иекутиль, полон раскаяния и стремления приобщиться к духовному богатству Пшисхи. Таким образом путь будет открыт. Трудно предположить, что доверчивый Перец усомнится в словах своего брата. Вторым шагом было появиться перед Евреем в обществе брата и убедить того в своей искренности. Но в действительности случилось то, что показалось Иекутилю странным и неприятным. Он ожидал одной из двух реакций. Либо (и это он считал наиболее вероятным) Еврей поверит ему, ибо этот тщеславный парень сочтет совершенно естественным, что люблинский ученик поддался его влиянию и приехал в Пшисху, либо он готов был столкнуться с недоверием, которое можно будет постепенно преодолеть силой своего простодушия. Ни одно из этих предположений не сбылось. Когда они явились к Еврею, тот встретил Перца открытой улыбкой. Потом, не выражая доверия или недоверия, он ответил на приветствие Иекутиля просто и

спокойно. С полной искренностью (потому что его простота сама была обманута его хитростью) гость объяснил, что совершил ошибку, жалеет о ней и желает учиться здесь. Еврей ответил только на последние его слова: «Ты не сможешь ничему научиться у нас, ребе Иекутиль». Тот думал, что все потеряно, но неожиданно Еврей добавил: «Не нужно говорить, что ты можешь остаться, если хочешь». Иекутиль испытал в эту минуту то же чувство, что Голделе, теща Еврея, много лет назад. Не знаешь, чего ждать от этого человека. И все же Иекутиль был уверен, что так или иначе, но преуспеет.

И вот он уже семнадцать недель здесь, а еще ничего стоящего не сделал. Он шпионил и подслушивал, но ничего интересного не вынюхал. Тот, за кем он охотился, был всегда настороже. Он боялся выдать себя, как Айзик. Как вспомнишь ту селедку! Он отчаялся, но решил остаться еще на субботу. По случаю праздника приедут хасиды из всех местечек, ребе Довид из Лелова, ребе Ишайя из Пшедбожа, родного города Еврея, и многие другие. Если хорошенько все высмотреть, может, удастся узнать что-нибудь тщательно скрываемое.

Во время третьей трапезы было немало важных городских персон. Как и всегда по субботам, это время формально было не часом учения, но непринужденной беседы о Законе и жизни. За трапезой Еврей повернулся к отцам города и воскликнул:

— Добрые люди, если каждого из вас спросить, почему он мучается здесь на земле, тот ответит: «Чтобы воспитать сына, изучающего Тору и служащего Богу». А когда сын вырастает, он забывает, как страдал и трудился ради него отец, и сам в свою очередь начинает страдать и трудиться ради своего сына. Если вы спросите его, для чего он надрывается, он скажет: «Ясное дело — ради сына, чтобы он читал Тору и делал добрые дела». Так происходит из поколения в поколение. Когда же, спрашиваю я вас, мы увидим этого настоящего сына?

Довид из Лелова наклонился к Буниму, сидящему рядом, и прошептал: «Если бы ребе слышал это, он перестал бы верить клеветникам». Однако известно, что уши таких людей, как Иекутиль, слышат то, что и не было произнесено. Очень удовлетворенный, на следующий день он вернулся в Люблин. Вечером он уже докладывал ребе, что Довид сказал, что, мол, если бы ребе слышал слова Еврея, то он сам стал бы одним из хасидов Еврея. Случилось так, что в это же время ребе пригласил меламеда из соседней деревни прийти к нему. Этот человек хотел было уже войти, как ворвался воодушевленный Иекутиль и распахнул дверь. Бедняк тоже вошел. Но он был так испуган своей храбростью, что в смятении спрятался за шкафом. Тут пришел и ребе. Но когда меламед услышал донос Иекутиля, он не мог сдержаться, выскочил из своего укрытия, положил руку на тфиллин, оставленные ребе на столе, и крикнул: «Я клянусь, что все это злонамеренная ложь!» Иекутиль пытался вывернуться, притворяясь простачком, неспособным на ложь, но ребе спросил меламеда, который все еще держал руку на тфиллин:

— Ты знаешь этих людей, о которых шла речь?

— Нет, я не знаю их, и этого человека я тоже не знаю, — отвечал тот.

Тогда удивленный ребе спросил его не без добродушия:

— В таком случае, как же ты смел клясться?

— Я видел и слышал, что он лжет, — ответил меламед.

— Тот, кто не знает человека, видит и слышит его непредвзято, — сказал ребе. — Если бы ты был там, я поверил бы ему. Не напрасно Сатана охранял его целых двадцать восемь лет от всякого греха, нельзя было не поверить такому человеку.

Через несколько недель после этого Шендель стояла в своей комнате, а маленький Ашер сидел у ее ног, раскрыв книгу. В состоянии обычного раздражения она полировала

ногти. Она полировала их даже тогда, когда они блестели, как зеркало. Вдруг дверь с улицы открылась, и властно вошел могучий, огромный человек. Его мощный лоб выпирал из-под меховой шапки. Широкое красное лицо и длинная седая борода резко оттеняли густые черные брови. Шендель сразу узнала ребе. Нож выпал из ее рук и упал на книгу. Ребе нагнулся, поднял его и положил на стол.

— Что это там у тебя? — спросил он шестилетнего мальчика, который взглянул на него, только когда рука Хозе прикоснулась к книге, и вскочил на ноги.

— Это пророк Исая, ребе, — ответил Ашер.

— Прочти мне что-нибудь, открой наугад, — сказал ребе.

Ясным, ровным голосом мальчик прочитал то, что стояло в начале страницы:

— «Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания».

— Хорошо, — сказал ребе, — ты прочитал очень хорошо.

Только теперь ребе присел на стул, принесенный для него.

— А что ты учишь сейчас в Талмуде? — спросил он.

— Мы учим трактат Йома, ребе, — ответил мальчик.

— О чем там говорится?

— Там говорится о предписаниях ко дню Покаяния.

— Какую главу вы проходите сейчас?

— Девятую.

— Тебе запомнилось что-нибудь? — спросил ребе.

— Да, запомнилось, ребе.

— Что же?

— Второй храм был разрушен, несмотря на то, что Израиль исполнял Заветы, учил Тору и совершал добрые дела. Почему? Потому что в людях была беспричинная ненависть. Поэтому нас учат, что беспричинная ненависть приравнивается к трем самым страшным грехам — идолопоклонству, непотребству и пролитию крови.

— Молодец, хорошо выучил, — сказал ребе. — А почему именно это место важно знать наизусть?

— Первый храм был разрушен из-за трех великих грехов. Во времена второго храма их уже не было. Зато возникла беспричинная ненависть, которой не было во время первого храма. И она оказалась настолько сильной, что произвела такое же действие, как те три.

Ребе надел очки и пристально посмотрел на ребенка.

Он остался на субботу — и внимательно ко всему пригляделся: к дому и мебели, к людям, которые жили в нем, и к тем, кто посещал его, и к тем, кого встречал на улице и в синагоге. Во время субботы приходило больше людей, чем обычно, и ребе расспрашивал о них Еврея. На следующий день он вернулся домой.

Через несколько недель в Пшисху приехал человек, побывавший до этого в Люблине. Он пришел к ребе и хотел передать ему молитвенную записку, сказав при этом, что обращался к люблинскому ребе, но тот послал его сюда. Еврей отказался принять записку. Но этот человек вскоре снова вернулся и передал, что ребе просит его немедленно принять ее. Тогда Еврей взял ее. На ней было написано: «Ради исцеления души». Еврей завязал с просителем разговор, не касающийся никакого определенного предмета, но который должен был дать понять ему, что в мире есть люди, которым он может доверять. И действительно, скоро проситель раскрыл свою душу.

— Я ненавижу своего сына, — сказал он, — и это отравляет мою душу.

Еврей сразу понял, что ни совет, ни поучения в данном случае не помогут. Чтобы исцелить душу этого человека, надо было взять на себя целиком ответственность за него, как если бы он взвалил его себе на плечи и нес, до тех пор пока он не найдет свой путь. Точней сказать, нужно было взять на себя всю его ненависть и не заразиться ею. Нужно было преоб-

разовать эту ненависть, а как это сделать, не приняв ее вначале в себя? Это было опасное предприятие. И внезапно к нему пришло, как озарение, что ребе учил его этому — и кто бы другой мог научить? — тому, чего он и искал: правильному поведению перед лицом зла. Взвалить его на свои плечи и нести — это правильно.

В следующую субботу за третьей трапезой он толковал слова Бога, переданные Исайей: «Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерней и до старости вашей, Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас».

«Бог — наш прообраз», — сказал он.

Так возникла школа Пшисхи.

Дверная ручка

Циля, жена ребе, лежала при смерти.

Много дней все думали, что это может случиться в любой момент, так хрупка она была, так тиха. Но когда это случилось, никто не мог поверить в реальность происходящего, это казалось непостижимым. Все в доме ходили с напряженными лицами, будто стараясь разгадать тайну, повисшую в воздухе, а когда встречались, поднимали друг на друга растерянные глаза. Лицо ребе странно исказилось, как всегда, когда дело касалось непостижимого.

Среди хасидов преобладали два мнения. Одни говорили, что ребе давно предвидел дату ее смерти и даже написал об этом в записке, как он обычно делал, предсказывая будущие события. Говорили, что после его смерти предсказание нашли в его бумагах. Другие говорили, что это правда, но предсказанное время еще не наступило, и это означает, что жена

ребе выживет или что вмешалась злая сила, которая ускорила ее кончину.

А Циля лежала в это время на смертном одре, чуждая уже всему, что происходило в этом мире, и изредка что-то невнятно бормотала. Только ее сын Израиль, который, как обычно, стоял у окна, понимал, что ее бормотание уже не принадлежит этому времени, что она живет сейчас в своем детстве и юности и говорит с теми, кого уже нет. Она села на кровати и стала двигать руками по затылку, как бы глядя длинные волосы, которые были у нее до свадьбы и которые, по обычаю, перед свадьбой подстригают. Потом она опять легла и вытянулась. Потом жалобным, изменившимся голосом она опять заговорила связно. И опять никто, кроме Израиля, не понял, что она вспоминает свою свадьбу, каждую мелочь. Она шевелила ногами, будто шла. Потом остановилась. Сейчас, подумал Израиль, она вступит в дом мужа. Она вытянула вперед руку, будто прикасаясь к чему-то. Но тут же с криком ее отдернула.

— Она раскаленная, — воскликнула она, — она горит. — Закричав, она подняла голову, но тут же снова уронила ее на подушку.

— Это конец, — сказал Израиль себе. — Конец должен быть таким.

Ребе отказался принимать соболезнования. Кивком головы он прогонял всех, кто пытался утешить его. Никто уже и не пытался. В это время в Люблине случилось быть его старому другу. Он пришел к ребе и спросил, почему он не принимает утешений.

— Как я могу быть утешен, — сказал ребе, — если в Талмуде сказано, что тот, кто теряет свою первую жену, приравнен к тому, кто жил во время разрушения Храма.

— Однажды, — ответил друг, — я слышал иное толкование этого места из ваших уст: «Всякий, при чьей жизни Храм

не отстроится, приравнен к тому, при чьей жизни он был разрушен». И дальше вы еще говорили: «Даже в те дни гнев Божий, направленный против людей, удовольствовался разрушением Святилища из дерева и железа, так же божественный гнев успокаивается, когда человек так сильно страдает оттого, что Храм не отстроен при его жизни, будто он живет в дни разрушения». Теперь вы — верный пастырь всего Израиля. И вот, страдая, вы понесли кару, которая могла бы излиться на народ. Вы смягчили силу Божьего суда.

— Ты утешил меня, — сказал ребе.

Среди тех, кто приезжал в эти дни в Люблин, чтобы сказать слова соболезнования, был и Еврей. С тех пор как он встал во главе своей школы, он стал чаще приезжать к ребе, чем прежде. Чтобы понятней стало, как произошла их встреча, надо кое-что добавить. С того случая, когда Айзик отвел селетки, распространился слух, что Еврей обладает дурным глазом. Более того, когда неизвестный меламед разоблачил Искутиля и после этого снова растворился в прежней безвестности, пошли слухи, что это Еврей силой все той же черной магии посадил его за шкаф. Но раз он обладал такой магической силой, как и от кого он научился ей? И на это у них был ответ.

Вы должны знать, что среди учеников Хозе был один, по имени Итамар, отличавшийся необыкновенной добротой. В молодые годы он был знаменитым купцом и разбогател. Но так как он раздавал почти все бедным, его богатство скоро пошло на убыль. Тогда он продал все, чтобы на вырученные деньги помогать бедным справлять субботу. Вот этому человеку ребе однажды доверил секрет, как побеждать всех врагов. Но Итамар по своей чрезмерной доброте поделился им с Евреем. И вот как последний воспользовался этой тайной.

Нужно еще присовокупить, что ребе, как известно из достоверных свидетельств, крепко верил в силу дурного глаза,

причем им, по его убеждению, могли обладать не только люди, но и ангелы. Поэтому во время трапез, где предполагалась возможность сглаза, он приказывал кому-нибудь шепотом произносить заклинание против злых духов. Это объясняет, почему он всегда был склонен верить рассказам о магических способностях Еврея. Многим будет, конечно, непонятно, как человек такого могучего ума мог верить в подобные вещи, но мое дело не разъяснять, а рассказывать.

И вот когда Еврей пришел к ребе во время семидневного траура, чтобы сказать ему слова утешения, ребе вдруг сказал:

— Она говорила против тебя.

— Да, я знаю кое-что об этом.

— Что же ты сделал, когда узнал о ее болезни?

— Ничего.

— А все-таки?

— Я читал псалмы.

— И это ты называешь «ничего»?

— А что я должен был делать?

— Ты злился на нее, — сказал ребе, — из-за этого может приподняться ее сосуд на весах.

— Разве я способен на такое? — спросил Еврей.

Ребе взглянул в его глаза пронизывающим испытующим взглядом, более острым, чем тогда, когда он приказал ему уйти. Посмотрел в глаза, а потом в сердце и, отвернувшись и слегка наклонив голову, пробормотал в бороду: «Поистине в его сердце злора не живет».

Вскоре после этого ребе написал своему близкому другу, влиятельному человеку из Лемберга, который никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись с ребе. Ребе сообщал ему, что намерен жениться на его сестре, девушке, по имени Бейля. Вскоре он послал ропшницкого Нафтоли и Шимона Немца в Броды, где Бейля жила с двумя сестрами и братом. Он приказал им, как только они войдут в

дом, сразу пройти в кухню. Там они найдут трех девушек. Они должны просить ту, которая будет стоять в середине, стать его женой, потому что такова воля Божья. Так и произошло.

С этой помолвкой связан анекдот, на котором, по моему мнению, стоит печать измышления противников хасидизма. Достаточно странно, что он сохранен в хасидских документах как рассказ, заслуживающий доверия. Поэтому я с некоторой долей осторожности передам его здесь. Упомянутая девушка была крепкого здоровья и под стать ребе, хоть и не первой уже молодости. Муж ее сестры всем искателям ее руки, даже выгодным женихам, отказывал по совету ребе, который всякий раз говорил, что этот человек не для нее. В последний раз, когда предложение сделал очень богатый и красивый жених, девушка выразила некоторое недовольство, но ребе сказал, что она предназначена более великому человеку. Это случилось незадолго до смерти Цили.

Во время помолвки ребе однажды донесли, что видели Бейлю в Лемберге, одетую не по-нашему, а по западной моде, и в очень веселой компании. Ребе подошел к окну, протер его в середине и некоторое время вглядывался вдаль. Он подробно описал наряд девушки в этот миг и заметил: «В этом я ничего не понимаю».

Когда Бейля впервые переступила порог дома на Широкой улице и притронулась к ручке двери, она вдруг отдернула руку и стала трясти пальцами. «Дверная ручка раскалена», — жаловалась она. Кто-то другой открыл перед ней двери.

Позже она обсуждала этот случай с Рохеле, которая хоть и вышла замуж, но продолжала вести хозяйство в доме и вводила новую жену в курс всех дел. Обе согласились, что здесь имело место колдовство и что оно исходило от подозрительного человека из Пшисхи, который был среди гостей на свадьбе. Он был известен как Еврей, потому что у них с

ребе были одинаковые имена и к нему нельзя было обращаться по имени, чтобы не называть его так же.

Бейля выслушала это, ее полуоткрытые губы злобно искривились, но по лицу пробежала легкая тень удовлетворенного тщеславия.

С этого времени обвинения в адрес Еврея усилились. Бейля умела выслушивать нужных людей и передавать полученные сведения в нужном свете и соответствующем тоне.

Дитя

Прошел год после свадьбы, но не было никаких признаков того, что Бог благословил их детьми. Бейли со слезами просила мужа помолиться об этом. Но тот ответил: «О детях человек может молиться, только если у него их нет». Видя, что ее мольбы напрасны, она поехала к брату в Броды и попросила его уговорить ребе. Брат приехал в Люблин и привез бутылку благородного старого вина, чтобы наполнить им субботний кубок в вечер пятницы. Странно, но когда ребе увидел запечатанную бутылку, он отказался использовать ее для священного таинства. И действительно, открыв бутылку, хасиды увидели, что там не вино, а белый мед. Решили, что слуга перепутал бутылку. Но это не было хорошим предзнаменованием для брата Бейли. Тем не менее он подошел к ребе в конце субботы. Тот понял, что у него какое-то дело, и спросил, чего он хочет.

— Моя просьба, — сказал этот человек, — помогите мне узнать, кто я таков.

— Я могу сказать тебе, кто ты, — ответил ребе, — ты благочестивый и ученый человек.

— Я имел в виду другое, — сказал шурин, — я хочу увидеть себя своими же глазами. Как я могу это сделать? Только если Бейля родит от ребе сына. Мудрецы говорят,

что сыновья часто очень похожи на брата матери. Если Бог будет ко мне милостив, я увижу в этом ребенке, в его речи и повадках самого себя.

Ребе был тронут его мольбой и открыл ему, что единственный, кто может им помочь, это Магид из Козниц. Они поехали к нему. Магид выслушал их, а потом попросил брата удалиться. Он разговаривал с Бейлей наедине и посоветовал ей, чтобы она в пятничную ночь во время молитв подошла к ребе сзади и потянула бы за малый талит. А когда он обернется, она должна сказать: «Я хочу родить вам сына». Женщина поблагодарила его и хотела уже уйти. Но он остановил ее и сказал: «Это подействует только в том случае, если вы оба в мире со всем миром».

Бейля спросила его, что он имеет в виду.

«Нет ли кого-нибудь, — спросил он, — к кому вы несправедливы? — Она молчала. — Есть ли кто-нибудь, о ком вы говорите злое?»

Она была вынуждена признать, что иногда говорила словечко-другое против Еврея, но святой Магид должен понимать, что она только передавала то, что слышала от доверенных людей, в частности о том, что во время свадьбы он ее сглазил и дверная ручка показалась ей раскаленной, так что она даже руку обожгла. «Глупая женщина! — воскликнул Магид, — если ты выходишь замуж за люблинского ребе, ты должна ожидать, что при входе в дом дверь покажется тебе горящей. А что касается твоих доверенных людей, то они просто клеветники. Если ты не пообещаешь Еврею, что больше не будешь верить наговорам, не видать тебе ребенка».

Ничего не оставалось Бейле, как в ближайший приезд Еврея выполнить предписанное. Она подошла к нему и тихим голосом попросила простить ее. Еврей смотрел на нее с недоумением.

— Я не могу тебя простить, я не знаю, в чем ты провинилась.

— Я больше не буду говорить о вас, — прошептала она, — ничего плохого и не поверю, если другие скажут.

— Это похвальное намерение, — сказал он, через силу улыбнувшись.

— Значит, мир, — спросила она, — между мной и вами?

— Насколько это от меня зависит, — отвечал он, — я в мире со всеми. — И он опять улыбнулся.

Это было в пятницу вечером. Она выполнила и другой совет Магида. Через несколько недель она поняла, что носит во чреве ребенка.

На обрезание приехал Магид, и его удостоили чести быть восприемником младенца. Ребе спросил его, какое имя лучше дать младенцу. «Шалом» (что значит «мир»), — ответил Магид. Так его и называли. Потом они оба отошли в сторону. «Я вижу, что ребенок не будет долго жить», — сказал ребе. Магид вспыхнул и посмотрел на него с упреком. Но сказал только: «В часы радости надо радоваться».

С тех пор Бейля с младенцем часто сидела напротив ребе. Когда хасиды приходили попрощаться, они видели: если младенец смеется, то, значит, с ними милость Господня. А если он плакал, то был знак, что нет милости.

Кубок

С некоторого времени Нафтоли был главой раввинского суда в Ропшиице. Несмотря на это, он проводил много времени в Люблине. После смерти его отца, знаменитого Линского раввина, этот город тоже просил его стать во главе общины. После долгих переговоров Нафтоли согласился. С тех пор он мог лишь изредка приезжать в Люблин.

На прощание он сказал друзьям, что перед отъездом в этот раз намерен выпить вина из кубка, в котором ребе по

пятницам приготавливал киддуш и из которого никому никогда не было позволено пить.

Вскоре, и тоже в пятницу, в Люблин явился крестьянин с мешком лука, намереваясь сбыть его ребе для субботней трапезы. В это время на рынке лук почему-то исчез. Нафтоли подстерег этого человека и купил у него весь лук. Потом он спросил, откуда у него кафтан. Тот ответил, что кафтан, как полагается, соткан из чистой шерсти и не противоречит запрету на ношение одежды, сшитой из разных материй. И кроме того, он еврейского производства. Тогда Нафтоли купил у него и кафтан, и шляпу. Потом он, переодетый в крестьянское платье, загримировал лицо и явился в дом ребе с мешком луку. Он сказал на польском языке, что хочет говорить с ребе. Да, у него есть лук на продажу, но он продаст его только лично самому ребе. Ради субботней трапезы ребе был вынужден принять его. Тот вошел в комнату и огляделся, будто был тут в первый раз. За лук он просил только полцены, с условием, чтобы ему дали большой стакан водки, чтобы утолить его страшную жажду. Все стаканы и кубки казались ему малы. Наконец он указал на чашу для киддуша и сказал: «Вот эта подойдет». А если ему не дадут из нее выпить, он унесет лук домой. Он поднял мешок и перекинул его через плечо. Ради святости субботы ребе все же согласился дать ему кубок. Быстро, но громко Нафтоли произнес благословение: «Чьим словом все вещи пришли к существованию», — и выпил. Ребе открыл рот. Ничего не оставалось ему, как засмеяться.

Козницы в 1805 году

Недалеко от Козниц по дороге в Люблин находятся Пулавы, это городишко и одновременно поместье, наследственное гнездо князей Чарторыйских. Их замок был центром этого городка, и почти каждый дом в нем был связан так или

иначе с замком. Не нужно говорить, что и каждый еврей, будь то арендатор, или маклер, или посыльный, был заинтересован в процветании княжеской усадьбы. Чарторыйские, отпрыски рода Ягелонов, много потрудились для реформирования польского государства и стремились к тому, чтобы их народ стал подлинно европейским. Они не были особенно популярны. Если кому-то удавалось подружиться с одним из них, вся семья радушно принимала его. В 1787 году семнадцатилетний князь Адам вернулся из Германии, где удостоился чести слышать гетевскую «Ифигению» в небольшом кружке слушателей. На обратном пути он заехал на карнавал в какой-то город, и на пути домой ему пришла в голову странная, но вполне карнавальная мысль. У себя дома он часто слышал от слуг, что неподалеку от них живет чудотворец, раввин из Козниц, к которому часто ездят не только крестьяне, но и дворяне, чтобы получить советы и указания во всех мелких и крупных делах. Его мучила мысль о романе, который он завел во время карнавала отчасти для забавы, отчасти чувствуя, что в нем разгорается страсть. Молодой князь хотел знать, чем кончится его увлечение. Повинуясь этому порыву, он оставил свою карету недалеко от Козниц, а сам, переодевшись крестьянином, пошел пешком. Он пришел прямо в дом ребе, который, как ему сказали, только что вернулся из поездки. (Это было, когда ребе Элимелех был при смерти.) Габай спросил его имя, он ответил, что его зовут Войтек, что он — сын женщины, по имени Стася, и что его привело желание «излечиться от сердечной болезни». Его впустили. Магид сидел один в маленькой комнате. Перед ним на столе лежали талит и тфиллин. Увидев его тщедушную фигурку с бледным лицом, Адам сразу раскаялся и пожалел о своем легкомысленном намерении. Но было уже поздно. Магид отпустил габая и сразу обратился к мнимому Войтеку. «Сядь напротив», — сказал он на чистом польском языке. Адам сел и

почувствовал, что его руки почему-то дрожат. Магид посмотрел ему в глаза. Адам попытался выдержать этот взгляд. Но не смог и сразу же опустил глаза.

— Адам, сын Изабеллы, — сказал Магид (и действительно его мать была из рода Флеминг и звали ее Изабелла. Она была знаменита красотой своих прекрасных глаз). — Адам, сын Изабеллы, быть клоуном не твой удел, уклоняйся от этого.

Адам почувствовал, как кровь прихлынула к его щекам.

— Попытайся вспомнить, князь, — сказал Магид, — что на самом деле тебе угодно знать.

Адам почувствовал, что его страсть, только что пылавшая в сердце, обратилась в пепел. В его голове воцарилась мысль о разделе его несчастной страны. Он осмелился поднять глаза на Магида, который дружески и приветливо смотрел на него.

— Сейчас ты думаешь о том, что действительно важно для тебя? — спросил Магид.

— Да, почтенный раввин, я сейчас думаю об этом, — ответил Адам.

— Постарайся сосредоточиться на этой мысли целиком, — сказал ребе.

Несколько секунд в комнате царило полное молчание. «Возможно ли это, — все же отвлекся князь, — что я сижу перед этим маленьким евреем, как будто он дельфийская Пифия?» Но тут же другая мысль сменила эту. «А как это было в истории с лысым Елисеем, о котором в Библии сказано: «И когда гуслист играл на гусях, тогда рука Господня коснулась Елисея». Не только бродячий музыкант может быть орудием Божьим». И опять Магид начал говорить, не глядя на него.

— Явится скоро тот, — сказал Магид, — кто хочет захватить всю власть под этими небесами. Он свистнет всем

народам, чтобы они пришли и воздвигли ему трон. Он кликнет и вас. Он будет уверять вас, что хочет помочь вашему народу. Но не верьте ему! Он не думает о вас. Он думает только о своем возвышении. В конце концов трон его рухнет, этот человек будет низвергнут и изгнан, — Магид замолчал.

— А что будет с нами? — спросил князь.

Магид колебался, прежде чем ответить. Потом он сказал:

— Больше я ничего не знаю. В нужное время вы придете ко мне опять и спросите. Возможно, тогда я буду знать больше. — Он опять замолчал, но видно было, что он хочет сказать что-то еще. Наконец он заговорил с большим волнением. — Написано: «Не полагайся на обещающих много».

Он переиначил стих — в подлиннике сказано: «Не полагайся на князей», — почти пропев эти слова псалмопевца Адам Чарторыйский понял, что никогда не забудет этих слов. Он поклонился и ушел.

Осенью 1805 года царь Александр гостил у Адама Чарторыйского, которого он к тому времени сделал своим ближайшим другом, советчиком и помощником в преобразовании своей страны и во всех своих далеко идущих планах. Адам и другие знатные поляки, которые собрались в его замке, с нетерпением ожидали, что царь вот-вот провозгласит восстановление Польского королевства, встанет во главе его и тем подаст сигнал к началу освободительной войны с Пруссией. Несмотря на мольбы Чарторыйского, царь все откладывал решение. Внезапно он уехал, взяв с собой князя, но обещал вернуться. Его первая остановка была в Козницеях. Здесь он принял эмиссаров от короля Прусского и отправил ему в свою очередь письмо, в котором изложил жалобы польского дворянства и прибавил к этому, что близко к сердцу принимает их страдания.

Это было в субботу, за три дня до праздника Суккот. Пока царь беседовал с прусским генералом, Адам решил

навестить Магида, попросив у него на это разрешение. Он впервые увидел его снова — прошло восемнадцать лет с тех пор, как они виделись. Адаму показалось, что Магид почти не изменился, только поседел. «А я, во что я превратился?» — подумал он про себя. Только его высокий лоб, хоть изборожденный морщинами, все же сохранял юношескую чистоту. Разочарование оставило свои следы на его лице.

Магид лежал на диване. Отвечая на приветствие князя, он попытался приподняться, но князь почти умоляюще попросил не делать этого.

— Я ожидал, что вы придете, Ваше Высокопревосходительство, — сказал Магид.

— Настало время моего вопроса, — сказал князь, — но я сам не могу определить точно, что я хочу спросить, тем более что и не имею права выразиться яснее.

— Не нужно слов, Ваше Высокопревосходительство, — согласился Магид.

— Не надо звать меня Превосходительством, — попросил Чарторыйский, — зовите просто Адам или князь Адам.

— Я знаю, князь Адам, — сказал Магид, — что является самой сильной любовью вашей жизни. Но вы не можете сказать о своей любви с той прямоотой, которая желательна. Иаков любил Рахиль великой любовью и работал за нее семь лет, но ему дали Лею. Конечно, он знал, что ему нужно работать еще семь лет, чтобы получить свою истинную любовь в жены. Вы, князь, сознательно работали ради Леи, потому что верили, что потом вы получите Рахиль. Но и теперь обещанное вам не дали, и вы спрашиваете, куда ведет этот путь. — Он помолчал. — Этот путь ведет через шипы и тернии, князь Адам, — продолжал он, — и невозможно сказать, когда вы достигнете цели. Не полагайтесь на тех, кто много вам обещает, они похоронят вас под своими мечтаниями. Перестаньте трудиться ради Лии, скоро вы сами поймете,

что это напрасно, и объявите об этом. Ближко время — придет человек, и он захочет владеть всем под солнцем, он пообещает вам дать Рахиль. Но это не в его власти и не во власти тех, кто разделяет те же иллюзии. Все, что он воздвигнет, падет вместе с ним. Думаю, вы догадались, о ком речь. Говоря по правде, люди, которые разделят Польшу меж собой, не властны над нею. Над ней властен только Бог и ее народ.

— Ее народ? — воскликнул князь. — Этот измученный, разорванный на части народ?

— Никакой земной властитель, — сказал Магид, — не может иметь власти над душой народа, если только народ не решится сам дать эту власть. Только власть над душой имеет значение. Вот по этой причине Исаяя предупредил колена Иуды не заключать союза с Ассирией против Египта или с Египтом против Ассирии.

— Но как, — спросил князь, — может мой народ, поделенный между тремя властителями, отвоевать свою свободу, не договорившись с кем-то еще? Другие меры были испробованы, все они провалились и были обречены провалиться.

Магид ответил:

— Господь ведет людей от рабства к свободе, когда они решаются служить не земному владыке, а Ему самому. Все остальное, что называют свободой, иллюзорно, обманчиво. Люди, которые понимают, что ничто не должно стоять между ними и властью Бога, как это бывает во время молитвы, только такие люди способны установить Завет, чтобы исполнить Его волю и установить Царство Божие на земле.

— Но, почтенный ребе, — сказал князь, — как целый народ может служить Богу?

— Никто не может целиком служить Богу, — ответил Магид, — только народ может. Каждый человек только приносит камень для постройки. Только народ в целом может построить Царство справедливости. Вот что имел в виду Исаяя,

когда просил людей не связывать свою судьбу с сильными и несправедливыми, но самим строить праведный мир на земле.

— Но как угнетенный народ, неспособный строить свою жизнь, может воздвигнуть царство справедливости?

— Каждый человек, живущий среди людей, будь он даже раб, имеет выбор, поступать ему справедливо по отношению к другим или нет. Угнетенный народ может быть справедливым по отношению к самому себе, но не по отношению к соседям. Сколько справедливости вы сможете проявить, зависит от вас и Бога. Ни больше ни меньше.

— Ах, почтенный ребе, — воскликнул князь, — мы сами пожираем друг друга. Мы разорваны, разбиты на атомы, как мы можем жить по справедливости? Трудно привить справедливость там, где каждая группа преследует свой интерес. Сколько противоречивых интересов! Я не осуждаю тех, кто придерживается других взглядов, чем я. Нет, мы тоже виноваты во многом. Но при существующем запутанном положении — что нам делать и с чего начать? Как из этого запутанного клубка вытащить нужную нить? Как прекратить эту вражду всех против всех? Конечно, нужно гарантировать некоторые права, но как это изменит ситуацию в целом?

Улыбка скользнула по лицу Магида. Князь заметил ее и внезапно понял то, чего не мог понять до этого. Он подумал про себя: «Если святые люди этого народа сохранили до сегодняшнего дня способность улыбаться, значит, Израиль — это реальность, значит, Бог на самом деле чего-то хочет от них и через них...» У него сжалось сердце, он хотел бы вернуть сказанные слова. Но Магид уже начал отвечать на них:

— Мы, во всяком случае, не требуем того, что мир называет правами. Все, что нам нужно, это право устраивать свою жизнь, как нам Бог велит. Давно, очень давно Господь рассеял нас по лицу земли, потому что мы не сумели выполнить нашу земную задачу. С тех пор Он очищает нас в огне стра-

дания. Да, вас разделили на части ваши враги. Но вы сохранили право жить вместе. Вы начинаете понимать, что жизнь народа связана с тайной страдания, а она, в свою очередь, мистически соотносится с приходом Мессии. В глубине страдания возникает поворот к добру, а вместе с ним и стремление к искуплению. Этот поворот — путь к праведности, и он закончится всеобщим искуплением. Вы говорите, князь Адам, что не знаете, за какую нить нужно потянуть. Вы и не узнаете этого, пока желаете распутать весь клубок. Начало, и только начало, дано человекам. Но оно подлинно дано им. Только начните — и вы увидите, как все начнет распутываться, как потянутся все нити. Вы должны схватить единственно нужную, и Бог даст, вам это удастся. Другие начнут помогать вам, а там, глядишь, случится то, чему суждено случиться.

Голова Магида совсем утонула в подушках. Глаза его закрылись. Он не сразу открыл их снова и с некоторым удивлением посмотрел на своего гостя. Адам приблизился к нему и поклонился.

— Благословите меня, святой раввин, — попросил он.

Магид наклонился над ним.

— Бог да благословит тебя, Адам, сын Изабеллы, на твоём долгом и трудном пути.

Князя сопровождал огромный коричневый дог, который сразу, как вошел, лег у ног Магида. У Магида были свои, совсем особенные отношения с животными (про него говорили, что ни один комар не кусал его). Он дружески кивнул догу, когда тот встал, чтобы идти за хозяином.

На следующий день царь в сопровождении Чарторыйского и прусского генерала уехал из Козниц. Несколько дворян, и среди них Юзеф Понятовский, племянник последнего польского короля и родственник Чарторыйских, выехали к нему навстречу из Варшавы. Но царь ни словом, ни намеком

не обнадежил их. Не останавливаясь в Варшаве, царь в компании Чарторыйского проехал в Берлин. Две недели спустя был подписан Потсдамский договор, и два монарха поклялись в вечной дружбе на могиле Фридриха Великого. А еще через месяц Пруссия начала готовиться к войне против Наполеона, и через такой же промежуток времени произошла битва при Аустерлице.

После визита князя Магид впал в состояние истощения и не мог из него выйти целую неделю. Думали, что он при смерти, никто никогда не видел его настолько изможденным. В пятницу приехали два хасида из Пшисхи с письмом от святого Еврея, который послал их петь песни субботы для Магида. У Еврея искусство пения было развито в высочайшей степени, и вот он прислал двух самых лучших своих канторов к Магиду. Он попросил их спеть в этот субботний вечер. Едва раздались первые звуки песни, он приподнялся, и лицо его засияло. Вскоре и дыхание его стало легким. Лицо перестало гореть, и он почувствовал, как новые силы вливаются в его тело. По окончании пения он посмотрел вокруг, как будто просыпаясь, и прошептал: «Святой Еврей увидел сквозь сияющее зеркало, что я путешествовал во всех мирах, кроме мира мелодии. Там я не был, и вот он послал двух проводников, которые показали мне и этот мир».

Дети уходят, дети остаются

Отрывок из заметок реб Бениamina за 1807 год:

С прошлой зимы, когда император Наполеон вошел в Варшаву, царило такое смятение, что не было времени вести записки. Однако в мои намерения не входит писать о военных событиях, которые взволновали всех очень глубоко, за

исключением, быть может, ребе. Я сказал, «...за исключением, быть может, ребе». Я должен добавить, что никто из нас теперь не мог бы сказать, каково его отношение к Наполеону; никто не замечал в нем ни малейшего волнения по поводу этих событий. И даже когда кто-то с волнением упомянул в праздник Хануки о том, что генерал Домбровский вошел в Варшаву и со дня на день надо ожидать там Наполеона, ребе посмотрел на говорящего с презрением и произнес: «Семь лет назад, когда он был в Мегиддо, он был близок к нам, сейчас он далеко». Тем не менее у нас иногда возникало чувство, что все происходящее имеет для него особенное значение. Несколько дней спустя во время застольной ханукальной беседы он сказал: «Когда мы зажигаем ханукальные свечи, мы произносим такое благословение: «Благословен будь Ты, Господь наш Бог, Царь вселенной, который совершал чудеса ради наших отцов в эти дни, в это время». Почему? Дни эти, о которых говорится, далеки от нас, дни все разные, а время — оно одно и то же: время, в которое Бог творит чудеса, никогда не становится прошлым, оно всегда настоящее. Поэтому сразу же после этих слов мы произносим еще одно благословение: «Благословен Ты, Бог, Господин наш, Царь Вселенной, который дал нам дожить, и поддержал нас, и дал нам дойти до сего дня». Мы благодарим его не за то, что случилось в прошлом, не за то, что случилось когда-то, не за другие дни, а за то время, которое сейчас. — И вдруг он поднял высоко руки и воскликнул: — Благодарю Тебя, Господь, Властитель мира, за это время».

Сейчас я должен рассказать о печальнейшем событии, имевшем место весной. Но сначала нужно еще рассказать вот что.

Невозможно было не заметить перемену в поведении жены ребе во второй год замужества. Если в первый год она слушала все плохое, что говорили об Еврее, и распространяла эти

сплетни, то теперь она перестала прислушиваться к клеветникам. Я был особенно рад узнать об этом, потому что с тех пор, как я стал ездить в Пшисху, я на себе узнал, какие козни плетут сплетники, но я знал также, что ребе все равно слушает клеветников и ранит этим Еврея в самое сердце. Почему так? Ведь Еврей был единственным по сути настоящим учеником ребе, хоть и провел в Люблине не очень долгое время. Среди нас не было никого, кто бы так понимал ребе, как он. И наконец, если он и критиковал какое-нибудь мнение ребе, а он делал это очень редко, то только в интересах самого ребе. Даже если казалось, что Еврей противостоит ребе, то на самом глубоком уровне он был с ним заодно. Итак, как я сказал, мы не слышали об Еврее ни одного дурного слова от жены ребе, и, даже если кто-то позволял себе это, она немедленно прекращала разговор.

Но потом неожиданно за последнюю зиму ее поведение опять изменилось. Если мне позволено высказать свое мнение, я считаю, произошло следующее. По какой-то причине Еврей приехал в Люблин на благословение новомесячия. Он попросил доложить о нем ребе. Это почему-то не было сделано. Уверенный в том, что ребе сказали о его визите и что он рад ему, Еврей прошел прямо в его комнату. Ребе сидел, отложив книгу, и пристально смотрел на жену и малыша Шалома. Он так погрузился в свои мысли, глядя на мальчика, что не заметил Еврея. Последний сразу же вышел. Позже ребе, узнав о его приезде, послал за ним. Не знаю почему, но этот случай восстановил жену ребе против Еврея. С этих пор она опять участвовала в разговорах, неблагоприятных для него.

Вскоре ребенок заболел. Я и несколько других учеников занимались в комнате ребе, когда жена его вбежала туда, умоляя, чтобы ребе молился за него. Она была в таком отчаянии, что можно было подумать, что мальчик умирает. Ребе

мрачно посмотрел на нее. Казалось, он не в состоянии вымолвить ни слова. Наконец он тихо промолвил: «Ты знаешь, к кому надо обращаться». И случилась странная вещь. Жена ребе подбежала ко мне и умоляла ехать с ней сейчас же в Пшису. Это утвердило меня во мнении, что ребе знает о силе молитвы святого Еврея. Когда мы с ней приехали, женщина кинулась к ногам Еврея и, захлебываясь в слезах, стала умолять его так пылко, что слов невозможно было разобрать... Однако Еврей сразу понял, что случилось. Едва он только взглянул на нее, он сразу заплакал. Но она, не замечая этого, кричала: «Помоги!» Еврей сел, весь сжавшись, голова его коснулась колен. «Хватит! Прекрати!» — крикнул он, рыдая. Женщина подумала, что он не желает с ней больше говорить. Она кусала себе губы до крови. Но он больше не обращался к ней. Наконец он попросил ее встать и ехать домой. «Я буду все время молиться», — проговорил он, плача. Потом он обнял меня. «Бениамин, — сказал он, — как мало может человек!» Мы поехали домой. Когда мы вошли, сказали, что малыш умер.

Через несколько недель, когда я был в Пшисхе, вдруг заболел Ашер, двенадцатилетний сын Еврея. Сначала казалось, что не очень серьезно, но его состояние все ухудшалось. Мать бегала вокруг, как безумная, и выла. Она вбежала в кабинет мужа, где мы обсуждали какой-то сложный вопрос Закона. Она была похожа сейчас на Бейлю. «Это их месть!» — крикнула она. Еврей, и сам сильно встревоженный болезнью сына, все же держал себя в руках. Он посмотрел на нее со смешанным выражением жалости и удивления, не веря своим ушам. Потом он взял ее за руку, сказал: «Опомнись», — и осторожно вывел из комнаты.

Потом ей пришла в голову другая идея. Но я не сказал еще об одном обстоятельстве. Хорошо известно, что у Еврея была привычка отдавать все деньги, какие у него были, ос-

тавляя только на самые необходимые расходы дня. Несмотря на это, жена его ухитрилась в течение долгих лет без его ведома скопить некоторую значительную сумму денег. Часто мать дарила их ей, а чаще она собирала их тайно за спиной мужа. Когда она собрала достаточно, то стала тайком строить дом. Он был построен осенью, жена поручила нескольким ученикам привести туда мужа и объяснить, что это — их дом и отныне они должны там жить. Еврей долго смотрел на это строение, как бы ничего не понимая, а потом разразился горьким смехом. Мы никогда не слышали, чтобы он так горько смеялся. Он сказал: «Написано: «Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа». Как может человек, поглощенный, подобно мне, службой Богу, собрать денег на дом и имение? Поэтому Бог посылает ему разумную жену, которая строит ему дом». Теперь, когда ребенок лежал в лихорадке и ему становилось все хуже, Шендель объявила, что отдаст все движимое имущество бедным, надеясь, что это может спасти сына. Еврей был доволен. Но это не помогло. Тогда она в отчаянии спросила, что еще она может сделать. «Продай окна и вырученные деньги отдай бедным», — сказал он с безутешной улыбкой.

Ребенку становилось все хуже и хуже. И тут случилось нечто необыкновенное. Я уже упоминал о том, что реб Иссахар Бер в течение многих лет имел привычку по очереди посещать Люблин, Козницы и Пшисху. Сначала он приезжал в Люблин к Рош Ашана и проводил там Йом-Кипур. Потом он отправлялся к Магиду и, побыв там некоторое время, переезжал к Еврею. И вдруг теперь, когда Ашер так тяжело заболел, Иссахар Бер почувствовал непреодолимое желание поехать к Еврею, хотя и в неурочное время. Так как он был очень беден, какой-то крестьянин согласился подвезти его на телеге бесплатно. Когда они достигли горы, с кото-

рой виден весь городишко, лежащий в долине, он услышал плач ребенка. Звук доносился из дома учителя, это показалось ему невероятным. Еще больше удивило его то, что ему послышалось, будто ребенок зовет его.

Как только Иссахар Бер вошел в дом Еврея, тот взял его за руку и подвел прямо к кровати, на которой плакал ребенок. На полу, скрючившись, сидела женщина. «Я на пределе сил, — сказал он, — не могу больше молиться. Ты приехал не случайно. Возьми это на себя, и тогда, конечно, он поправится». Он поднял женщину с пола, и они вместе вышли из комнаты.

В первое мгновение Иссахар Бер, как он позднее мне рассказывал, был в полном смятении, какого не испытывал прежде. Никогда он не лечил никого и не пытался повлиять на физическое самочувствие кого бы то ни было. Он никогда не считал себя обладателем какой-то особой силы, тем более что его положение в Люблине было очень скромным. Он, однако, знал, что его учителя обладают этой силой (хотя Еврей отрицал это), и если один из них верит в то, что и он, Бер, способен на невероятное, то он больше и не сомневался. В мгновение ока растерянность его исчезла и душа воспламенилась желанием исполнить то, о чем его просят. И он добился своего. Каким путем, никто, кроме него, не знает.

(Позднее добавлено: Когда я недавно посетил ребе Иссахара Бера, который стал за это время знаменитым чудотворцем, он сказал мне, что его последующее возвышение зависело от того часа).

Мальчик поправился. Но он был еще слишком слаб, чтобы ходить. Несмотря на это, отец, не дожидаясь полного исцеления, повез его в Козницы. О чем он говорил с Магидом, я не знаю. Во всяком случае, не о болезни ребенка. Это было

уже в прошлом. Но я подозреваю, что он хотел устроить так, чтобы мальчик пожил некоторое время отдельно от матери. Магид взял его к себе в дом, и он пробыл у него год, предшествующий зрелости. Согласно Торе, на следующий год он уже стал Бар-Мицва, «сыном Закона». Магид делил с ним комнату и брал его с собой каждое утро в очистительную купальню. Жена Еврея не возражала, потому что считала, что это — часть защиты от магического нападения.

Со дня смерти маленького Шалома отношения между Люблином и Пшисхой приняли курьезный характер. Уже много лет назад сложилось так, что как только Еврей приезжал и говорил с ребе, между ними сразу устанавливался мир. Но стоило ему уехать, сразу же клеветники брали верх. Теперь же в поведении ребе появилась новая и странная особенность. Когда враги Еврея начинали поносить его, ребе соглашался и начинал ругать его, но они знали, что на самом деле он клеветникам не верит. Однако когда он говорил: «Какой человек! Как жаль!» — они торжествовали и знали, что разбудили в нем старую ненависть.

Каким-то самому мне неясным образом я это связываю с одним недавним происшествием. Ребе совершенно неожиданно обратился к реб Меиру, который с самого начала был всем известным врагом Еврея, с просьбой молиться о долголетию Еврея. Вскоре после этого реб Меир приехал в Люблин из Стабниц, где он был главным раввином, и сел рядом с ребе за субботний стол. Ребе наклонился к нему и спросил, молится ли он о долголетию указанного лица. Тот ответил, что раз ребе просил его об этом, то он и молится каждый день. «Хорошо, хорошо», — сказал ребе.

Хотел бы я знать, что это означало. Почему ребе заказал такую молитву? Хочет ли он, чтобы эти молитвы уравновешивали или побеждали его нелюбовь? Но почему именно ребе Меир? Одни загадки!

Я на своем опыте узнал и гнев ребе, и его способность прощать. То, что я симпатизирую Еврею, он знал с самого начала и часто дразнил меня этим, но по-прежнему давал мне разные поручения. Так, однажды он послал меня по очень важному делу к ребе Гиршу в Жидачов, хотя последний принадлежал к врагам Еврея. Эта поездка навсегда запомнилась мне тем, что сказал мне этот необыкновенный человек: «Я чувствую себя пустым сосудом, скоро я должен поехать в Люблин, чтобы наполниться». Однажды ребе даже поинтересовался, почему я давно не был в Пшисхе, на что я правдиво отвечал: «Не было денег на дорогу». Он дал мне их, и никто об этом не знал. К несчастью, я, восторгаясь этим поступком, рассказал о нем одному приятелю, и вскоре враги Еврея зашли так далеко, что упрекали за это ребе.

Несколько недель назад имело место следующее событие. Это было в пятницу вечером. Позднее я узнал, что именно в этот день шли переговоры царя Александра с Наполеоном. После застольной молитвы ребе сказал:

— Завтра, когда пробьет семь, мы должны все вместе молиться. — Он ушел в свою комнату, но тут же вернулся и добавил: — И ты, Бениамин.

Он знал, что в последние годы я молился позже. Наутро все торопились на молитву и взяли меня с собой. Я вернулся в талит. За завтраком ребе спросил:

— Вы молились все вместе?

Они сказали, что да.

— А Бениамин?

— Он тоже, — ответили они. Но второй сын ребе, реб Иосиф, сказал:

— Не верится мне, что он молился.

Тогда ребе обратился прямо ко мне и спросил:

— Ты молился вместе с другими?

Я отвечал:

Гораздо больше, чем приезд ребе семь лет тому назад, всех поразило, когда вдруг в дом к Еврею пришел реб Меир — человек, питающий к нему холодную ненависть. Впрочем, приход его удивил только учеников и друзей, но не самого Еврея. Для Меира и его старшего брата Мордехая, в котором ненависть не пылала страстью, а тихо тлела, Еврей был чужаком, который проник в святилище и восстал против целого мира таинств, против священного величия человека в вышних, стоящего посредине мира, против его союза с небесными силами, против его влияния на взаимодействие небесных сфер и против его борьбы с демоническими силами. Страстная ненависть Меира и тихое недоброжелательство Мордехая привели их в конце концов к тому, что они избегали всяких встреч с человеком, которого возненавидели. Года два назад случилось так, что в переполненном еврейском квартале Еврею негде было переночевать, и он был вынужден просить их приютить его ненадолго, но они выгнали его посланца с презрением и ругательствами, и кроткий Мордехай даже крикнул ему вслед: «Кто это — Еврей? Я сам Еврей».

Понятно, как невыносимо тяжело было Меиру исполнить повеление ребе молиться за долголетие Еврея. И вот он явился сам! Он, правда, не мог высказать словами свое желание примириться, но это было совершенно ясно видно по его лицу. Что же случилось? В Пшисхе никто не мог догадаться. А Еврею это было как будто и неинтересно. Но от людей, близких к Мордехаю (учеников, строго говоря, у него не было), удалось узнать кое-что, хоть и небольшое, об этом.

У двух братьев, несмотря на их несходство, был, и уже не однажды, один и тот же сон в одну и ту же ночь. В этом сне они видели того кобольда в человеческом образе, которого тоже звали Яков Ицхак, сын Матель, как и ребе, и который целый год жил у него и привел в смятение всех учеников и самого ребе. Меир с самого начала понял, что тот послан

демонами. С тех пор как он исчез, о нем ничего не было известно. Во сне они видели его в еще более дьявольском облики: изо рта у него торчали клыки кабана, а из плеч росли крылья летучей мыши. Они видели, как рбе и его ученики, вооружившись пиками, пытаются отогнать это чудовище, но тщетно. Чудовище стало расти вверх и вниз, голова его скрылась за черной тучей, а ноги покоились невидимо в адской бездне. Но вдруг явился широкоплечий человек, ничем не вооруженный, он поднял на чудовище могучие руки, и оно с неохотой исчезло. С ужасом они узнали в этом человеке Еврея. А потом (когда они рассказывали друг другу и сравнивали сон, в этом месте они умолкали) все ученики во главе с братьями обратились против победителя. Они окружили его, тесня пиками, и неожиданно пики Меира и Мордехая превратились в топоры и они отрубили ему обе кисти. Утром Мордехай проснулся с таким чувством стыда и слабости от того, что пережил во сне, что его первым побуждением было идти в Пшисху. Он чувствовал, что как старший должен исполнить этот долг. А Меир пошел уже по его стопам.

Дни, проведенные в Пшисхе, удивили его. Никто не проявлял к нему никакой враждебности. Еврей обращался с ним с той же ровной добротой, как со всеми. Поначалу вынести это было труднее, чем грубый отпор. Но вскоре он привык к этой атмосфере открытости и доброжелательства.

На прощание он решился, к своему собственному удивлению, задать Еврею вопрос, который давно терзал его, а после того, как он увидел тот сон, стал совсем мучительным.

— Как случается, — спросил он, — что люди, которые достигли определенной высоты и не грешат, но прислушиваются к нашептываниям злого духа и, будучи не настолько низки, чтобы грешить, все же говорят фальшь и творят неправду?

— Одно я знаю точно, — ответил Еврей, — если человек произнесет пусть один только раз, но изо всей мочи: «Слушай,

Израиль! Господь наш Бог! Господь Один!» — то злой дух навеки теряет надежду приобрести такого человека. Потому что тот знает, что его Творец — единственная сила, знает и то, что все остальное — видимость и самозванство. Как же тогда исхитриться злему духу? Он строит ступени, чтобы человек поднимался по ним. Человек сосредоточивает свой ум на достижении нового уровня, и для него существует уже не только Бог, даже если он и продолжает так думать. Ему становятся важны собственная сила, позволяющая подниматься все выше, и стремление возвышаться. Это важно ему, и он не видит больше в этом ничего обманчивого, иллюзорного. Я это говорю вам, ребе Меир, потому что сам был подвержен этой опасности. Это было как раз тогда, когда я пришел в Люблин. Там я научился понимать обманчивость этих ступеней. Что же должен делать человек, чтобы спастись из этих сетей птицелова? Он идет в дремучий лес и там стоит и кричит, пока от него не отнимутся все ступени и уровни.

Еврей замолчал, и они попрощались. Меир поехал домой в коляске, и монотонная езда повергла его в легкую дремоту. Когда он проснулся, коляска ехала через лес, звенящий птичьими голосами. Он внимательно прислушался к ним, и вдруг — о, ужас! — понял, о чем они поют. Испугавшись, он выскочил из коляски и побежал в лес, там он молился, молился истово до тех пор, пока птичий щебет не стал опять обычным птичьим щебетом. Со слезами благодарил он Бога. Потом он опомнился и стал искать дорогу, коляска ждала его неподалеку. Он сел, и лошади тронулись. Вскоре он опять задремал, извозчик разбудил его уже у гостиницы. Он так и не мог понять, случилось ли это чудо наяву или приснилось ему. Но с этого часа он сильно переменялся.

Уже позже Еврей прогуливался со своим учеником Перцем. Этот человек умел слушать, как никто другой. Его уши были прямо связаны с его душой, так что все, что входило

ло в его уши, тут же впитывала душа. Они проходили по лугу мимо пасущегося скота, а в это время стая гогочущих гусей купалась в ручье.

— Если бы можно было научиться понимать их! — воскликнул Перец.

— Если ты достигаешь такой высоты, — сказал Еврей, — что понимаешь до последней глубины то, что произносишь сам, ты учишься понимать язык всех живых существ. Потому что языков много, но в основе речь у всех одна.

В другой раз он сказал Иссахар Беру:

— Если хочешь, я могу научить тебя понимать язык птиц и всех других животных.

А тот ответил:

— Если мне суждено, я и сам научусь.

— Именно такого ответа я от тебя и ожидал, — сказал Еврей.

— Но, может быть, ты знаешь уже, в чем выражается речь, в словах или в жестах?

— Я думаю, — сказал Иссахар Бер, — что в глубине и слово, и жест рождаются из одного корня.

— Самое главное ты уже знаешь, — сказал Еврей.

Таким образом, нам переданы три разных высказывания трех разных людей об одном и том же. Они разные, но, в сущности, сливаются в одно. Так всегда бывает в Пшисхе.

Однажды там был ученик, который выбрал подвиг молчания, ничего не произносил, кроме молитвы и слов Торы. Еврей некоторое время наблюдал за ним. Потом велел ему явиться. К вечеру этот человек подъехал к Пшисхе и увидел Еврея, гуляющего в полях с учениками. Он выпрыгнул из коляски, подбежал и поздоровался.

— Молодой человек, — сказал ему Еврей, — как случилось, что в вечном мире истины я ни разу не слышал ни единого вашего слова?

— Ребе, — стал оправдываться тот, — зачем говорить всуе? Разве не больше пользы от учения и молитвы?

— Тот, кто только учится и молится, не учится и не молится, потому что убивает слово своей души. Что это значит — «всуе»? Человек говорит всуе, а иногда в истине... Вот я тебе оставляю трубку и табак на ночь. Приходи ко мне после вечерней молитвы, и я научу тебя говорить.

Они сидели и разговаривали всю ночь. К утру этому человеку уже нечему было учиться.

Так случилось в Пшисхе.

Между Люблином и Римановом

Вот еще отрывок из заметок реб Бениamina из Люблина. Он относится к 1807 году.

Люблинский ребе велик. Несомненно, многое в его характере и поведении кажется непостижимым. Иногда кто-то пытается восстать против него, потому что полагается на свое понимание вещей. Но в конце концов повинуетя, пусть и не меняя своей точки зрения, потому что нельзя не повиноваться огромной силе, которой Господь одарил это существо из плоти и крови.

В последние годы ребе сделал несколько очень странных высказываний. Так, однажды во вдохновенной речи он точно назвал день и час прихода Мессии. Когда его спросили об этом позже, он сказал, что ничего не помнит. В другой раз при нем вычисляли наступление «последнего времени» — тогда он выразился так: «Сын замечает нечто в поведении отца, что кажется ему неподобающим. Может ли он осмелиться упрекнуть его? Он может только сказать: “Отец, разве неправда, что в Торе есть такое и такое место?” Так

происходит и с цадиками нашего поколения, которые слишком нетерпеливо жаждут искупления. В каком-нибудь стихе Писания они находят указание на то, что Мессия придет в такой-то год. Тогда они показывают этот стих Отцу и говорят: “Отец, разве не правда, что в Торе есть такое и такое место?”»

С этой точки зрения становится понятным одно его замечание годичной давности, которое я тогда не записал. Но предварительно я должен рассказать, что послужило поводом к этому.

Известно, что ребе Менахем Мендель, после того как он поселился в Риманове, по какой-то необъяснимой причине поехал вдруг в город Приштык, где жил его тесть, и остался там на целый год.

Потом он вернулся в Риманов и только теперь почувствовал, что на самом деле может стоять во главе своих хасидов. И он осуществлял это с предельной суровостью. Я не говорю уже об абсолютной честности, которая требовалась от всех, принадлежавших к его общине (так, все весы и все эталоны проверялись в последний день каждого месяца во всех еврейских магазинах), но настоятельно не рекомендовалось даже простое удовольствие от земных радостей. Среди других ограничений ребе Менахем Мендель запретил даже приглашать музыкантов на свадьбы. Но строже всего он относился к тому, как одеваются его люди. Мужчины еще легко отделались — им не разрешалось носить только воротники и еще какие-то мелочи. Предписания, данные женщинам, были гораздо строже: он вообще считал, что им надо знать свое место. Они могли доить коров только под присмотром мужчин, не могли самостоятельно выезжать из города, а также сидеть на улицах в субботу и другие праздники, и так далее. Девушкам запрещено было вплетать ленты в прическу и завивать волосы. Замужним женщинам нельзя было

носить вышитые серебром головные платки на людях, а также никаких немецких блузок, модных сандалий и вообще никакой пестрой и изукрашенной одежды. Портных, которые шили модные наряды, наказывали штрафом. Все эти ограничения ребе основывал на проклятиях пророка Исаяи, обращенных против надменных сердцем дочерей Сиона, носящих браслеты, цепочки на ногах, серьги, ожерелья и прочие украшения.

Ребе Менахем Мендель не успокоился, введя все эти запреты в Риманове и его окрестностях. Он разослал послания всюду, требуя их повсеместного применения. Когда такое послание пришло в Люблин, наш ребе был возмущен.

«Дочери Израиля должны украшать себя, — сказал он, — особенно сейчас, когда грядет время великой радости».

Разумеется, надежда на приход искупления не была слабее в сердце Менахема Менделя. Разница заключалась в том, что ум нашего ребе постоянно был направлен на созерцание света, спрятанного во тьме, и он уповал, что свет этот рассеет тьму в конце концов, а Менахем Мендель полагал, что силы мрака одержат победу прежде, чем зерна света сумеют в нем укорениться. Этот тайный свет, по его мнению, должен поддерживаться в величайшей чистоте. В то же время силы тьмы будут возрастать до своего предела, пока на земле не останется ничего противостоящего этим всепобеждающим силам, кроме тихого и, по воле Божьей, беспомощного до времени света. Тогда и только тогда сойдет к нему Божественный свет и даст способность к сопротивлению. Эту доктрину я сам слышал из уст ребе Гирша, часто гостившего в Риманове. Даже имя его, означающее «слуга», было передано ему там его тезкой, знаменитым римановским блюстителем веры и одним из столпов хасидизма. А он знал это учение от самого Менахема Менделя. Когда я был в Пшисхе, я рассказал об этом Еврею. Он выслушал и не сказал ни слова.

Позднее я говорил об этом с ребе Бунимом и ребе Перецом. Ребе Буним сказал:

— Написано: «Он поставил пределы тьме». Один Бог решает, как широко дано в каждый период времени распространиться тьме.

Ребе Перец посмотрел мне прямо в душу своими сияющими глазами и сказал:

— Свет остается чистым до тех пор, пока не замыкается в самом себе.

Есть нечто в связи с этим учением Менахема Менделя, что должно быть упомянуто здесь. Как и наш ребе, он полагал, что долг хасидов — влиять на ход событий в мире. И, как наш ребе, он считал обязанностью хасидов превратить Наполеона в Гога. Но способ достижения этой цели был у них различен. Менахем Мендель считал, что достаточно молиться и взять на себя духовный риск, чтобы помочь Наполеону завоевать мир.

Сейчас я расскажу о том, что случилось этой весной. Речь пойдет о чудесном. Потомки, если прочтут мои записки, возможно, с трудом поверят в такие вещи. Но я приведу имена свидетелей — людей, достойных всяческого доверия. Один из них — ропшницкий ребе Нафтоли. Он поведал мне об этом, когда я гостил у него летом, и уверял, что видел все это своими глазами. Другой — старый мой друг ребе Шломо, внук ребе Элимелеха, — сам участвовал в этом событии и рассказал о нем. Ребе Шломо был послан в Риманов нашим ребе с письмом и привез ответ на него.

Прежде всего позвольте напомнить, что вера в то, будто спасение придет именно в пасхальную ночь, была глубоко укоренена в душе Менахема Менделя. Я уже говорил, что в юности он много странствовал, был даже в Испании, и там однажды праздновал Пасху в подземной пещере вместе с одним испанским евреем. Когда они там сидели, в пещеру

вдруг проник свет такой силы, что они испугались, и в тот же самый миг кубок с вином, предназначенный, как велит обычай, Илии, бродящему по земле, вдруг поднялся, как будто кто-то поднес его к губам, и опустился затем пустой. С того дня ребе Менахем Мендель утверждал, что Илия в одежде вестника придет в день искупления в ту самую ночь, когда Израиль спасся из Египта.

В этом году в ночь перед праздником Песах Менахем Мендель вместе с верными пек мацу. Реб Нафтоли стоял рядом с ним. Когда он заталкивал в печь листы с тестом, каждый раз настойчиво бормотал: «Так же толкнем их на Вену! Так же и на Вену!» Реб Нафтоли с трудом разбирал слова. А когда понял, воскликнул: «Как нечистое может готовиться с чистым?!» — и вынужден был бежать от разгневанного ребе. Вскоре он узнал, что за день до Песах Наполеон решил пойти на Австрию, а еще позже — что он завоевал Вену, и в это же самое время польские войска под командованием Юзефа Понятовского вошли в Люблин.

Сразу же после праздника реб Нафтоли поехал в Козницы и там рассказал об этом Магиду, о котором знал, что он — страстный противник Наполеона. Магид промолчал. Нафтоли вернулся в Люблин и там рассказал все это нашему ребе. Тот сразу же послал гонца в Могильницу, где жил ребе Яков, сын ребе Элимелеха, и просил его сына Шломо приехать к нему. А когда тот приехал, он послал его с письмом в Рима-нов к Менахему Менделю. Рассказывают, что письмо было таким: «Написано: «И сыны Всевышнего — все вы». Не должно быть, чтобы сыны Высочайшего работали с противоположными целями. Для меня, как и для вас, очевидный знак свыше — то, что Бог сделал этого человека таким могучим. Я, как и вы, делаю все, что в моих силах, чтобы из него вышел Гог, как предсказано в пророчествах. Но никому не дано знать, каким образом триумфы и поражения этого человека

связаны с искуплением. Мы не должны бороться ни на одной стороне. Я не всегда думал так, но признал свою ошибку. Наша единственная цель в том, чтобы атмосфера все больше сгущалась, чтобы напряжение не падало. Это — наша общая задача. Каждый может в сердце своем стремиться к своей цели, но направление должно быть одним. Давайте заключим союз для достижения этой цели».

Когда Менахем Мендель получил это письмо, он приказал посланцу ответить следующее: «Будет как вы хотите, ведь всем известно, что Святой Дух почитет на вас. Я не могу изменить свое сердце, но я изменю свои намерения и не буду делать ничего без вашего согласия».

Нет свидетелей тому, что я хочу рассказать дальше, однако мне это известно от верного человека. Это касается третьего сына ребе, по имени Цви, который с начала года записался в австрийскую армию. Когда он пришел попрощаться с отцом, тот сказал: «Когда ты увидишь императора Наполеона, поприветствуй его от моего имени».

Юноша не понял этих слов, но расспрашивать не осмелился. Когда Наполеон устроил смотр австрийских полков в Вене, он тоже был там. Солдаты остановились, и Цви оказался внезапно лицом к лицу с Наполеоном.

Наполеон подозвал его и велел назвать себя. Не осмеливаясь передать привет от отца, он ответил: «Я — сын люблинского ребе». Император рассмеялся и сказал: «Передай твоему отцу, что я его не боюсь».

Не прошло и недели, как в первый день праздника Шауот, день Откровения, Наполеон потерпел первое поражение на дунайском острове.

Скоро русские заняли Люблин. Они делали вид, что союзничают с Наполеоном, но никто не верил в это. Ребе вышел им навстречу и долго смотрел на них. «Все они послужат нашему делу», — сказал он.

Новое лицо

Происшествие, о котором я расскажу в этой главе, случилось по возвращении римановского ребе Шломо в Люблин. Я не нашел упоминания об этом в записках реб Бениамина. Чтобы все было понятно, я должен вернуться в более давние времена.

Несколько лет назад, приблизительно в то время, когда князь Чарторыйский посетил Магида, при дворе Хозе появился новый ученик. Ему было лет восемнадцать, был он приземистый и смуглый. Выражение его черных глаз никогда не менялось.

У него были две страсти, которые на самом деле составляли одну: искать истину и сообщать о ней. Первая определяла характер его жизни, вторая — его отношение к товарищам. Он накинудся на изучение Закона, как хищник на свою жертву. С детства его никто не любил, да и позднее, когда он уже стал знаменитым ребе из Коцка, все ругали и обличали его. Однажды он приехал в свой маленький родной город и навестил меламеда, который когда-то выучил его разбирать буквы, изучив с ним пять книг Торы. Учителя, который пошел с ним дальше, он не навестил. Тот обиделся и спросил, неужели он стыдится его. Мендель ответил: «Вы научили тому, в чем можно сомневаться, одно толкование говорит так, а другое иначе. А первый учитель дал мне несомненное сокровище, в котором нельзя сомневаться, и оно осталось со мной. Поэтому я считаю своим долгом выразить ему особое уважение».

Когда он был ребенком, он не имел к хасидизму никакого отношения, полагая, что это только отвлечет его от занятий. Он был так погружен в учебу, что иногда часами стоял с огромным томом Талмуда в руках, в деревянном переплете с медными застежками, забывая даже присесть.

В его родном городе жил один человек, который часто рассказывал разные истории о цадиках. «Он рассказывал, а я слушал, — вспоминал позднее ребе, — он смешивал правду с неправдой. Я отделял правду и запоминал ее. Так я стал хасидом».

В Люблин он пришел, когда ему было пятнадцать. Хозе дал одному человеку из его города такое поручение: «Где-то в вашем городе зажглась священная искра. Найдите того, в ком она тлеет, и приведите ко мне».

Этот человек стал искать среди молодых людей. О Менахеме Менделе он подумал в последнюю очередь, потому что парень имел репутацию слегка свихнувшегося. Наконец этому человеку пришлось в голову спрятаться ночью в синагоге и наблюдать. После полуночи пришел Мендель, стал молиться, стоя на одной ноге, а вторую уперев в деревянную скамью. Так происходило несколько ночей подряд. Наконец в одну из ночей наблюдающий кашлянул. Поняв, что за ним следят, Менахем Мендель бросился к печке, стал хлопать себя по бокам руками и всячески изображать из себя шута. Но тот человек сказал: «Не пытайся обмануть меня. Люблинский ребе послал за тобой. Ты должен идти к нему».

В Люблине, идя к ребе, Мендель зашел в лавку; там ему понравился ножик, и он купил его. Когда он предстал перед Хозе, тот сказал:

— Ты приехал сюда ради того, чтобы купить ножик?

Мендель посмотрел ему в глаза:

— Ну не для того же, чтобы удивляться дарам Духа, — ответил он.

Вскоре за ним приехал отец и хотел забрать его домой.

— Почему ты покинул путь отцов и связался с хасидами? — кричал он.

— В песне, которую пели у моря, — сказал Мендель, — сначала говорится «Пою Господу. Он Бог мой, и прославляю Его», и только потом: «Бог отца моего, и превознесу Его».

Но отец не пожелал прислушаться к этому доводу.

Когда Менделю было уже восемнадцать и он был уже женат и жил в Томашове, в доме своего свекра, он попросил, чтобы его отпустили на неделю в Люблин. Ему разрешили и дали денег на неделю. Он остался в Люблине больше чем на полгода. Потом, правда, возвращался, но ненадолго.

Вскоре после того, как ребе написал письмо в Риманов, Мендель в очередной раз приехал в Люблин. Он бродил с печальным видом и ни с кем не разговаривал. Ребе сказал ему:

— Ты выбрал путь скорби. Это нехороший путь. Оставь его.

Мендель резко повернулся и сказал сквозь зубы:

— Это мой путь.

И ушел.

В синагоге он увидел юнца, который бродил взад и вперед.

— Что происходит в твоей голове? — спросил он.

— Это тебя не касается, — ответил тот.

— Это меня касается, — сказал Мендель, — потому что ты, как и я, хочешь идти в Пшисху к Еврею.

Тот признался, что это так и что он очень боится показаться Ребе и попросить у него отпуск, поскольку тот сразу догадается обо всем. Мендель предложил уйти вместе, не прощаясь с ребе. На том они и порешили. Но перед этим пришлось провести еще неделю в Люблине.

В день, когда прибыл вестник из Риманова, ребе обсуждал приход Мессии и задавал ученикам связанные с этим вопросы. Когда дошла очередь до Менделя, тот сказал:

— Как я понимаю, для этого должны произойти события двух видов: одни — то, что происходит между людьми, а другие — то, что происходит между небом и землей. То, что касается людей, о том знает душа человеческая, и об этом нечего долго рассуждать. А о том, что происходит между небом и землей, никому неизвестно, и рассуждать тут не о чем.

Многие века каждое поколение пыталось узнать, когда придет Мессия. Никому не удавалось. Мне кажется, что он придет тогда, когда никто не будет об этом думать.

Ребе посмотрел на него недовольно, но промолчал.

На пути в Пшисху Мендель заболел. Приехав, он слег. Его товарищ побежал к Еврею и просил молиться за Менделя.

— Вы уехали из Люблина без разрешения ребе? — спросил Еврей. Услышав, что так и было, он пошел в гостиницу.

— Решайся, — сказал он Менделю, — обещай, как только поправишься, ты должен вернуться и просить у ребе разрешения.

Мендель покачал головой:

— Я никогда не раскаиваюсь, поступая по правде, — ответил он.

Еврей долго смотрел на него.

— Если ты так доверяешь своему внутреннему чувству, ты поправишься и без этого.

Так и случилось.

Но когда Мендель пришел к Еврею после выздоровления, тот сказал:

— В юности хорошо для человека носить ярмо.

Тут готовность к истинному служению пронизала все существо молодого человека.

Видение

В середине ночи Еврей был внезапно разбужен. С тех пор как Шендель нянчила второго ребенка, она спала в другой комнате; окно было широко открыто, за ним дышала тихая ночь. Голос крикнул: «Подними глаза к небу». Он подошел к окну и посмотрел вверх. Не было видно ни звезд, ни луны. Тьма была непроницаема. Внезапно раз-

дался пронзительный долгий гудящий звук небесного шара, и в то же мгновение тьма расступилась. Из красных сосцов первородного света хлынула молочная белизна. Ее капли падали во внезапно осветившийся и засверкавший маленький пруд. По окружности его разлился зеленоватый блеск. Еврей стоял уже на берегу этого пруда. Он не видел ничего, кроме молочного сияния. В этом сиянии вдруг задвигалось что-то. Из центра его поднялась волна, изогнулась и приняла форму человеческого тела. Еврей увидел огромную женщину, закутанную от макушки до щиколоток в черное покрывало. Видны были только ступни, стоявшие в воде, и сквозь воду было видно, что они в темной пыли, как бывает у странствующих босиком по дорогам. Были видны и кровавые раны на них.

Женщина сказала: «Я смертельно устала, потому что меня преследуют. Я смертельно больна, потому что меня мучили. Я опозорена, потому что меня не узнали. Вы — мои мучители, из-за вас я все еще в изгнании.

Когда вы враждуете друг с другом, вы гоните меня. Когда вы злоумышляете друг против друга, вы мучите меня. Когда вы убиваете друг друга, вы не хотите знать меня. Все вы терзаете своих близких, и тем самым вы терзаете и меня.

И ты сам, Яков Ицхак, знаешь ли ты, как ты преследуешь меня и как удаляешься от меня? Нельзя любить меня и не сострадать всем существам. Я поистине с вами. Не думай, что от моего чела исходят небесные лучи. Моя слава — в вышних. Мое лицо — лицо сотворенного существа».

Она приподняла покрывало, и он узнал ее лицо.

Она сказала: «Когда я найду успокоение? Когда я смогу вернуться домой? Поможешь ли ты мне, Яков Ицхак? Поможешь ли ты мне хоть немного?»

И тут фигура исчезла. И пруд исчез тоже.

Яков Ицхак очнулся у окна. Голос крикнул: «Приблизься ко мне, и мое спасение приблизится». Тьма рассеялась. Внезапно в небе появилась белая луна, окруженная большим красноватым кругом. По обеим ее сторонам парили два крылатых существа, крылья одного были огненные, а другого — снежно-белые. Они полетели к земле, к Еврею.

«Ты должен учить», — сказало одно.

«Ты должен умереть», — сказало другое.

Ответ Еврея

В следующую субботу, чуть больше, чем через неделю после возвращения вестника из Риманова в Люблин, Еврей собрал всех своих учеников начиная от старшего и первого — Бунима и кончая младшим и последним — Менделем. Они уселись иначе, чем в Люблине, — там усаживались за длинным столом во главе с ребе. А здесь скамейки стояли как попало, и ребе, разговаривая то с одним, то с другим, пересаживался с места на место, поэтому создавалось впечатление дружеской и непринужденной встречи, несмотря на безусловное почитание учителя.

Еврей обратился к ним со словами:

— Написано: «Ты облечен славою и величием». Слава и величие, которые присущи Богу, есть не что иное, как его одеяние. Он одевается в них, чтобы приблизиться к твари. Все величие Божие, которое мы можем постигнуть, есть самоумаление Господа ради нас.

Есть два пути, которыми он приближается к этому миру: первый — это Шехина, в жилище ей Он выделил этот мир и позволил ей войти в течение времени и истории и разделить с людьми противоречия и страдание мира. Он послал Шехину в изгнание вместе с народом Израиля. Она не защище-

на от ран и ударов, она разделяет нашу судьбу, наши несчастья и нашу вину. Когда мы грешим, она чувствует это как свой грех и мучится этим. Она чувствует стыд за нас, как мы сами не можем чувствовать.

Второй путь — это то, что он поставил искупление этого мира в зависимость от того, насколько мы приближаемся к добру. Написано: «Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность». Бог не может без нас завершить свое творение. Он не откроет нам своего царства, пока мы не построим основание для него. Он не наденет царской короны, пока не получит ее из наших рук. Он не воссоединится с Шехиной без нашей помощи. Он позволяет ей ступать по земле запыленными и окровавленными ногами, потому что мы не имеем жалости к ней.

Поэтому все расчеты наступления конца света фальшивы и все попытки приблизить приход Мессии обречены на провал. По правде, все это отвлекает нас от единственно необходимого, заключающегося в воссоединении Шехины с Богом, которое может произойти, если мы сами обратимся к добру.

Безусловно, тут сокрыта тайна. Но тот, кто знает ее, не может сделать ее явной, а кто делает вид, что открывает ее, не знает ее на самом деле.

Безусловно, тут есть и чудо. Но тот, кто сам хочет сотворить его, потерпит неудачу, а тот, кто и не пытается сотворить чудо, может осмелиться иметь надежду, что отчасти получит такую способность.

Искупление у дверей. Оно зависит целиком и полностью от нашего возвращения к Добру, от нашего раскаяния.

После того как Еврей закончил свою речь, ученики сидели молча. Только Мендель сказал через некоторое время:

— Теперь я понял то, чего не понимал раньше.

— И что это? — спросил учитель.

Мендель ответил:

— Это слова Билама: «С ним Господь Бог, и радость Царя в его сердце».

— Как же ты понял эти слова? — спросил Еврей.

— Бог, — сказал Мендель, — всегда с нами, где бы мы ни были и каковы бы мы ни были. Но рассвет его царства может наступить в нас не раньше, чем мы образуем внутри себя место для него, чтобы Он был среди нас.

Леловский Довид вмешивается

Уже много лет среди хасидов, учившихся у Довида из Лелова (а их становилось все больше, невзирая на замкнутый образ жизни учителя), существовал обычай: в праздник Шавуот собираться всем вместе примерно в миле от Лелова и идти к ребе Довиду пешком с музыкой. Когда они доходили до рощицы на окраине города, музыканты начинали играть на скрипках и цимбалах, так что слышно было во всем городе. Хасиды затягивали песни и шли уже прямо к дому ребе Довида. Там они останавливались, пели и танцевали, пока Довид не выходил к ним. Это случалось обычно после заката. Люди стояли вокруг него с зажженными длинными свечами и слушали, как он с сияющим лицом говорит о Торе. Потом они опять пели и плясали, до самого рассвета. Наконец Довид желал всем мира, все выпивали, говоря: «Лэхайм», желая друг другу жизни, а потом весело провожали его до дверей. Утром они вместе молились, а потом ребе угощал их непрехотливым, но вкусным завтраком, после чего они усаживались в битком набитые повозки и уезжали праздновать Шавуот в Люблин. Они собирали деньги, а ребе Довид был их кассиром.

В последние годы из-за войны эти поездки почти прекратились, но ребе все время повторял историю, рассказан-

ную им пятнадцать лет назад Хозе, о длинном столе, накрытом от Люблина до Лелова. Но теперь, когда Понятовский пошел с войсками из Люблина на завоевание Галиции, всеми овладело странное настроение. Не то чтобы они думали, что все уже успокоилось. Слишком много они страдали, чтобы поверить в это. Но, не понимая сами почему, они стремились собираться все вместе. В этом году к Довиду приехало множество хасидов, а потом они все вместе, во главе с ним самим, отправились в Люблин.

Хотя прошло уже три года, как ребе Довиду исполнилось шестьдесят, у него почти не было седых волос, а морщины с его широкого ясного лица с годами разглаживались. И хотя он держался с величайшей скромностью, к тому же все время шутил и смеялся, царственная величественность появилась в его облике. Некоторые юнцы всерьез относили к нему слова: «Царь Давид живет и здравствует».

В субботу, которая в том году была на следующий день после праздника, во время третьей трапезы хасиды, приехавшие из Лелова, и хасиды из Пшисхи со своим учителем сидели и стояли в доме учения у Хозе. Ишайя тоже приехал из Пшедбожа. Леловский Довид время от времени поглядывал на своего учителя. Ничто не могло изменить его отношения к ребе. Много за эти годы удивляло его, но он не судил. Когда ему говорили, что Хозе внушает ужас, он отвечал: «Такова истинная природа человека». За протекшие годы он узнал о природе человека гораздо больше. Вот и сейчас, сидя за столом, он смотрел на Хозе с некоторым изумлением. Он заметил, что глаза ребе были устремлены в одну и ту же точку, и этой точкой был Еврей. Довид не мог истолковать выражение его глаз, он мог бы сказать, что они были жутко пустыми. Вот ребе отвел глаза от Еврея, теперь он не смотрел ни на кого, взгляд его устремился в какие-то свои невообразимые глубины и высоты. И наконец показалось Довиду, они

приобрели какое-то выражение. Он не мог определить, какое оно. И вдруг вспомнил: такое же выражение лица было у мальчика, который поймал бабочку и собирался оторвать ее ослепительные крылья. Что же сделал тогда Довид, чтобы предотвратить это? Он издал крик ястреба (он умел подражать крикам разных птиц). Мальчик вздрогнул, испугался и выпустил бабочку из своей жестокой руки. А сейчас Довид ударил кулаком по субботнему столу. Бутылка вина упала на пол и разбилась со звоном.

Хозе вздрогнул:

— Кто сделал это?

— Это я, Давид, сын Иешая, — ответил Довид.

Хозе был озадачен, но промолчал. Немного погодя он спросил у Довида, нехотя улыбнувшись:

— Твоего отца звали Иешай?

— Моего отца? — переспросил Довид, как будто пробуждаясь ото сна. — Нет, моего отца звали Шломо. Шломо, да покоится он с миром.

Больше ничего замечательного не происходило в тот вечер. Позже Буним спросил Довида, почему он стукнул кулаком по столу.

— Я увидел ребе, ищущего в небесных покоях вышнее жилище моего друга, чтобы отнять у него дары Духа. Я должен был испугать его и вернуть на землю. Это меня изнурило. Ни один человек не может сделать такое дважды.

— А почему ты сказал, — спросил Буним, — что твоего отца звали Иешай?

— Если бы я сам знал почему, — сказал Довид и засмеялся.

— А понял ли ты, что нарушил субботу?

— Конечно. Но спасение жизни выше субботней заповеди. Разве не говорил Баал-Шем-Тов, что для хасида спуститься с достигнутой ступени духовного развития равносильно смерти?

Два дня Шавуот прошли спокойно. В застольной беседе Хозе говорил о знаках, через которые Господь открывает через ход исторических событий.

Когда после праздника друзья пришли к ребе попрощаться, тот принял их по-прежнему дружески. Они посидели с ним немного. Потом Хозе сказал, обращаясь к Еврею:

— Ты знаешь, как твои враги осаждают меня. Но ты хорошо знаешь, что я люблю тебя и радуюсь нашему духовному родству. Я испытал нечто подобное, живя у моего учителя ребе Элимелеха, и узнал, что с ненавистью бесполезно бороться. Поэтому я ушел и поселился в другом месте. И потому я, любя тебя, советую не приезжать больше в Люблин.

Еврей молчал. Потом он попрощался с ребе.

Когда они вышли, Буним спросил его: «Что же ты будешь делать?» — а Довид прошептал: «Может, и вправду лучше не приезжать сюда больше?».

Но Еврей ответил: «Ребе не получил от ребе Элимелеха того, что я получил от ребе. Его влияние неотделимо от меня. Может быть, перед Богом, по Его воле, я и мог бы оспорить его. Но никакая смертная сила не может разделить нас, только смерть может сделать это. — Он помолчал и тихо добавил: — К тому же и час поздний».

Друзья ничего не сказали.

Женщина у колыбели

Однажды (это было уже несколько месяцев спустя) Шендель сидела у колыбели маленького Нехемии, укачивая его. Еврей заперся в соседней комнате, как он всегда делал, если не желал, чтобы ему мешали. Вдруг ребенок проснулся и заплакал. Напрасно мать пыталась успокоить его ласками.

Он вопил изо всех сил. Не как дитя, а как взрослый, который в отчаянии отвергает любые утешения.

Дверь открылась, и Яков Ицхак спросил:

— Шендель, знаешь, почему он плачет?

Удивленная странным вопросом, она ничего не ответила.

— Я скажу тебе почему, — продолжал он, — его голос, когда он плачет, это голос сироты.

Он вернулся в комнату и запер за собой дверь. Шендель в растерянности села у колыбели. Но так как она привыкла к странному поведению мужа, то не придавала его словам особенного значения. Дитя, умолкнувшее было, снова принялось вопить; напрасно она успокаивала его.

Опять вошел Еврей и опять спросил:

— Шендель, ты знаешь, почему он теперь плачет?

Она пожала плечами.

— Он плачет потому, что всю его жизнь его будут преследовать, и он будет принужден испить чашу ненависти до самого дна.

И опять зарыдал ребенок, и опять Еврей повторил вопрос.

— Оставь меня в покое! — закричала Шендель.

Но это не остановило его.

— Он плачет потому, — сказал он, — что и его сыновей будут преследовать.

Он ушел в комнату и закрыл за собой дверь. Дитя тут же успокоилось и замолчало.

Эта история рассказана здесь со слов Шендель.

Скорбь и утешение

В один осенний день в Пшисху пришла новость о смерти всеобщего любимца, ребе Леви Ицхака из Бердичева. Все оплакивали его вместе, как бы соединив свои души, и из глу-

бины поднималась общая скорбь, как и любовь к нему жила во всеобщей глубине.

Когда вечером сидели все вместе, один сказал:

— Мне кажется, что любой вопрос, который волнует нашу общину или значит что-то для нее, имеет параллель с событиями жизни Леви Ицхака, да будут его заслуги нам защитой.

— Давайте проверим, — ответил другой, — будем переходить от предмета к предмету, а кто захочет, расскажет подходящую к случаю историю из жизни бердичевского ребе.

Они согласились.

И вот первый вопрос:

— Почему так много людей ненавидит хасидов Пшисхи?

Буним поднялся и рассказал:

— Враги хасидизма образовали настоящий союз против Леви Ицхака: им не нравилось, как он служит Богу. На него возводили всякую напраслину. Тогда некоторые умные люди написали ребе Элимелеху, спрашивая его, откуда берется эта злоба. Ребе Элимелех ответил: «Чему вы удивляетесь? Так всегда было в Израиле. Горе нашим душам! Если бы это было иначе, нас никогда не могли бы победить!»

Второй сказал:

— Почему никто не пытается даже понять, отчего мы молимся только тогда, когда наши души готовы к молитве?

Мендель встал и сказал:

— Бердичевскому ребе однажды сообщили, что некий хазан охрип. Он вызвал его к себе и сказал: «Как это случилось, что ты охрип?» — «Это случилось потому, — ответил тот, — что я много часов провел перед аналом, читая молитвы». — «Теперь понятно, — ответил ребе, — когда человек молится перед аналом, он хрипнет. А тот, кто молится перед Богом живым, тот не хрипнет».

Так они долго задавали вопросы и рассказывали подходящие истории как ответы на них.

Реб Мойше, сын леловского Довида, женатый на дочери Еврея, сказал следующее:

— Сейчас многие стараются истолковать вещи, которые вот-вот должны случиться. Одни уверяют нас, что уже начались схватки и скоро родится Мессия. Но мы говорим, что нам не дано знать, так это или нет. Другие уверяют, что мы должны влиять мистически на совершающееся в мире, чтобы оно было таким, как им хочется. Но мы здесь верим, что у нас есть только одна обязанность, а именно — повернуться всем своим существом к Богу и пытаться установить Его царство на земле путем справедливости, любви и святости. Третьи упрекают, что мы мешаем им осуществить их планы. Но мы знаем, что все их замыслы только отвлекают нас от нашего подлинного дела. Что в связи с этим можно найти в жизни бердичевского ребе?

Теперь ответил Еврей:

— Когда ребе Леви Ицхак однажды во время Седера читал из Агады и дошел до того места, где рассказано о четвертом сыне, который «не знает, как спросить», ребе вдруг сказал: «Тот, кто не знает, как спросить, ничем не отличается от меня, Леви Ицхака из Бердичева. Я не знаю, как спрашивать Тебя, Господи, а если бы и знал, все равно не смог бы. Как бы я осмелился Тебя спросить, почему все случается так, как случается, и почему из одного изгнания мы переходим в другое и почему наши враги мучают нас? Но в Агаде отцу велено помочь сыну, не знающему, как спросить: «Ты открой это ему!» Тут Агада ссылается на Писание, где сказано: «И ты объяснишь это своему сыну». Но разве я не сын Твой, Господи? И все же я не прошу Тебя открыть мне тайны Твоих путей. Потому что мне не вынести этого знания. Но я прошу Тебя открыть мне глубоко и ясно, что значит для меня все окружающее, чего оно требует от меня и что Ты, Творец мира, хочешь сказать мне этим. И если я должен страдать, то я хочу страдать только ради Тебя!»

Борьба

Повсюду говорили о Пшисхе, особенно в тех семьях, откуда сыновья или молодые мужчины ушли против воли старших к святому Еврею. И сейчас стало уже ясно, что Пшисха противостоит всему хасидскому миру. Зародилась эта неприязнь сначала внутри одной общины, но потом захватила всех. На примерах двух событий, происходивших весной и осенью следующего года, это стало особенно очевидным.

Ребе Борух, внук Баал-Шем-Това, самоуверенно полагал, что он, без сомнения, выше всех цадикиков своего времени. Он считал, что призван надсматривать над всеми. Он и вел себя соответственно. Он рассказывал, что рабби Шимон Бар Йохан⁹, прародитель тайного учения, живший в период составления Талмуда, явился ему во сне и открыл ему, что он «совершенный человек».

— Когда я умру, — говорил он, — цадики запрут передо мной ворота рая. Что же я буду делать? Я сяду перед воротами и буду читать «Книгу Сияния» таким образом, что жизненная сила пронизет все миры. И тогда цадики откроют ворота, чтобы выйти и слушать меня. А я войду и оставлю их снаружи.

Однажды ученик Боруха был в гостях у Еврея и сидел за его столом. Повернувшись к нему, Еврей сказал:

— поприветствуйте вашего учителя от меня словами из Экклезиаста: «Конец всякой вещи услышь». В конце все ступени мистического знания и все чудеса ничего не будут значить, только целое будет иметь значение. А что цело? Простота. И дальше в Экклезиасте говорится: «И это — весь человек». Нам заповедано быть человеком — только

⁹ Шимон Бар Йохан — танай 2-го века н.э., ученик р. Акивы. Один из величайших мудрецов эпохи Мишны, считается основателем мистического учения — Каббалы и автором книги Зоар («Сияние»).

человеком, простым человеком, простым евреем. Я бы отдал этот и грядущий миры за крохотку еврейства.

Вскоре после этого хасид из Люблина принес Еврею письмо от Хозе. Последний когда-то посетил Боруха, и тот ему совсем не понравился. В письме было написано: «Вы поступили правильно».

Еврей долго думал, прежде чем понял, к чему эти слова относятся. Тогда он написал ответ: «То, что я сказал, этому научился я от вас, ребе. Однажды вы с большой уверенностью ожидали наступления последнего времени в какой-то год. Когда этот срок прошел, вы сказали мне: «Простые люди уже давно целиком обратились к Богу, помеха идет не от них, а от людей более высокого уровня. Осознавая свою значительность, они не могут достичь смирения, без которого невозможно и полное обращение»».

Ребе из Люблина прочел эти слова, но не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь произносил что-либо подобное. Ему казалось, что Еврей сам однажды произнес эти слова, а он, ребе, только подтвердил их, потому что ценил смирение выше всех добродетелей. Известно, что Еврей часто не только цитировал учителя, но даже пересказывал по-своему случайно оброненный намек, объясняя, что это и есть слова учителя.

Второй пример — это история, которую Буним часто в последние годы рассказывал ученикам о своем наставнике:

— Однажды утром святой Еврей приказал мне и нескольким другим хасидам отправиться в путешествие. Но о цели его не сказал ни слова. Я не задавал вопросов, и мы уехали. К полудню мы оказались в какой-то деревне и остановились в еврейскую корчму. Я остался в передней комнате, другие входили и выходили, задавая хозяину разные вопросы о мясе, которое он готовил. Они спрашивали, не было ли у животного какого-нибудь недостатка, расспрашивали о личности резника, осведомлялись о том, правильно ли мясо

вымачивали и солили. Тут вдруг поднялся человек в лохмотьях, который сидел за печкой, в руке он держал дорожный посох. Он заговорил: «О вы, хасиды! Вы хлопчете так, чтобы узнать, достаточно ли чисто было существо, чтобы войти в ваши глотки. Гораздо меньше вас заботит, чисто ли то, что исходит из ваших уст». Я подошел ближе, чтобы рассмотреть этого человека. Но он уже исчез, как всегда исчезает Илия, выполнив свою миссию. И тут мы поняли, зачем учитель послал нас в эту поездку, и вернулись в Пшисху.

Послания

В ноябре этого же года реб Бениамин записал в своей книге:

Раньше я был писцом у ребе, потому что ему нравился мой почерк, но вот уже три года и несколько месяцев, как он отказался от моих услуг. Однако вчера вечером неожиданно он вызвал меня — потребовалось записать что-то.

Когда я вошел в комнату ребе, он сидел за столом, на котором горели три свечи. Было ясно, что он не видит меня. Я взглянул на него и испугался, потому что руки его дрожали. Он положил их на стол. Никогда не видел и не упомяну, чтобы руки его дрожали. Но они дрожали все больше. Тут он сам заметил это. Руки успокоились. Тут он поглядел на меня. Он смотрел долго, будто не узнавая. Потом он указал на два заранее приготовленных больших листа на маленьком столике, дал мне только что очиненное перо и приказал писать то, что продиктует.

На первом листе я написал что-то в этом роде:

«Властителю Севера (далее пропуск для неизвестного мне тайного имени).

Северному Императору должно быть сказано во сне:

Пришел час, когда ты должен отвернуться от человека, который мгновенно разрушит все твои планы, ежели станет властителем всех морей... Только в противоборстве с ним ты можешь достичь желаемой цели: полной гегемонии твоей империи на континенте, сможешь присоединить родственные народы и восстановить достоинство народа и трона, возродить под твоим главенством справедливость, которая была попрана. Рядом с ним ты будешь угасать и уничтожаться; пойдя против него, ты станешь господином будущего».

На втором листе я написал:

«Властителю Запада (опять пропуск для очень длинного сокровенного имени).

Сидонцу, предводителю войск и ныне правителю Запада, скажи во сне:

Пришел час, когда ты должен перестать доверять человеку, который называет себя твоим другом, а сам тайно возмущает народы против тебя. Тебе не завладеть всеми морями, пока он не перестанет сговариваться за твоей спиной с твоими врагами. Твоя великая мечта о возрождении Востока под твоим знаменем не исполнится, пока он строит против тебя козни, притворяясь твоим союзником. Даже то, что ты уже завоевал, должно быть защищено от него. Если ты этого не сделаешь, то после твоей смерти вся твоя империя рухнет».

Когда я закончил записывать, ребе взял листы, перечел их, потом окунул перо в чернильницу и вписал недостающие имена. Потом он подсушил чернила на пламени свечи, горевшей в центре стола, и сложил их. После этого он велел мне сжечь первый лист на правой свече и пепел собрать в оловянный сосуд. А потом второй лист — на левой свече и пепел собрать в медный сосуд. У обоих сосудов были крышки. Он сказал:

— Теперь возьми оловянный кувшин в правую руку, а медный — в левую, а потом я открою тебе дверь, и ты пройдешь через нее, а затем я открою тебе ворота, и ты пройдешь через них и выйдешь на улицу.

Я спросил:

— А потом куда мне идти, ребе, и что мне делать?

— Я пойду перед тобой, — ответил он.

Когда мы вышли из ворот, ребе остановился. Он резко повернул голову направо, потом налево. Луна была в полной силе.

— Где восток? — спросил он неожиданно.

— Разве вы еще не читали вечерние молитвы? — спросил я, потрясенный, потому что не мог иначе истолковать его слова, как то, что он хочет повернуться лицом к востоку и прочитать молитву.

— Покажи! — крикнул он нетерпеливо.

Я показал ему. Но он пошел, сделав мне знак следовать за ним, не на восток, а на северо-запад. Он шел неверной и неровной походкой. Мы прошли через город до Чеховерского пруда. Здесь он остановился, я тоже. Он наклонился над водой.

— Бениамин! — крикнул он, как будто не видя меня.

— Я здесь, ребе, — откликнулся я.

— Бениамин, — сказал он, — поставь кувшины на землю.

Я повиновался.

— Возьми теперь оловянный кувшин и высыпь пепел в воду.

Я так и сделал.

Внезапно ребе поскользнулся и чуть не упал в пруд. Я еле успел подхватить его. Он опять впился в меня долгим взглядом.

— Где восток? — спросил он настойчиво.

Я был так растерян, что не сразу сообразил, где восток.

— Возьми оба кувшина, пустой и полный, — сказал он.

Мы пошли на юг и дошли до Краковского предместья. Тут мы повернули на запад и опять долго шли, пока не достигли огромного, поросшего мхом камня. Здесь он остановился, я последовал его примеру. Он положил руку на влажный мох и так держал ее некоторое время. Я заметил, что рука снова задрожала, но в этот раз он не обращал на это никакого внимания. Он выпрямился.

— Бениамин, — сказал он, — поставь оба кувшина на землю.

Я выполнил приказание.

— Возьми медный кувшин и высыпь пепел на камень.

Я повиновался. До этого момента погода стояла ясная и тихая. Но в это мгновение вдруг появился невесть откуда смерч, подхватил пепел и унес. Ребе содрогнулся.

— Бениамин, — сказал он, — забирай кувшины и пойдем.

Мы пошли домой. Ребе то шел обыкновенной твердой походкой, то вдруг покачивался. Мы вошли в комнату, я поставил кувшины на место.

— Ты должен знать, Бениамин, — сказал ребе тихо, — что с этого часа ты посвящен в тайну и не должен открывать никому то, чему был свидетелем и что сам делал.

Я попрощался и ушел. Я не думаю, что открываю тайну, доверяя его этой книге, я ведь не собираюсь ее никому читать.

Большое путешествие

С той ночи, как Еврею явились Шехина и два крылатых существа, в его речи появилась новая присказка. Он часто говорил: «Искупление близко». Но всегда он сразу же говорил и об обращении к Богу, добавляя: «Оно зависит от нашего покаяния, от нашего возвращения к добру». Как же было совместить эти два противоположные высказывания? С од-

ной стороны, последние дни близко, а с другой — все зависит от нас. Их можно было понять и совместить через понятие мистического единства — эта тайна приоткрывается не иначе как всей его жизнью и смертью. Мой скромный вклад в толкование таков: последний день близок, занимается рассвет этого дня, который принесет избавление и искупление, но человек должен ждать этого часа, не пропустить его, а это зависит от поворота всего человеческого существа к Богу, что мы и называем покаянием.

С той ночи часто с губ Еврея срывался крик: «Возвращайтесь к Богу, — кричал он, — как можно быстрее! Времени мало, уже не нужно скитаться раз за разом в новых телах, искупление рядом». То есть теперь у человека со всем его несовершенством и оторванностью от Бога не осталось прежней надежды на исправление в другой жизни, в другом духовном странствии. Время коротко, и надо решать судьбу своей души сейчас. Он говорил это, обращаясь к каждому человеку с его сложностями и бедой, и в то же время он обращался ко всем. С той ночи это выражение «Время приблизилось» приобрело для него другое значение.

Теперь я расскажу о странном путешествии, предпринятом Евреем этим летом, уже после получения писем от Хозе.

Прошлой весной он посетил Магида из Козниц. Увидев его, Еврей сказал себе: «Он выглядит, как старый ангел, если ангелы могут стареть. Мы представляем себе, что у ангелов лица гладкие. Но те, кого посылают на землю, могут и не иметь гладких лиц, ведь они разделяют наши горести, и от этого у них тоже появляются морщины».

Тут Магид сказал ему:

— Ты знаешь, Еврей, что я всегда стою перед Богом, как мальчик на посылках. Но я никак не могу вырвать из сердца гнев. — Помолчав, он добавил: — Приближается поворотная точка.

Он заметил, что Еврей понял эти слова в мессианском смысле, и поторопился сказать:

— Сейчас много разговоров о том, что уже начались родильные схватки. Но я не об этом говорю. Есть вещи, о которых мы ничего не знаем, и молчание здесь более уместно.

Он сделал паузу и сказал:

— Я говорю о том злодее, которого многие считают Гогом. Я об этом ничего не знаю и знать не желаю. Один Бог знает, когда придет это время. Мне кажется, что оно еще не созрело. Во всяком случае, не наше это дело усиливать этого злодея, чтобы он стал еще могущественней. Скорее уж, мы должны противостоять этому дракону, убивающему людей и отравляющему их души, мы должны крикнуть: «Ты падешь!» А сейчас он совсем приблизился к нам. Он внушает народу, среди которого мы живем, несбыточные мечты. Раньше этот народ верил ему, но теперь вся источаемая им лесь пропадает впустую. Отдельные люди пойдут за ним, но не весь народ. И среди других народов немного таких, кто возлагает на него надежду. И это значит, что поворотная точка его судьбы пройдена.

Помолчав, он добавил:

— Нужно прекратить всякие попытки предотвратить его падение, а они делаются еще, делаются с нашей стороны. Все, что строится в его пользу, все падет вместе с ним. И раздавит того, кто строит. Мы все погибнем, потому что мы все связаны меж собой. Тяжесть этого нечестивца, нами же увеличенная, нас и погубит. Погибнет дело Баал-Шем-Това, потому что его ученики предали его. Он пришел, чтобы победить зло человеческой души, но тот, кто старается помочь злой власти, увеличивает зло в мире и в человеческой душе.

Он замолчал; казалось, речь утомила его. Но вдруг как будто новая сила влилась в него.

— Люблинский ребе упорствует в своих намерениях. Сам по себе он не оставит их. Нужно дать ему знать, что его

друзья не пойдут с ним по этому последнему и решающему отрезку пути. Что касается меня, он это знает. Но я могу только сказать ему правду. Вы, другие, должны сделать больше. Поезжайте в Риманов и скажите ребѣ Менделю, что нужно что-то сделать.

С сомнением посмотрел на него Еврей, но не мог возражать. Он понял, что между ним и этим семидесятилетним, состарившимся в страданиях ангелом существовала глубокая связь, невыразимая обычными словами.

— Вы пожелаете отправиться в это путешествие?

— Да, пожелаю, — ответил Еврей.

— Благослови тебя Господь, сын мой. Я дам вам еще одно наставление в дорогу, но не знаю, пригодится ли оно. — И он добавил чуть погодя: — Написано: «Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам». Пророк говорит о том, что те, кто обращаются к Богу, должны думать не только о спасении своих душ или исправлении самых корней души, этого мало, потому что это все равно относится к области заботы о себе. Истинное служение в том, чтобы вернуть Шехину из изгнания и народ Еврейский из своего изгнания, вернуть их Богу. Поэтому и говорится: «Обратитесь ко Мне», то есть заботьтесь не о себе, а и обо Мне. «Тогда Я верну вам душу, ум и жизненную силу», то есть «обращусь к вам».

— Мне это пригодится, — сказал Еврей, — но я не буду говорить об этом другим людям, которым свойственно заботиться только о своем спасении.

Вернувшись из Козниц, Еврей стал готовиться к поездке в Риманов. Эта поездка казалась ему странной. В юности он просто странствовал без всякой цели. Позднее ездил к учителям. Эта же дальняя, по его понятиям, поездка в Западную Галицию предпринималась непонятно зачем. Но часто смысл путешествия бывает в самом путешествии. Его сопровождали Перец, Буним и Иерамихель.

Они ехали не торопясь, останавливаясь по пути в каждом городке. Эта поездка превратилась в триумфальное шествие и показала, как глубоко движение к живому благочестию, которое называется хасидизмом, укоренилось в народе. Но Еврей меньше всего стремился упиваться триумфом. Для него каждое село по дороге было новой Пшисхой, и он стремился за несколько часов сделать то, что семнадцать лет пытался ввести в Пшисхе. И ему это удалось. Везде, где он побывал, усиливались мессианские ожидания и стремление покаяться. Его слова производили такое действие, но и молчание тоже, его страстная настойчивость, но и его сдержанность. Через поколения сохранялась живая память о нем (а в некоторых местах по сей день). Но сам Еврей не был доволен. «Да, я пробуждаю людей, — говорил он Буниму, — но я не могу посадить их на плечи и нести. Времени мало. А их так много! Мне бы надо рассылать повсюду учеников. Но люди не поверят им, как мне. Почему, собственно? Потому что они не знамениты? Какая жалкая вещь эта слава! Как хорошо я понимаю Магида из Межерича, который, прославившись, просил Бога объяснить ему, за какой грех он так наказан».

Они останавливались и в Ропшинице. Там ребе Нафтоли, тоже уже достаточно известный, вышел ему навстречу и даже запретил своим ученикам выказывать в присутствии Еврея почести кому бы то ни было другому, в том числе и себе самому. Мы догадываемся, что подтолкнуло Нафтоли к этому. Его прозорливость делала для него весь мир ареной борьбы чуда с античудом, силы с силой; если бы речь шла не о таких святых людях, то мы сказали бы, магии с другой магией. Это на опыте испытали в Люблине, и об этом говорили в Пшисхе: Еврей — противодействующая сила. В последнее время она еще усилилась, и теперь, когда он явился во всей мощи, противники его боялись, что теперь-то он с ними рассчитает-

ся. И поэтому старались скрыть все уязвимые места. Этого следовало избежать любой ценой. Нафтоли даже не осмеливался войти в свой собственный дом без разрешения Еврея. Он вел себя совершенно как ученик его, и скорее как гость, чем хозяин. Еврей был поражен этой переменной в его поведении. Он посетил его мать и разговаривал с ней о делах общины, причем Нафтоли страшно боялся, что она скажет что-нибудь не то. Но все обошлось. Потом Еврей сказал, что завтра собирается в Риманов.

Назавтра вся дорога в Риманов была забита повозками и телегами, а также пешими, пришедшими увидеть Еврея. Его коляска с трудом двигалась в этом столпотворении. Люди сидели на стенах и крышах. Шестилетний сын ребе Менахема Менделя прибежал к деду с криком: «Мессия явился!» Этот суровый человек, которого оскорблял малейший отход от установленного хода вещей, был раздражен таким всеобщим переполохом, символизировавшим в его глазах испорченность времени. Выглянув из окна, он открыто выразил свое недовольство. Но все-таки вышел навстречу гостям. Он приветствовал их со сдержанным дружелюбием, характерным для него. Его истинное отношение к кому бы то ни было всегда отражалось на лице реб Гирша, «слуги», который начинал как подмастерье портного, но затем стал учиться, долго и восторженно поклонялся ребе, делал большие успехи, и говорили, что он станет его наследником. Когда Еврей подъехал, «слуга» стоял у ворот и едва поздоровался, будто с извозчиком, всем своим видом выражая презрение.

Позже в тот же день Менахем Мендель прислал приглашение с ним отобедать. Когда посланный ушел, Буним сказал Еврею: «Вы обмолвились как-то, ребе, что, когда врач не может вылечить, надо посылать за аптекарем. Вот и послушайте внимательно, что вам скажет аптекарь. Конечно, в срав-

нении с врачом я — то же, что приказчик в сравнении с хозяином. Однако в Германии меня учили, что иногда приказчик знает о товаре и о том, как он продается, лучше хозяина. Так что послушайте меня. За столом он будет просить вас толковать из Торы. Не говорите ни словечка. Верьте мне, не надо этого делать!»

Еврей был слегка удивлен настойчивостью Бунима, но призадумался. Или он сочтет мои слова слишком легкомысленными и будет насмехаться над ними, или, наоборот, впадет в гнев и скажет, что я говорю о таких высоких вещах, о которых не имею права даже и заикаться. Он понял, что здесь не обошлось без Люблина. Но ведь и Магид знал об этом и все же послал меня сюда.

За столом все случилось так, как предвидел Буним. Однако Еврей не стал объяснять свой отказ уклончивыми фразами. Он сказал:

— Я не буду учить за вашим столом, потому что в вашем сердце живет злоба против меня.

Ребе Менахем Мендель посмотрел на него удивленно, но даже с некоторым облегчением.

— Это правда, — сказал он, — я не могу простить вам вашего поведения по отношению к нашему ребе.

— Какой именно поступок вы не можете простить? — спросил Еврей.

— Вы восстали против него, — ответил Менахем Мендель, — вы увели у него учеников и ругали его.

— Кто может свидетельствовать против меня? — спросил Еврей.

Ребе Мендель окинул взглядом сидящих за столом. Трое или четверо из них были известными врагами Еврея. Но они не выразили особого желания высказаться. Иссахар Бер приоткрыл было рот, но Менахем Мендель взмахом руки заставил его молчать и наконец остановил взгляд на Нафтоли.

— Ребе Нафтоли будет свидетельствовать против вас, — сказал он.

Нафтоли вздрогнул. Этого он боялся. В следующее мгновение с ним произошло то, к чему он не был подготовлен. Он с юности был чуток ко всему чудесному как к проявлению присутствия Бога здесь, на земле, но с ним самим никогда ничего подобного не случалось. Он вдруг почувствовал идущее из спинного мозга в темя мощное давление, и оно означало приказ, неслышный, но явственный: «Правду!» Тут же в его мозгу зажглись слова: «Я должен говорить правду, я больше не боюсь ее говорить». И сразу необыкновенная ясность мысли, вдохновленная этим внутренним приказом, пронизавшим все его существо, вернулась к нему, и он понял, что то, что ему казалось правдой, и то, что он передавал люблинскому ребе все эти годы, не было правдой. А было чем-то прямо противоположным. В нем исчез всякий страх, он не боялся ни Еврея, ни его противников. Весь страх улетучился, а чувство небывалой свободы охватило его. Не той свободы мышления, которой он прежде так гордился. Эта свобода пришла откуда-то извне и освободила самую глубину его души.

Он поднял голову — все это длилось одно мгновение — и произнес:

— Насколько я знаю, ребе из Пшисхи не виновен перед люблинским ребе.

Сказав это, он увидел, что слабеющие желтоватые глаза Бунима, сидящего напротив, устремлены прямо на него. Он опустил голову. В комнате воцарилось полное молчание. Ребе Менахем Мендель тоже не сказал ни слова. Через минуту они заговорили о других вещах.

После обеда Еврей попросил разрешения удалиться в гостиницу. Его ученики остались еще по просьбе Менахема Менделя. «Вы видели? — спросил он. — Точно как рабби

Зейра¹⁰! Точно как рабби Зейра!» Хасиды, конечно, поняли, что он хочет сказать, а именно, что душа великого талмудиста, переселившегося из Вавилона в Палестину и постившегося сто постов подряд, чтобы забыть учение вавилонской школы, появилась на земле снова в облике Еврея. Но что же объединяло этих двоих? Иссахар Бер вспомнил, как однажды он вошел в комнату Еврея и увидел, что тот, полураздетый, стоит у самого огня перед распахнутой дверцей гудящей раскаленной печи, как будто бестелесный, и не чувствует боли. А разве не рассказывали о рабби Зейра, что он мог сидеть на раскаленном очаге, пока его не окликали, и не обжигался. Нафтоли припомнил историю о том, как рабби Зейра позволял зловредному мяснику, тоже вернувшемуся из Вавилона, бить его всякий раз, когда он покупал у него что-нибудь, терпел боль, не жалуясь и не проклиная его, потому что полагал, что такой существует обычай. Ученики из Пшисхи вспомнили другое: рабби Зейра был в хороших отношениях с шайкой диких и не признающих никакой власти разбойников и надеялся склонить их к покаянию. Разве не так же поступал и учил поступать Еврей? Разве не пытался он взять все зло на свои плечи?

На следующий день между Евреем и Менахемом Менделем состоялась беседа. Еврей сказал:

— Огромный пожар, отблеск коего мы видели в круге небес, приблизился к нам. А вы, вы и люблинский ребе, только

¹⁰ *Рабби Зейра* — палестинский аморай третьего поколения, родившийся в Вавилонии; согласно преданию, прежде, чем отправиться в Святую Землю, р. Зейра постился сто постов, чтобы забыть Тору Вавилона. Рабби Зейра славился праведностью и терпимостью к прегрешениям других, дружил с известными злодеями, надеясь привести их к раскаянию. После смерти Еврея, его ученики вспоминали приведенную в Талмуде историю о том, как после смерти р. Зейры его соседи — разбойники воскликнули: «До сих пор за нас молился р. Зейра, кто же будет теперь молиться за нас?», после чего раскаялись в своих грехах и стали праведниками.

раздуваете пламя. Что станет с нами? Другие народы стараются спастись, а мы, как и прежде, стоим, будто связанные, и станем легкой добычей огня, который наши вожди раздувают.

— И прекрасно, — закричал Менахем Мендель, — пусть еврейская кровь льется рекой, пусть все от Приштыка до Риманова стоят по колено в крови. Тогда только кончится изгнание и придет искупление.

— А если, — возразил Еврей, — если это только огонь разрушения? Бог может его зажечь и раздуть и знает, что он делает. А мы? Кто дал нам право желать прибавления силы зла и увеличивать его? Кто знает, кому мы тогда служим — Искупителю или его врагу? Кто осмелится сказать сегодня о себе слова пророка: «Слово Господа сошло на меня»?

Он продолжал:

— Искупление, говорите вы? Неужели вы не видите тысячи возможностей прямо перед носом у вас служить делу искупления? Взгляните, ребе, вот прямо перед вами огромное дерево тянется к небу из самых глубин земли. Оно покрыто молодыми листьями, каждое из которых — душа одного из сынов Израилевых. Тысячи душ, десятки тысяч, и каждая ждет от вас, ребе, чтобы вы направили ее к свету искупления.

— Слишком поздно, — сказал Менахем Мендель, — уже не время думать об отдельной душе.

— Весь замысел о человеке погибнет, — сказал Еврей, — ежели мы не будем думать о том, как помочь душам, которые рядом, о жизни между душой и душой, и о нашей жизни с ними, и об их жизни совместно со всеми. Мы не сможем ускорить приход искупления, если жизнь не будет искупать жизнь.

Ребе Менахем молчал. А когда он молчал, он опускал глаза, и это сразу заставляло собеседника умолкнуть. Разговор иссяк.

Гирш, «слуга», который всячески выражал Еврею свою неприязнь в доме Менделя и не пошел провожать его до

гостиницы, тем не менее явился туда после вечерней молитвы. Его учитель рано лег спать, как и всегда, чтобы проснуться к полночной молитве. По дороге он узнал, что гости уже уехали, но все-таки дошел до гостиницы. Оказалось, что Еврей с учениками задержались. Он увидел Еврея, садящегося в повозку, и заговорил с ним. Тот ответил ему, и, разговаривая, они стали ходить по улице туда и обратно. Причем Еврей, как он это часто делал, убеждая собеседника, держал его за кушак. Позднее, когда Гирш рассказывал об этом, то говорил: «Он ничего не получил от меня, а я узнал все, что хотел знать». Прощаясь, Гирш попросил Еврея благословить его на то, чтобы он мог молиться с истинным жаром. «Чего ты хочешь больше? — спросил Еврей. — И без того величие и честь ожидают тебя». Вскоре гости уехали.

Свечи на ветру

Реб Бениамин продолжает:

Летом новости о поездке Еврея дошли до нас из Риманова. Ребе велел мне явиться к нему. Как только я вошел, он сказал, не поздоровавшись:

— Запрещаю тебе отныне переступить порог моего дома.

Я ответил:

— Прошу только сказать почему.

— Ты предал меня, ты рассказал о письмах, которые я тебе диктовал.

— Я не предавал. И хоть вы — вождь поколения, а я — больше чем ничто, да будет Господь, Владыка Духов, судьей между нами!

И я вышел. Теперь все мои записи, касающиеся того, что происходило в доме ребе, я вношу с чужих слов.

Ребе Довид рассказал мне, что накануне Судного дня на закате (а в тот год день этот пришелся на субботу) Ребе зажег две свечи и поставил их в подсвечники. Потом он открыл окно и перенес их на подоконник. Они горели очень долго и не гасли. Ребе Довид каждый год проводил Дни трепета в Люблине. А когда они кончились, он, как обычно, пришел попрощаться с ребе. Тот вышел навстречу к нему и сказал: «Доброй недели тебе, дорогой ребе Довид! Вчера я препоясался, чтобы снести две горы, но мне это не удалось!»

Ребе Довид попрощался и уехал в Пшисху, где он привык проводить праздник Суккот. Святой Еврей встретил его на пороге дома и сказал: «Ребе Довид, дорогой друг, послушай, что мне снилось. Ураган пронесся по всему миру, а две свечи стояли на ветру и горели. И одна свеча — это ты, а другая — это я».

Козницы и Наполеон

Накануне Пурима 1812 года Магид из Козниц читал Свиток Эстер. Дойдя до слов, звучащих по-еврейски *parol ti rrol*, что означает «падешь, ты падешь», слова, сказанные Гаману его женой и друзьями, он остановился и воскликнул: «*Napoleon ti rrol*», что означает: «Наполеон, ты падешь». Он помолчал, а потом продолжил чтение.

В то время Наполеон уже принял решение вторгнуться в Россию и для этого, отбирая войска, разделил свою великую армию. Среди первых, кого он позвал с собою, были польские полки под командованием князя Юзефа Понятовского, племянника последнего польского короля. Уже потом, на острове Святой Елены, Наполеон сказал: «Понятовский — вот был истинный король! В нем были все необходимые качества и амбиции, но все-таки он молчал». Это означало, что князь до конца остался верен тому, за кем

пошел, но ничего не просил у своего императора, хоть имел на это право.

В конце марта в Варшаве Понятовский получил приказ о выступлении. В то время он едва оправился от тяжелой болезни. Он сразу же составил завещание «на случай возможной внезапной смерти». Прежде чем объявить сбор, он отправился в короткое путешествие. Говорят, что он поехал в Козницы с единственным спутником, своим телохранителем-евреем. Он уже не в первый раз посещал Магида, всегда умалчивая о содержании их бесед. Но его телохранитель проговорился, что Магид предсказал князю не только исход всей кампании, но также и скорую гибель в бою. Кроме того, он стал называть его маршалом, титулом, который предстояло получить Понятовскому накануне гибели, после того как он отличился в битве под Лейпцигом.

Точно известно только то, что Понятовский, человек по природе очень жизнерадостный, после этой беседы и до самой смерти постоянно был мрачен. Забавно также, что если Чарторыйский посетил Магида в сопровождении коричневой собаки, то Понятовский приехал к нему на темно-серой кобыле. Магид предсказал, что она родит белоснежного жеребенка. Говорят, это и был тот конь, который восемнадцать месяцев спустя бросился со смертельно раненым маршалом в Эльстер.

Через несколько недель Понятовский получил приказ выступить, это было 16 мая. Наполеон находился уже в Дрездене. Солдаты не скрывали, что собираются в поход против России, а потом завоюют и Индию. По всем дорогам разожгли негаснущие костры, чтобы армия могла двигаться и ночью. Наполеон остановился в Дрездене для встречи с австрийским и прусским монархами.

«Одна-две битвы, — заявил он на этой встрече трех императоров, — и я буду в Москве, Александр будет у моих ног».

Утром того же дня, накануне праздника Шавуот, к Магиду пришел ребе Авраам Иеошуа Хешель, друг его юности. Он был одним из тех четырех учеников ребе Элимелеха, каждому из которых тот перед смертью передал одну из своих сил. Аврааму Хешелю он подарил силу произносить слова, исполненные справедливости и утешения. Про него говорили, что у него во рту весы, на которых взвешивают золото. Он не говорил ничего, кроме того, что считал необходимым; правда, иногда он считал самым необходимым странные и загадочные истории. Во всяком случае, с Магидом они обходились почти без слов.

Когда он вошел в комнату, где лежал Магид, они молча обменялись взглядами. Все же ребе Хешель справился о его здоровье.

«Сейчас, — ответил Магид, — я воин. У меня здесь в постели хранятся пять камней, которые юный Давид выбрал для своей пращи, когда вышел навстречу Голиафу, филистимлянину».

Следующий день они посвятили молитве, а ночью, через два часа после полуночи Магид сказал ребе Хешелю: «Помолимся вместе». А было известно, что он стоял на молитве по тринадцать часов. Ранним утром он читал утреннюю молитву, после он читал из Торы, а потом еще то, что относится к праздникам, какие случались, а потом молился с двух часов ночи до трех часов пополудни следующего дня. Когда его просили отдохнуть и прилечь, он отвечал любимым стихом: «Те, кто трудятся для Бога, те укрепляются».

На следующий день, второй день Шавуот, император Александр принял посланника Наполеона. Указывая на карте границу своего азиатского царства, там, где кончается земля, он сказал: «Если Наполеон решится воевать с нами и удача будет не на стороне справедливости, то вот место, где Наполеон будет просить мира». Француз отметил, что «царь был

исполнен мужественной решимости без бравады». И все его поведение было разительно иным, чем прежде.

Четыре месяца спустя, перед Йом-Кипуром, внук Магида, молодой Хаим Йехель, стоял на улице перед домом бабушки. Он был учеником Хозе, но сердце его принадлежало Еврею. Он часто рассказывал, что ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что за человек Еврей. Мысль о непримиримой вражде между Люблином и Пшисхой особенно терзала его в ту ночь. Вернувшись из синагоги, он сидел, как предписано на тот день, в белом кителе, напоминающем саван, и с печалью думал о безвыходности этой вражды и о бессилии своей доброй воли. Наконец он почувствовал невозможность высидеть дома в такую ночь и, как был, в саване, вышел на улицу и стал бродить взад-вперед по улице. Он долго бродил, а когда вернулся и остановился перед домом, то увидел, что в спальне Магида, этажом выше, на потолке мерцает отражение красного зарева. Оно казалось слишком ровным и застывшим, чтобы причиной его мог быть огонь. Но все же это могло быть отблеском пожара. Он побежал наверх и растворил дверь. Комната была погружена в темноту, и Магид спал. Йехель вышел и притворил дверь. Утром он рассказал Магиду об этом.

— Ты видел отсвет моего сна, — сказал тот.

Юноша непонимающе смотрел на него.

— Мне снился князь огня, — сказал старый Магид.

И больше ничего не сказал.

Это была ночь, когда в столичный град Москву вступила армия во главе с Наполеоном и когда бурный ветер осеннего равноденствия разносил из улицы в улицу, из квартала в квартал всежигающее пламя.

Еще через три месяца ребе Нафтоли, как и в 1809 году, предпринял поездку в Риманов, Люблин и Козницы, посещая их в той же последовательности, что и тогда. Когда он узнал

новости о сражении на берегах Березины, чувство, что уже достаточно пролито крови, целиком овладело им. После разговора за столом, происшедшим год назад, он стал другим человеком. Он чувствовал свое бессилие и потому отправился в Римаков. Ребе Менахем Мендель был его учителем еще до Хозе, его нужно было навестить первым. Нафтоли надеялся, что теперь Мендель должен будет понять свою ошибку и его легче будет уговорить применить свои силы к прекращению всеобщего разрушения. Но когда Нафтоли увидел Магида, он был поражен. Весь его облик, который прежде казался отражением небесного мира, был жестоко искажен. Глядя на него, Нафтоли едва осмелился произнести свою просьбу. Магид быстро прервал его:

— Он снова поднимется и покажет им всем!

— Но послушайте, ребе, — возразил Нафтоли, — почему его дело должно быть нашим? Ведь написано: «Не оружием и не силой, но Духом». Можем ли мы вести иную битву, кроме как на стороне Духа против силы?

Но тут он увидел, что ребе вообще не слышит его, а будто прислушивается к каким-то отдаленным звукам.

Тогда он отправился в Люблин. Здесь он был принят совершенно иначе. Ребе встретил его с такой душевной готовностью, как будто знал заранее о его приезде, и сразу же повел к себе наверх. А потом он продолжил разговор, начатый тринадцать лет назад, как будто он был прерван только вчера.

— Помните, я говорил вам, реб Нафтоли, — напомнил он, — что «север» в пророчестве Иезекииля о Гоге имеет буквальное значение? Туда он пойдет прежде, чем взойдет на горы Израильские, и прежде, чем лук будет вырван из его левой руки, а стрелы — из правой и будут разбросаны по земле.

— Мне кажется, ребе, — сказал Нафтоли испытующе, — он уже потерял лук и стрелы.

— Ты ошибаешься, — ответил ребе, — он еще поднимется во всей своей мощи.

— Значит, еще не приблизился конец? — спросил Нафтоли. Его сердце сжалось. Он сам удивился, когда почувствовал это. Потому что у него было крепкое сердце и он почти никогда не чувствовал его. Но ребе прервал молчание, которое длилось несколько мгновений.

— Не будем говорить о конце, — закричал он, — прежде чем он придет!

Тогда Нафтоли сказал то, о чем недавно не мог и помыслить. Повернувшись к ребе, он произнес слова, на которые доселе никто не осмеливался:

— Разве наши мудрецы не предупреждали нас? — сказал он. — Разве они не предупреждали: «Не старайся приблизить конец»?

Глаза ребе из-под поднятых бровей смотрели на него с упреком. Но Нафтоли был непоколебим..

Оттуда он поехал в Козницы. «Как часто, — думал он дорогой, — я собирался в Козницы, но не доезжал до них. До Люблина и Риманова доезжал, а до Козниц нет».

Когда Магид увидел его, то удивился и сказал:

— Что с вами стряслось? Ваше чело сияет, как чистейшее серебро!

Нафтоли понял, что на этот раз отношение ребе к нему переменилось, и это удивило его. Еще ему открылось, что можно ничего не говорить. И что хорошо и правильно, что он, наконец, здесь.

В пятницу вечером, прежде чем прочесть субботний псалом «Хорошо славить Господа!», он сказал:

— Весь мир судачит о том, почему Наполеона прогнали за Березину. Но мы не гадаем об этом, мы утверждаем. — Тут он снова возвысил голос и спел слова псалма: — «Когда нечестивые распространяются, как трава, и делающие неправ-

ду процветают. Но ты восстанешь, Господи, и рассеешь врагов и делающих неправду».

Позже за столом он сказал:

— Нам нет дела до французов и до русских тоже. Мы видим, кто не праведен, кто творит зло и неправду, кто — враг Божий. Мы поднимаемся против той силы, которая порождает и выкармливает не праведность, враждебность к Богу в душах людей. Потому что зло и ложь есть во всех человеческих душах, и в наших тоже. Битва против врагов Бога есть битва против сил, которые порождают зло и неправду, чтобы уничтожить великое, живущее в душе. И когда эти силы расцветают и благоденствуют, мы знаем, что все же они исчезнут. В одно мгновение все силы зла падут и рассыплются. Ты, Господь, встанешь против них в должное время, и нет союза между Богом и Велиалом.

В субботу читался отрывок о том, как Иофор пришел к Моисею. Когда Магид дошел до слов: «Nabol nibbol» — «измучишь и себя и народ сей, который с тобою», — он повторил их трижды и только затем продолжил чтение. В беседе за третьей субботней трапезой он сказал:

— Написано: «Ты измучишь и себя и народ сей, который с тобою». Это говорится и о нас. Мы, хасиды, тоже измучимся, если в наших попытках поторопить всеобщий конец мы пренебрежем борьбой против врагов Бога, каждый в своей душе и своей жизни, и во всех наших душах и жизнях, пока не победим.

«Я, наконец, достиг Козниц», — подумал Нафтоли.

Когда он пришел попроситься, в комнате стоял посланник из Люблина. Нафтоли хотел уйти, но Магид попросил его остаться. Перед ним лежало письмо. Он читал его очень медленно. Было видно, что некоторые места он перечитывает по нескольку раз. Его лицо было печальным, но не гневным. Наконец он сложил письмо.

— Передай моему другу, люблинскому ребе, вот что, — сказал он посланнику. — Не годится такому существу, как человек, отвечать на подобные вопросы. Есть Другой, кому следует отвечать на них.

Обмен притчами

После возвращения Еврея домой из Риманова хасиды Пшисхи теснее сплотились между собой. У них было такое чувство, что они слишком далеко вышли во внешний мир и теперь должны собраться в единое целое. И их внутренняя жизнь стала гораздо интенсивней. Никогда чувство общности между учителями и учениками и между самими учениками не было таким сильным и почти родственным, как в тот год, когда козницкий Магид старался прекратить борьбу Еврея против Наполеона. Стало яснее, чем раньше, что община ничего не сможет изменить вовне, если каждая составляющая ее личность не усовершенствует себя.

В одном Пшисха превосходила Люблин: в рассказывании поучительных историй в час прощания с субботой. Во время трапезы проводов Царицы в Пшисхе не только ребе рассказывал их, но и все остальные. Так, однажды они сидели долгой зимней ночью (это было после поездки Нафтоли в Козницы) и рассказывали притчи. Довид из Лелова в это время тоже гостил у своего старого друга. Начал рассказывать самый молодой.

Эти притчи были действительно притчами, потому что, даже если речь шла о каком-нибудь отдельном человеке, это касалось так или иначе всех, и чем глубже и своеобразней была история, тем больше она затрагивала всех.

Мендель из Томашова сказал, что расскажет историю, слышанную им от бродячего проповедника. Он говорил неторопливо, останавливаясь после каждой фразы.

— Два купца привезли свой товар в один город на одной и той же телеге, но в двух разных, хотя и очень похожих ящиках. В одном ящике, завернутом в материю и бережно укутанном в солому, был заключен маленький ларец с драгоценностями, в другом были железные инструменты. Когда они приехали, ювелир попросил носильщика отнести ящик в дом. Только он хотел расплатиться, как носильщик стал требовать большей платы, чем договаривались, ссылаясь на то, что ящик оказался очень тяжелым. «Мы перепутали ящики, — догадался ювелир, — если этот стал такой тяжелый, значит, он не мой». И вот написано: «А ты, Иаков, не зывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для Меня». Если ты устаешь, ты не для меня трудишься, не обо мне думаешь, говорит Господь. Ибо бремя мое легко.

В восхищении, но и с опаской все повернулись к Еврею. Спокойная серьезность, ясность были написаны на его лице. Взгляд его был взглядом знающего, но покоя в нем не было. Да и ни в ком из них его не было.

Ученики один за другим рассказывали свои истории. Потом очередь дошла до Бунима. Он медленно поднял свои почти слепые глаза и сказал:

— У одного вельможи был великолепный скаковой жеребец, которого он ценил выше всех своих сокровищ и берег как зеницу ока. На дверях конюшни были засовы и запоры, а перед ними стояла стража. Однажды ночью вельможей овладело беспокойство. Он пошел к конюшне. Там сидел сторож, который усиленно размышлял о чем-то.

«О чем ты думаешь?» — спросил вельможа. «Вот я думаю и никак не пойму: вбивают гвоздь, вот его вбили, а куда делось то, что было на его месте?» — «Это прекрасная тема для размышлений», — сказал вельможа и ушел. Но он никак не мог уснуть. Бессонница мучила его, и он опять вернулся к конюшне. Опять сторож размышлял о чем-то.

«О чем ты сейчас думаешь?» — спросил вельможа. «Я думаю, куда девается тесто, когда печется пышка и образуется дырка?» — сказал сторож. «Тут есть о чем подумать», — согласился вельможа. Он снова вернулся домой, но опять ему не спалось. Он пришел к конюшне. Задумчивый сторож опять был погружен в размышления.

«Ну а теперь о чем ты так глубоко задумался?» — «Теперь я думаю вот о чем: замки и засовы целы, я сторожу конюшню, а конь украден. Как это могло случиться?»

Историю приняли с радостными восклицаниями. Она поистине олицетворяла самую сущность учения Пшисхи: всякая мысль, которая отвлекает человека от службы Вечносущему, пуста и иллюзорна.

Последним рассказывал Довид из Лелова. Как всегда, когда он рассказывал, слушатели чувствовали, что выразить его мысль иначе нельзя никак..

— Я, как и Мендель, — сказал он, — только повторю то, о чем мне рассказывали. Каждый год я хожу одной и той же длинной дорогой из Лелова до Лизенска к ребе Элимелеху. И вот однажды иду я по ней, на плечах у меня мешок, а в нем две меры муки для мацы из сбереженной пшеницы, мой подарок к Пасхе. В самом конце этой дороги — лес, через который я проходил знакомой тропой множество раз. Что же вы думаете? На этот раз я сбился с пути. Я туда, сюда, — не вижу выхода. Пролетал час за часом, а я все ходил по замкнутому кругу. Что же, вы думаете, я, наконец, сделал? Я просто заплакал. И вот сижу я и плачу, и вдруг появился откуда-то человек и спрашивает: «Отчего ты плачешь, сынок?» — «Ох! — ответил я, не переставая плакать, — год за годом я хожу по этой дороге к своему учителю, знаю ее, как улицы своего родного города, и вот я заблудился и не знаю, куда мне идти. Я не узнаю ничего, и, наверное, внутри меня что-то не так, как должно быть». — «Успокойся, —

сказал человек, — пойдем со мной, вместе мы найдем дорогу». Едва мы прошли с ним несколько шагов, как лес кончился.

«Теперь ты понимаешь, — спросил этот человек, — что это значит: «вместе»?» — «Теперь я это знаю», — ответил я. «Я тебе скажу кое-что. Оно пригодится тебе в пути, — продолжил он. — Если ты хочешь соединить в одно два куска дерева, ты можешь сделать их сначала абсолютно гладкими. Но можно иначе: если выступы на одном куске войдут в зазоры другого и наоборот, то можно их не сглаживать. Такова истинная общность».

— Да, такова истинная общность! — закричали все.

А Иссахар Бер добавил:

— Этот человек был пророк Илия.

Они говорили, молчали и снова говорили. Наконец попросили самого Еврея рассказать какую-нибудь историю.

— Я с радостью это сделаю, — сказал он с улыбкой, — но сегодня это будет не притча. Один хасид после смерти предстал перед небесным судилищем. У него были сильные защитники, и казалось, что благоприятный исход был обеспечен. Вдруг появился великий ангел и обвинил его в грехе упущения. «Почему ты не сделал того, о чем тебя просили?» — спросили его. Хасид не нашел лучшего ответа: «Мне помешала жена». Ангел рассмеялся: «Хорошенькое оправдание!» Приговор был произнесен. Хасида наказали соразмерно его вине, но и ангелу досталось. Его заставили родиться в человеческом теле на земле и стать мужем какой-то женщины.

И, рассказав эту историю, Еврей сам рассмеялся мягким беззлобным смехом.

Неудачный Седер

За несколько недель до Песах в доме Хозе царила страшная суета. Доверенные люди были разосланы ко всем великим цадикам того времени, которые учились вместе с ним у межеричского Магида, или у ребе Шмельке из Никольсбурга, или у ребе Элимелеха. И только к одному из его собственных учеников послали вестника — к Еврею. Все послания были одинаковы. Всех, кому они предназначались, просили сосредоточиться всей душой на приходе Искупителя во время празднования Седера, сосредоточиться на каждом слове и жесте, причем особенным образом, по поводу чего Хозе сделал специальные предписания. В послании было по минутам указано время, когда начинать праздник и сколько времени уделить каждой его части. С особым напором, почти как заклинание, звучало требование, что все должны действовать в полном единении, несмотря на разделяющие их расстояния, чтобы не было допущено каких-то своевольных слов и действий. Обычно во многом от учителя общины зависело, как проводить этот праздник. В этот же раз избранный круг лиц должен был уничтожить расстояние между ними и проводить праздник как будто бы вместе. То, о чем писал наш летописец Бениамин касательно битвы при Мегиддо, то есть что души всех хасидов, слившись в одну, протягивают могучие руки в темноту, где все решается, — это должно было свершиться сейчас усилиями великих цадиков. Все они должны были сосредоточиться на том, о чем они мечтали и к чему стремились всю свою жизнь, — на приходе искупления. Собственно, такова же была цель и каждого празднования Песах, все они и так старались в эту ночь образовать мост между чудом, которое сотворил Господь, выведя народ из Египта, и новым чудом, которое еще не имело названия. Только в этом смысле

ребѣ мог обращаться к другим, включая Еврея. Многие из тех, кому он доверился, вряд ли могли отказаться от привнесения чего-то личного в празднование, разве только на одну ночь и только по такой просьбе, которая не могла быть высказана никем, кроме признанного вождя поколения.

Ни один из вернувшихся вестников не привез отказа. Магид из Козниц, разумеется, молча выслушал просьбу, но не возразил. Еврей сказал только: «Благодарю Господа, что могу повиноваться». Только один человек реагировал странным образом. Это был ребѣ из Калева, маленького городка на севере Венгрии. Когда ему прочитали послание, он ничего не ответил, а стал напевать себе под нос песенку. Он бросил на письмо, в котором подробно предписывались сложные церемонии, только беглый взгляд. «Хорошо, — сказал он, — мы сделаем все именно так». Этим вестник и вынужден был удовольствоваться.

Ребѣ Ицхак Айзик из Калева все время пел любовные песни. В них говорилось о любви и страданиях разлученных возлюбленных. Он научился им от венгерских пастухов, чье общество любил, потому что в детстве сам был погонщиком гусей. Однако он тонко переделывал эти песни так, чтобы, не искажая их, восстановить их истинный смысл, а именно тот, что источник всякой любви — это любовь Бога к Шехине. Всякая любовь берет в ней начало и освящается в ней.

Пастухи пели о своих далеких возлюбленных. Их разлучал то дремучий лес, то высокие крутые горы, но песня всегда кончалась победой над всеми препятствиями и встречей любящих. Немногое требовалось прибавить к этим мотивам. В самом деле, наше изгнание разве не похоже на блуждание в темном лесу, в котором плутаешь-плутаешь, а выхода не видно? Разве не похоже оно на подъем на высокую гору, за которой еще другие горы, — и конца им не видно? «Ах, знать бы дорогу к

любимой моей! Как птица, как ветер, умчался бы к ней», — пел ребе из Калева. Но дело было не только в самом пении. Каждый его жест выражал глубокое желание разлученных встретиться вновь. Но из всех дней в году Песах был для него самым любимым, потому что это время освобождающей милости. Дочь ребе Гирша из Жидачова, ученика Хозе, которая вышла замуж за сына калевского ребе, рассказывала отцу, что однажды в пасхальную ночь ее свекор ждал до одиннадцати часов, чтобы начать Седер. В этот час он отворил окно.

— Тут, — продолжала она, — к дому подъехала карета, запряженная парой серебристо-белых лошадей, в которой сидели трое пожилых мужчин и четыре немолодые женщины с царственным видом и в царских одеждах. Ребе вышел к ним, и я сама видела, как они обняли его и целовали. Затем я услышала щелканье бича, и карета умчалась. Ребе закрыл окно и сел за праздничный стол. Я не осмелилась спросить, кто это был.

— Это были праотцы и праматери, — сказал ей ребе Гирш. — калевский ребе не мог дожидаться рассвета, когда придет искупление, и в своих молитвах дошел до высшего неба. И вот они спустились к нему, чтобы сказать, что время еще не пришло.

Да и сам Хозе не раз говорил, что нигде в мире не бывает такого света, каким сияет Седер калевского ребе.

Хозе проводил Пасху с большим тщанием, выполняя все предписания, к которым он еще добавил свои собственные. За ужином он, как велит обычай, отвечал на вопрос о жертвенном агнце и завершал диалог обычными словами:

— Это заповедь, предписывающая съедение пасхальной жертвы. Пусть Всемилостивый найдет нас достойными вкушать ее и пусть исполнится написанное: «Не в спешке творите сие, не второпях совершайте. Ибо впереди идет Господь, хранит вас Бог Израилев, как и в дни нашего исхода из земли Еги-

петской. Он явит нам чудеса. Слово Господа осуществится в нашем мире. Рука его поднята и нанесет ужасный удар».

Едва он произнес эти слова, как из его горла вырвался ужасный дикий крик. И все, прежде чем поняли, что происходит, тоже закричали против своей воли.

— Не удалось! — кричал он. — Седер нарушен! Седер испорчен. С самого начала!

Задыхаясь, он откинулся в кресле. Никто не понял его. Помолчав, он прошептал:

— Пшисха! — И спустя некоторое время: — Все потеряно.

Долго он оставался совершенно неподвижным в своем кресле.

Но после полуночи он, как и полагается, принес мацу, отломил афикоман и сказал дрожащим голосом, прежде чем вкусить:

— Вот я готов выполнить заповедь съедения афикомана для воссоединения Святого, благословен будь Он и его Шехины с помощью Скрытого и Тайного во имя всего Израиля.

Потом он произнес благословение. Поклонившись налево, как предписано, в честь спасенных от египетского ига, он все еще дрожащей рукой взял кубок с вином, произнес над ним благословения, выпил его и стал петь песню хвалы — вопреки своему обыкновению, вполголоса. На этом и закончилась церемония. Для всех, кто наблюдал за ней, было ясно, что он говорил и делал все без вдохновения и сосредоточения, какие необходимы в эту ночь, и не так, как он обычно из года в год отмечал этот праздник. Он встал и медленно пошел прочь, покачиваясь и останавливаясь. Но не пожелал, чтобы его поддерживали.

Сразу же после двух дней праздника Хозе разослал гонцов с вопросом о том, как прошел Седер.

Первые новости получили из Пшисхи. Вестник оттуда приехал раньше всех. И вот что там приключилось.

Когда мать Еврея хотела, как всегда, занять место рядом с ним, Шендель вдруг впала в ярость.

— Это мое место! — кричала она. — Я не позволю больше пренебрегать мной!

— О чем ты говоришь, дочка? — спросила старая женщина. — Ты не позволишь мне сесть рядом с сыном?

— Это мое место! Мне полагается тут сидеть! — визжала Шендель.

— Если твое сердце говорит, что так полагается, — отвечала мать, — пожалуйста, я уступлю тебе.

— Слишком поздно, — закричала Шендель еще пуще. — Если вы не уйдете совсем, то я не сяду за стол вообще!

Все смотрели на нее, онемев от изумления. Она ринулась к столу, сорвала с сидений подушки и покрывала и выбросила их в соседнюю комнату. Потом она сама вбежала туда и закрылась на засов. В первый раз люди видели, как Еврей плачет. Хасиды были уже готовы снять с себя свои длинные лапсердаки, чтобы покрыть ими сиденья, но тут Мендель из Томашова бросился к запертым дверям

— Ребецен, — закричал он, — выйди! Взгляни на свое дитя!

В ту же секунду засов был отодвинут, и Шендель ворвалась в комнату. Она увидела, как ее мальчик Нехемия, бледный как смерть, дрожа всем телом, смотрит на плачущего отца. Его старший на двенадцать лет брат Ашер напрасно пытался успокоить шестилетнего малыша. Нехемия тихо вскрикивал, как птица, когда над гнездом парит ястреб. Шендель подбежала к нему. Но едва она схватила его за руку, как он оттолкнул ее, глядя на нее с гневом и страхом. Когда же она попыталась обнять его, он стал отталкивать ее руками и ногами. Мгновение Шендель стояла как громом пораженная. Потом она бросилась в соседнюю комнату, схватила снова подушки и покрывала и начала украшать сиденья. Хасиды

помогали ей. Все уселись. Но тут опять возникла заминка, потому что Шендель теперь стала упрашивать свекровь занять почетное место, а старая женщина упорно отказывалась. Но наконец ее все-таки уговорили. Празднование началось. Еврей старался тщательно выполнить все предписанное Хозе. Но пропущенное время вернуть было уже невозможно.

Вестники, возвращаясь в Люблин, приносили странные вести отовсюду. Везде возникали какие-то помехи. В одном только единственном доме, в знаменитом дворе чернобыльского цадика все шло хорошо — до того момента, когда нужно было найти афикоман. Его так и не смогли отыскать! Он куда-то подевался. Но самое странное известие пришло позже из самой отдаленной местности — из Калева.

Хотя ребе из Калева слушал и читал наставления люблинского ребе на первый взгляд невнимательно, он все же очень старательно начал их выполнять. И он делал все как предписано, за одним исключением: он произносил все на венгерском языке. Так, собственно, он делал всегда. Он говорил по этому поводу:

— Неслучайно все, что должно произнести в эту ночь, называется Агада, что означает «сообщение». Сообщение должно быть понятно всем присутствующим. Я отчитываюсь в этот вечер перед всеми, даже перед бедняком, которого пригласил к столу, даже перед слугами, которые помогают нам. Все должны в этот вечер понимать и чувствовать, что это они лично спаслись от египетского ига.

В Люблине не знали или не подумали об этой особенности калевского ребе. И только когда весть об этом пришла в Люблин, один старый хасид прошептал на ухо своему соседу:

— Ты знаешь, что ребе Шмельке из Никольсбурга в Седер мог слышать, как все его ученики читают Агаду, где бы они ни находились? В тот год, когда его ученик Ицхак Айзик стал калевским цадиком, он сказал: «Как это случи-

лось, что я не слышу, как ребе из Калева читает Агаду? Может ли быть, что он читает ее по-венгерски?»

Хозе выслушал новости из Пшисхи с каким-то странным и напряженным лицом.

— Он был похож, — сказал вестник, — на льва, готовящегося кинуться на свою добычу.

— А ты разве видел когда-нибудь льва? — возразили ему.

— Да, теперь я его видел, — сказал он, и все почувствовали, что это так и есть.

Все остальные известия Хозе принял с одинаковым равнодушием.

На следующий день после Песах Наполеон Бонапарт выступил из Парижа в свой последний поход, который привел к гибели его империи.

Праздник новомесечия

О том, как праздновался в тот год в Люблине день новолуния в месяце Сиван (это конец мая), сохранился рассказ ребе Хаима из Могильниц, внука Магида из Козниц, того самого, который видел однажды пламя в спальне деда в ночь пожара Москвы.

Я стоял совсем рядом со столом, застеленным белоснежной скатертью, за ним сидел ребе, а с ним тридцать цадиков в белых одеяниях и среди них — святой Еврей. Я не мог отвести от него глаз в ту минуту. Лицо его было не похоже ни на какое другое, виденное мной в жизни. Но он был не похож и на самого себя, он изменился с тех пор, как я видел его в последний раз. Лицо его казалось совершенно погасшим, но стоило взглянуть, и вы не могли не увидеть, что оно ослепительно сияет, и меня вдруг озарило: там он будет вождем. Так я стоял и смотрел на него. К еде я не мог притронуться. Как я мог тогда есть?

Ребе окликнул меня:

— Хаим, почему ты не ешь?

Я ответил:

— Потому что не голоден.

И это не было ложью — глаза мои насыщали меня.

Он опять спросил:

— Почему это ты не голоден?

Я молчал.

Ребе не отставал:

— Хаймель, жаль, что не ешь. А ведомо ли тебе, что значит «есть» — есть не ради себя, а ради Бога? Тогда бы ты ел... Ну ладно, я после спрошу Еврея.

Он замолчал, не договорив, только легкая улыбка заиграла на его губах. После ужина он позвал меня к себе.

— Скажи мне, — начал он, — для чего ты явился сюда? Просто провести время? Если бы ты не был внуком Магида и если бы я не был привязан к тебе, я бы запретил тебе отныне сюда являться. Я бы хотел, чтобы мои люди тоже любили тебя, но если ты будешь продолжать в том же духе, они будут плохо говорить о тебе.

Но я знал в сердце своем, что, несмотря ни на что, ребе любил святого Еврея и только против воли приклонял ухо к клевете против него. Поэтому я сразу же пошел к святому Еврею в гостиницу.

Он сказал мне:

— Ну что, дорогой, здорово ребе тебя отругал? Что он сказал тебе?

Я не хотел говорить ему. Уважающий себя человек не должен сплетничать. Тогда он сам повторил все от слова до слова.

— Приободришься, — сказал он, — ты научишься есть, этим нельзя пренебрегать. Но если нам нравится смотреть друг на друга, это надо делать сегодня. И еще я скажу тебе

одну вещь: ты не должен думать, что те, кто преследуют меня, делают это от злого сердца. Сердце человека не зло, только его «представление» таково, когда он сам своевольно отделяет себя от доброты творения, выставляет себя вперед и отрезает дорогу к благу. Это и есть зло. Ведь эти люди, преследуя меня, служат, по их мнению, воле небес. Что они еще имеют в виду? Они хотят, чтобы ребе Иосиф наследовал место отца, тогда как ребе Иосиф давно отказался от этого. Почему они настаивают на этом? Потому что думают, что, если сын наследует отцу, это воля небес. Возможно, они ошибаются. Они ничего не смогут сделать для ребе Иосифа, а что касается меня, я не стою на его пути. Я не стою на пути ни одного человека.

Я посмотрел на него, и я понял его. Мои глаза затуманились, глядя на это спокойное и сияющее лицо. Я не мог больше говорить. Когда я попрощался, он взял меня за руку, и мы вместе вышли за порог гостиницы. Он указал мне на небо.

— Правда, — сказал он, — кажется, будто вовсе нет луны. Так кажется всегда, когда новое созревает и готово родиться.

Последний раз

Вот конец записок ребе Бениамина:

Я пишу это за три дня до Нового года. Рука моя трепещет, как и сердце. Я не знаю, как я осмелюсь записать то, что должен.

Этим летом ребе Меир говорил мне, что ребе время от времени поговаривал о том, что «хочет послать вестника». Я не понимал смысла этих слов. Он часто рассылал гонцов, я и сам был им однажды, о чем мне страшно вспоминать, но он

никогда не говорил об этом заранее. И теперь я не спросил об этом ребе Меира, я перестал задавать лишние вопросы этим людям.

Но вчера святой Еврей (единственный, кого я перед лицом небес могу назвать своим учителем) приехал сюда. Он всегда теперь приезжает перед Новым годом, а сам праздник проводит со своими учениками. Люблинский ребе позвал его, и они долго разговаривали в его комнате. Потом я навестил его в гостинице. Он был бледен и погружен в свои мысли. Я сразу понял, в чем дело.

— Ребе, — спросил я, — что сказал вам люблинский ребе?

— Не надо, Бениамин, — прервал он меня, — об этом нельзя спрашивать.

— Ребе, — настаивал я, — он сказал, что хочет, чтобы вы были его вестником?

Он молчал.

— Ребе, — спросил я опять, — он сказал вам, что после всех этих неудач не знает, что должно делать?

Святой Еврей молчал.

— Ребе, — закричал я, — он вас попросил умереть и принести ему вест с небес?

Он вздрогнул.

— Бениамин, зачем говорить, если ты знаешь?

— Ребе, какой ответ вы дали?

— Бениамин, — ответил он, — я знаю вот уже четыре года, что мне не суждено состариться. Но я надеялся, что у меня будет еще два года до моих пятидесяти лет, чтобы я мог завершить начатое. Но этому суждено остаться незавершенным.

— Сжальтесь над нами, ребе.

— Что же мне делать? — спросил он.

— Не повиноваться ему!

Он слегка ударил меня по руке.

— Разве ты не знаешь, — спросил он, — что значит быть хасидом? Разве хасид отказывается отдать жизнь?

— Но ребе, — возразил я, — как вы можете быть его вестником, если вы всегда были против всех его начинаний?

— Какие глупости ты говоришь, Бениамин, — сказал он и улыбнулся, — да, улыбнулся. — Если человек может принести правдивую весть оттуда, так это уж в самом деле правдивая весть!

Это последняя запись в этой книге. Довольно, и так уж слишком много написано! Не покидай меня, Господи. Господи, не покидай и его, Якова Ицхака, сына Дайки, Твоего слугу! Господи, помоги Твоему миру! Вырви его из рук Гога и Магога!

Перец

За день до Нового года на Переца, брата Иекутиля, ученика Еврея, напала лихорадка, на первый взгляд не предвещавшая ничего серьезного. Но, прежде чем лечь в постель, Перец распорядился своим имуществом. Еврей пришел навестить его, сел у постели и погладил по лбу.

— Твое время еще не пришло, Перец, — сказал он.

— Я знаю это очень хорошо, но позвольте сказать вам кое-что, — попросил тот.

— Говори, — сказал Еврей.

— Мне было видение, — сказал Перец, — что вы скоро должны покинуть землю, а я не желаю без вас оставаться.

На следующий день он умер.

Еврей повинуется

Между Судным днем и праздником Суккот Еврей часто беседовал с учениками. Каждому хасиду он, как всегда, отвечал на любой вопрос или исполнял его желание, и ни у кого не было ощущения, что дни учителя сочтены.

В день праздника он, встав у входа в шалаш, пригласил, как предписывает обычай, праотцев прийти в гости. Потом он вошел в шалаш и молился. Когда он дошел до слов: «И дай мне милость быть в тени Твоих крыльев в час прощания с миром», он трижды поклонился. После этого он сел за стол с учениками и с семью бедняками, которые символизировали присутствие праотцев.

На следующее утро он воззвал к Богу, который «не замедлит пробудить мертвых»; Буним, хоть и был подслеповат, увидел, что у него вена за ухом, которая во время молитвы обычно трепетала, сейчас сильно пульсировала.

Днем Буним пришел в шалаш Еврея. Они долго сидели молча, время от времени взглядывая друг на друга. Иногда брали друг друга за руку. Они знали вдвоем все, что можно знать. Более того, остающийся друг провожал уходящего до узкой высокой тропинки, по которой нельзя идти вдвоем. Здесь они, разделенные, но все равно еще вместе, оглянулись на оставляемый мир. Наконец Еврей прервал молчание.

— Аптекарь, — сказал он, — я оставляю тебе трудную задачу. Она в самом тебе.

Буним склонил голову.

— Ты будешь пытаться отклонить то, что тебе предназначено. Но я скажу тебе то, что однажды ты сказал мне: «Ты будешь вынужден». Больше я об этом не могу сказать.

Позже Еврей вызвал Менделя из Томашова.

— Мендель, — сказал он, — когда меня не станет, будь Буниму другом. Не спрашивай, — сказал он, заметив, что

Мендель пытается что-то сказать. — Я не могу сейчас отвечать. Но слушай. Ребе Буним нуждается в тебе, а ты нуждаешься в нем. Научись у него тому, чему нельзя научиться ни у кого другого. Правильно, ребе сказал о нем, что он мудрец. Но вся его мудрость состоит в любви к миру. И ты, Мендель, ты будешь страдать в этом мире, как и я, только темнее будет твое страдание. С этим ничего не поделаешь, и что тут можно сказать. Но постарайся не озлобиться. Мир и все, кто в нем, поддерживаются благодатью.

На второй день праздника Еврей собрал всех своих учеников и говорил с ними о Хозе.

— Небеса одарили ребе великой мощью, — сказал он, — и ребе неустанно употреблял ее на то, чтобы приблизилось искупление. Даже те, кто противостоит ему, должны почитать его. Мы все его ученики. Мы, Пшисха, стремимся к другой цели, чем Люблин, но мы ничего не достигли бы без него. Если я что-то собой представляю, это благодаря ему. Кто восстает против него, тот и против меня.

В тот вечер все его дети были в шалаше рядом с ним: Иерамихель с женой, две дочери от Фогеле со своими мужьями, Ашер, и его жена, и маленький Нехемия. Шендель сидела рядом со свекровью. С того несчастного Седера она стала странно молчаливой. Еврей говорил с детьми об их делах, давал им советы. К Иерамиелю он обратился особо.

— Чинить часы — хорошее ремесло, — сказал он, — и ты достиг в этом настоящего мастерства. Но не пренебрегай учением и не удаляйся от хасидов. И не будь врагом моему другу Буниму. Помнишь, тебе было десять лет, когда Буним рассказывал забавные истории о Данциге, и ты рассердился на него за то, что они слишком мирские. Когда же он ушел, я сказал тебе, что его слова со дна бездны достигают небесного трона. Не забывай об этом!

Напоследок Еврей обернулся к жене:

— Я уже говорил тебе наедине перед Судным днем и повторяю перед всеми детьми: прости меня!

Шендель хотела что-то сказать, но слезы мешали ей. Она захлебывалась рыданиями.

— Я была плохой женой тебе, Ицикель, — едва выговорила она.

— Ты была хорошей женой, — сказал он. — Ты ревновала к Фогеле. И это было правильно и красиво с твоей стороны.

Наутро молитва целиком захватила Еврея, он впал в экстаз. Это случалось с ним в юности и едва не довело до могилы. Близкие знали эту особенность и оставались рядом, чтобы дать ему подкрепиться, когда силы его истощатся.

Этим утром он молился, как в покаянные дни, шепотом умоляя Искупителя спасти этот мир. Когда пришел Буним, он говорил еле слышно. Он спросил его:

— Буним, ты однажды спросил меня, что означают эти «три часа», о которых говорится в этой молитве: «С шумом и грохотом приближаются три часа. Торопись! Спасись!» И я ответил тебе, что эти три часа безмолвного ужаса наступят после шума и грохота войн Гога и Магога перед приходом Мессии. И их будет труднее вынести, чем шум и смятение этих войн. Только тот, кто вынесет их, увидит Мессию. Но то, что было причиной войн Гога и Магога, именно зло, живущее в человеческих сердцах, не будет целиком изжито этими войнами. И в эти три часа каждый увидит их в своем сердце, как в зеркале, и внутри него произойдет та же война, но теперь в его одинокой душе.

Вечером голос и взор его были спокойны. Очень медленно он много раз повторял слова Овадии: «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Шендель, которая все время была с ним, вышла на минуту, когда ребенок заплакал. Возвращаясь, она услышала

шум падения в шалаше... Она вбежала туда и увидела мужа, лежащего на полу. Он повторял: «Нет никого, кроме Него». И с этими словами он поднял руки, а потом распростер их в стороны, как будто протягивая их кому-то.

Это новое состояние исступления длилось тридцать шесть часов. На рассвете третьего дня, после постоянной молитвы и покаяния, Иерамихель услышал, как он прошептал слова молитвы: «Она как пальмовое дерево. Она будет принесена в жертву Тебе. Она — как овца под топором мясника. Враги обступили ее. Но она все стремится к Тебе. Ярмо повесили ей на шею. Но она все говорила о Единственном. Потащили в изгнание. Били по щекам. Связали руки и ноги. Она терпела Твою боль».

Больше ни звука не было слышно, хотя губы его двигались еще, но все медленней. Потом они замерли. Внезапно Яков Ицхак тихо поднял руки, как будто хотел взять кого-то за руку, и что-то прошептал. Иерамихель прижал ухо к отцовским губам. Он услышал: «Единая, стремящаяся к Единому». И в этот миг поднятые руки соединились.

Разговор

Рассказывают, что в то же утро встретились на дороге краковский ребе Кальман и ребе Шмуэль из Корова, который был учеником Хозе, но тем не менее был привязан к Еврею.

Кальман сказал:

— Я беспокоюсь о жизни Еврея. В этот день может совершиться Единение. Но никто не может совершить это и остаться живым, если это происходит не в Земле Израиля. Мне кажется, что Еврей все же осмелился сделать это.

— Возможно, — сказал Шмуэль, — что приблизился этот день, о котором он знал уже очень давно. И, конечно, он

попытался исполнить то, что нельзя сделать вне Израиля и не умереть. Но когда же это исполнится в Израиле?

Они не продолжали разговор, и каждый пошел своей дорогой.

Плач в Люблине

Ребе Хаим Йехель из Могильницы, внук козницкого Магида, рассказывал следующее:

— Я случайно оказался в Люблине, когда весть об уходе святого Еврея настигла меня. Я зарыдал. Я плакал и не мог остановиться, и, чтобы ребе не увидел и не спросил, почему я плачу, я убежал в лес и там выплакался. Но это все-таки не ускользнуло от внимания ребе. И он вызвал меня к себе. Когда я пришел, он обнял меня и сказал: «Хаймель, ради любви ко мне перестань плакать. После всего, что произошло, мне больше всех не хватает Еврея. Когда мне сказали, что его больше нет, я бросился на груду пепла. У меня никогда не было такого хасида и больше не будет».

Смех леловского Довида

Следующей зимой Довид из Лелова заболел. Знакомый врач пришел к нему. Осмотрев его, он ничего не сказал. А потом отошел в сторону с друзьями Довида и о чем-то шептался. Довид подозревал его.

— Что, ты думаешь, я не знаю, что ты им сказал? Ты им сказал, что дела Довида не очень хороши. Что за разговор? Я собираюсь домой. Что может быть лучше?

Хасиды, стоявшие у его постели, увидели, что он смеется.

— Почему вы смеетесь, ребе? — спросили они.

— Я смеюсь, — ответил он, — потому что люди, которых так беспокоили мы оба, я и Еврей, теперь избавятся от нас обоих.

Он опять засмеялся и объяснил:

— Я смеюсь потому, что трактат «Давид, сын Соломона» не будет никем прочитан до прихода Мессии. Кроме Еврея, никто даже не открывал его, даже ребе.

И опять он засмеялся и сказал:

— Хотите знать, почему я смеюсь? Это я смеюсь для Бога, потому что я принял этот мир таким, каким Он его создал.

Потом он повернулся к стене и перестал дышать.

Незадолго до этого он отдал распоряжение, чтобы после его смерти серебряный кубок для киддуша передали люблинскому ребе. Его сын Мойше, женатый на дочери Еврея, выполнил завещанное. В следующую пятницу, ровно через неделю после смерти ребе Довида, Хозе велел поставить кубок на субботний стол, чтобы произнести над ним благословение. Но, когда он поднял его, его рука задрожала так, что он был вынужден снова поставить его. Так случилось и во второй раз. Только с третьего раза ему удалось поднять кубок и выпить из него.

— Горе, — воскликнул он, — горе нам из-за тех, кто потеряны и незабвенны!

Потом он повернулся к ребе Шимону Немцу, который сидел рядом, и сказал:

— Ребе Шимон, вы — лжец!

Шимон немец встал, ушел и больше не возвращался.

ЭПИЛОГ

Между Люблином и Козницами

Известие о поражении Наполеона не могло не приглушить мессианское настроение среди хасидов. Разумеется, их угнетала не сама его неудача, но мысль о том, что вся земная жизнь снова покати́лась по тем же рельсам. Как будто бы ничего и не случилось. Ничто не предвещало каких-то грандиозных следствий происшедшего. Этот человек, которого многие и человеком не считали, а думали, что это сверхчеловек, пролагавший себе путь, подобно Гогу из земли Магог, по раздавленным и униженным народам. И что же? Такие ужасные события должны были бы стать прелюдией гибели мира. Но ничего не произошло, люди, наконец, смогли жить спокойно повсюду. Они были счастливы, что вернулись домой, что жизнь идет обычным порядком, что смерть приходит так же естественно, как рождение. История кончилась, снова вернулась обычная повседневность. Хасиды наблюдали за ней в полном недоумении. Как могло случиться, что после всего, что произошло, Мессия так и не

пришел? Почему все ухищрения, дерзкие до безумия деяния, о которых говорили шепотом, — все это не имело значения? Стоячая вода будничности разлилась по миру. Где же Бог?

Только в Пшисхе, в Лелове и в других местах, где жили единомышленники, знали, что все идет так, как и должно. Ребе Буним был уже почти слеп, он согласился после долгого сопротивления возглавить хасидов, сказав такое слово: «Никто не идет за Мессией, к нему приходят». И все успокоилось, все знали, что наследство Еврея перешло в верные руки.

В противоположность этому в Риманове настроение было мрачное. Все знали: Менахем Мендель ожидал, что победа Наполеона станет поворотной точкой истории. Один из римановских хасидов утверждал, что Наполеон во время битв всегда видел прямо перед собой маленького красного человечка. Очевидно, это не мог быть не кто иной, как рыжий ребе Мендель. Враги хасидов, которые и так называли Риманов «вторым штабом Наполеона», смеялись и спрашивали, не собирается ли ребе Мендель опять в поход. Хихикали, что выдохлась его победоносная сила. Ребе Мендель ничего не отвечал на эти шутки, которые ученики ему пересказывали. Но своим близким он говаривал: «Молитесь за меня, чтобы я смог пережить следующий год: тогда вы наверняка услышите, как шофар возвестит приход Мессии».

Но самая странная ситуация сложилась в Люблине. Хозе принял новости о поражении Наполеона внешне с полной невозмутимостью. Только отречение Наполеона заметно поколебало его. Две недели он находился в состоянии едва сдерживаемого гнева. «Как лев в клетке», — сказал один из учеников, тот, который на Пасху привез новости из Калева. Со всеми, кто попадался ему на пути, он вел себя так раздраженно, будто это они во всем виноваты. Вскоре пришло известие, что Наполеон сослан на остров Эльбу. Это дало Хозе новую надежду, он сразу повеселел.

«Остров под ногою Сидонца, — сказал он. — Дорога опять открыта».

Очень скоро, на следующей после Шавуот неделе, он поехал в Козницы.

О том, что произошло в тот раз между этими немолодыми людьми, из которых один был огромный и могучий, а второй — маленький и сублильный, известно только со слов внука Магида, Хаима Йехеля.

Они поздоровались и уселись на скамейке перед домом. Хозе сказал, что решил именно сейчас сделать еще одну решительную попытку.

— Эта глава закрыта, — сказал Мендель.

— Главное еще впереди, — возразил Хозе.

— Если еще что-то последует, это будет только комментарий, проливающий свет на то, что уже произошло.

— Истинный смысл еще не проявился.

— У этой главы другой смысл, чем вы думаете, ребе Ицхак.

— Разве не должен весь этот ужас закончиться искупительным часом?

— Все указывает на приход Искупления, но оно придет иначе, чем мы думали.

— Разве вы можете отрицать, что все то, что разыгралось прямо у нас на глазах, похоже на родовые схватки?

Прежде чем Магид ответил, молодой человек, слышавший последние слова, присоединился к ним. Люблинский ребе сразу признал его, хотя человек этот странным образом преждевременно постарел с тех пор, как он его видел. Это был Мендель из Томашова, гостивший на празднике Шавуот. Он сразу заговорил смелее и увереннее, чем раньше.

— Что мы знаем о родовых схватках, предшествующих Его появлению? — закричал он. — Откуда вы знаете, когда он придет? Может быть, это будет, когда никто не зовет и не ждет его. Может быть, в серый день, такой же,

как прочие, когда евреи бегают туда-сюда, запутавшись в паутине своих дел, и все думают о том, что будет через час, и тогда, тогда...

Его голос дрогнул.

— Мендель, — сказал Магид спокойно, — нехорошо мешать разговору, глубокие корни которого, возможно, непостижимы для вас.

— Простите меня, ребе, — сказал Мендель и ушел.

— Вы спрашивали меня, — сказал Магид, поворачиваясь к Хозе, — могу ли я оспорить ваши доводы. Я не могу их опровергать, но и подтвердить их не могу. Нечего тут отрицать и нечего утверждать.

— Помните, ребе, как двадцать лет тому назад вы говорили мне о нарождающемся Левиафане, который пожрет всех рыб?

— А вы спросили, говорю ли я о Гоге.

— А вы ответили, что имя его будет написано, когда мир будет лежать в родовых схватках.

— А вы, в свою очередь, спросили меня: разве то, что происходит, не означает начала этих схваток?

— А вы ответили, что это зависит от того, приготовлено ли место для ребенка.

— Да, это так, — подтвердил Магид. — А приготовлено ли оно? А если приготовлено, то там ли, где должно? На улице? В доме? В сердце?

— Что вы имеете в виду? — спросил Хозе.

— Помните, ребе Ицхак, — ответил Магид, — помните, когда мы расставались, я отдал вам лист с молитвой ребе Элимелеха? Помните, как через пять лет после этого мы сидели с вами весь вечер и говорили о вашем ученике, который теперь мертв? Помните, что через многие годы я сказал вашей жене Бейле, когда она пришла с просьбой молиться о вашем ребенке? И каждый раз это было одно и то же!

Хозе с трудом держал голову прямо. Он молчал.

Какое-то время казалось, что Магид ждет чего-то. Потом он вытянул руку и указательным пальцем коснулся груди сидящего рядом, лицом к нему.

— Он — здесь, — сказал он спокойно. — Помните, как двадцать лет назад (мне об этом рассказал ребе Нафтоли гораздо позже) этот ваш ученик, который сейчас мертв, спросил вас за вашим столом, какова природа Гога? Он спросил: может быть, он существует во внешнем мире потому, что люди позволили ему поселиться в их сердцах? Вот там он и есть, — его указательный палец по-прежнему касался груди Хозе.

Голова Хозе склонилась почти до колен. Он поддерживал ее обеими руками.

Внезапно судорога прошла по всему его телу. Он поднял глаза. Магид теперь указал пальцем на свое сердце.

— И здесь, — сказал он.

Воцарилось долгое молчание.

— Я виноват, — сказал Хозе наконец. — Я всегда говорил: горе поколению, вождь которого — я. Молись за меня, ребе Израиль!

— Я буду молиться за нас, — ответил Магид. — Но не думайте, что я не знаю, как высока была ваша цель в борьбе с учеником, который препятствовал вашим замыслам. Тем не менее вы бросили в небесный огонь земного человека.

В тот день они больше не говорили.

Однако когда утром Хозе вышел, сохраняя свое обычное величественное спокойствие, Магид первый заговорил с ним.

— Я не смогу стать рядом с вами, ребе Ицхак, — сказал он.

— Я желаю только одного, — ответил Хозе, — чтобы в Симхат Тора в Козницах царила бы такая же радость, как в Люблине.

— Хорошо, — сказал Магид задумчиво. — Насколько от меня зависит, здесь будет совершенная радость.

Когда Хозе вернулся в Люблин, он нашел там вместо ответа на письмо, посланное в Риманов по поводу изгнания Наполеона, самого ребе Менахема Менделя. Этот последний, хоть и был человеком крайне сдержанным, бросился, весь горя, к Хозе.

— Он должен быть освобожден, — сказал он.

Магид устраняется

Каждый год в Козницах, так уже было заведено, перед Судным днем все евреи города, мужчины, женщины и дети, собирались у дома Магида. Как только он вышел на порог, все разразилось рыданиями. Они плакали о том, чтобы их грехи были прощены и чтобы им вытянули в небесном суде добрый жребий на следующий год. И сам он тоже заплакал. «Я больше грешник, чем вы», — сказал он и повалился в грязь. Потом они в белых одеждах, мужчины в саванах, пошли все вместе в дом молитвы. Те, кто не попросили прощения у обиженных неосторожным словом, сейчас торопились в синагогу, чтобы найти их там. Но время от времени все, даже маленькие дети, смотрели на Магида. И он, как будто только что не стоял с трудом, шатаясь, на пороге, бодро и ровно, как молодой и пышущий здоровьем, шагал впереди.

Свиток Торы достали из ковчега, подняли и просили прощения у Бога за грехи против его Славы. Читали слова Псалмопевца: «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем — веселие». Слова эти повторяли и повторяли, пока Магид не поднял руку и не прокричал громко: «Радость!» Потом был прочитан отрывок из тайных книг, где Шехина в изгнании уподоблялась женщине во время ее нечистоты, к которой муж не должен приближаться, а потом — прокаженному, который должен жить вдали от людей. Каждый раз,

когда произносилось имя Шехины, Магид вставал на колени и склонялся до самой земли. Прежде он так никогда не делал.

Потом он встал за аналой и, читая «Кол Нидрей» («Все обеты»), дошел до слов: «Прости прегрешения этих людей соразмерно величию Твоей милости, которая была на нас, когда Ты вывел нас из Египта и по сей день...». Но тут он остановился и не смог произнести того, что следовало дальше: «И Господь сказал: Я простил по слову твоему». Он снова вернулся к началу и снова не смог продолжать. Тогда он стал говорить Богу своим словом, идущим из сердца.

— Властитель мира, — сказал он, — величие Твое не известно никому, кроме Тебя одного. И моя слабость тоже никому не известна, только Тебе. И вот первый раз я провел этот день не так, как проводил весь месяц, стоя на молитве. И Ты знаешь, что все, что я делал, я делал не ради себя, а ради народа Израиля. И вот я спрашиваю Тебя, как сделалось возможным, что я, ничтожнейший из смертных, мог на себя взвалить тяжесть грехов моего народа и это было для меня легко, и почему же мне стало трудно произнести слова «простил тебя по слову твоему»? Потом он сказал о цадиках своего поколения, об их заслугах: о чувстве справедливости Менахема Менделя и силе молитвы ребе из Люблина.

— Если в мире не будет людей, которые способны совершить покаяние, — добавил он, — то взгляни на меня, готового, несмотря на всю свою ничтожность, совершить покаяние за весь Израиль. И вот я умоляю Тебя...» — И он снова попытался сказать: «Прости меня...» — и до слов «...и сказал Господь». Опять он остановился, молчал и ждал. Потом он повернулся к людям и громко крикнул: — И Господь сказал: «Я простил по слову твоему».

Через пять дней наступил канун праздника Суккот, при конце которого он должен был по просьбе Хозе молить о

совершенной радости. И в этот день, едва проснувшись, Магид созвал людей и сказал им: «Теперь я усну».

И, сказав это, он уснул навеки.

День радости

В двух своих первых попытках повлиять на ход событий люблинский ребе прибегал к помощи других: в первый раз это были все люблинские хасиды, во второй — все цадики, разбросанные по лицу земли. Они должны были сосредоточить все свои внутренние и внешние силы и одновременно проделывать один и тот же церемониал. В этот раз он попросил немногих, к которым обратился лично, достичь «совершенства в радости».

— Вы думаете, что радость имеет силу? — спросил Меир.

— Ничто не имеет большей силы, — ответил ребе, — особенно в целях единения высших миров, от которого все зависит. Печаль разделяет, радость объединяет.

Он объявил, что избрал для этого день Симхат Тора, потому что после дней суда и покаяния Израиль, избавившись от грехов, может истинно возрадоваться вновь.

Конечно, путь к этому дню проходил через долгий период скорби. Готовясь к этому дню, ребе говорил Меиру и другим, что он приходит в ужас от двух вещей, о которых говорил Моисей: «Ужас охватил меня при виде злобы и гнева».

— Они глядят на меня своими жуткими глазами, — сказал Хозе.

Известно было, что прежде он связывал себя не с Моисеем, но, скорее, с его противником Корахом, могучим бунтарем, которого земля, разверзшись, поглотила. «Мой праотец Корах», — говорил он часто, давая понять, что душа Кораха вернулась к жизни, воплотившись в нем. Не более чем через

две недели после его поездки в Козницы в субботу читался отрывок о Корахе. Он, как и каждый год, в застольной беседе пытался оправдать Кораха, утверждая, что намерение его было доброе; единственное, в чем он был не прав, — что высокомерно гордился своей безгрешностью перед согрешившими Моисеем и Аароном.

На восьмой день праздника Суккот после дневной трапезы ребе пригласил к себе в комнату самых близких. Пили много меду и пустые бутылки ставили на подоконник.

— Если радостно встретим Симхат Тора, то у нас будет и хорошее Девятое Ава.

Все поняли, что он хотел сказать, а именно: что если правильно провести этот осенний праздник, то и летний день месяца Ава, день великой скорби по поводу разрушения Храма и святого города, превратится в день радости, а это возможно только после прихода Мессии. Никогда прежде он не говорил, что день спасения так близок.

Наступил вечер. Как и каждый год, свитки Торы были вынуты из ковчега, и вожди общины во главе с ребе, каждый со свитком в руках, танцуя и радуясь, семь раз обошли помост. Они пели: «Ангелы собрались вместе, каждый напротив другого, и каждый сказал другому: кто это, кто протянул свою руку к трону? Он был в облаке! Кто поднялся на вершину? Кто поднялся на вершину? Кто поднялся на вершину и принес нам крепкий покров? Моисей поднялся на вершину, Моисей поднялся на вершину, Моисей поднялся на вершину, Он принес нам крепкий покров».

О смерти Магида ребе еще не знал. Хотя в Люблине уже знали об этом, но скрывали от него.

После танцев, песен и молитв хасиды собрались за огромным праздничным и пышным столом. Какое-то время ребе был с ними. Потом он попросил самых близких либо пройти в его комнату, либо стоять на ее пороге и внимательно на-

блюдать за ним. Странно, но они как будто не поняли его слов. Они кивали, но не тронулись со своих мест. Он повторял свое повеление еще и еще. Они кивали и соглашались, а один даже крикнул: «Да, да, ребе!» Но все они продолжали пить и шумно веселиться. Он смотрел на них в изумлении, но они не замечали этого. Тогда он пошел к себе и попросил Бейлю наблюдать за ним. Она проводила его в комнату.

Часом позже Бейля услышала стук в дверь, слабый, но настойчивый. Она услышала плач ребенка за дверью и узнала голос. Растворив дверь, она выбежала наружу. Там никого не было. Когда она вернулась, комната ребе была пуста. Она стала искать его по всему дому. Напрасно. Тогда она подняла тревогу, и все хасиды поспешили в комнату ребе. Никого там не было, и все было как обычно. На подоконнике, который был на высоте человеческого плеча, стояли ряды пустых бутылок. Трехстворчатое окно было закрыто. Только маленькая форточка посередине, в которую обычно смотрел ребе, когда хотел увидеть нечто недоступное обычному человеческому зрению, была открыта, как в тот день, когда он увидел Бейлю в Лемберге в разноцветном платье.

После долгих поисков один из хасидов, вышедший на улицу и обходивший дом на довольно большом расстоянии, услышал слабые стоны, идущие как будто из земли.

— Кто здесь?

Он услышал слабый голос:

— Яков Ицхак, сын женщины, по имени Матель.

Хасид завизжал от ужаса и стал, как безумный, бегать взад и вперед. Скоро пришли остальные и окружили простертого на земле ребе. Близкие стали бросать жребий, кому за что братья при переносе тела, — кому за ноги, кому за туловище и кому за голову. Жребий поддерживать голову выпал Шмуэлю из Корова, который был горячим сторонником Еврея. Когда уже понесли, он увидел, что губы ребе двигаются. Он

наклонил к ним ухо и услышал слова Псалма полуночных жалоб: «Бездна бездну призывает». На часах был как раз тот миг, когда ребе каждую ночь читал этот псалом.

Послали за доктором Бернардом, знаменитым врачом, который был обращен Довидом Леловским и стал пламенным хасидом. Он даже хотел оставить свою практику и жить при дворе Хозе, но тот сам отговорил его, сказав, что он должен делать то, что делает, только теперь правильным образом.

Бернард спросил, чувствует ли ребе где-нибудь боль.

— Чувствую боль в левом бедре, — ответил тот с трудом. — Вся «другая сторона» набросилась на меня. Мне переломали бы все кости, если бы Магид не бросил на меня покрывало. Почему не сказали мне, что Магид умер? Я узнал это, увидев его. Знай я это раньше, я бы не стал заходить так далеко. — Потом он добавил: — Еврей присматривал за мной. Он бы не дал мне пасть. — И, опять помолчав, с огромным трудом, но очень ясно он сказал: — Очень давно, когда Магид, я и другие собрались в доме ребе Элимелеха, он пришел из синагоги и прохаживался, изредка взглядывая в лицо каждому. Наконец он сказал мне: «Не переставай произносить слова молитвы: “Не оставь меня во время старости!”»

Ребе замолк и больше говорить был не в состоянии. Спросили врача, есть ли надежда. Он покачал головой, говорить он не мог.

Но ребе жил еще сорок четыре недели, до самого Девятого Ава.

Конец хроники

Когда новость о несчастье распространилась, все цадики, которые были учениками ребе, отовсюду поспешили в Люблин. Они остались там, день за днем они приходили к учите-

лю и сидели у его постели. Не приехал только Нафтоли из Ропшиц, хотя он был сразу же оповещен о случившемся.

Осенью и зимой, казалось, болезнь отступила. Уже был близок Пурим, когда ребе неожиданно рассказали о том, что Наполеон вернулся во Францию, и тут ему сразу стало хуже. Специального гонца отправили в Ропшицы. Вскоре в день новолуния месяца Нисан, за две недели перед праздником Песах, Нафтоли приехал в Люблин. Он оставался там двенадцать дней и все время, даже ночью, не отходил от постели больного. Никто не видел его спящим. Это были дни жертвенных приношений двенадцати вождей колен иудейских, и каждый день соотносился с месяцем года¹¹. На рассвете тринадцатого дня Нафтоли ушел из дома ребе и переселился в гостиницу. Больше он не видел своего учителя.

Когда Нафтоли в день новолуния подошел к постели ребе, тот ласково на него посмотрел, будто они виделись только вчера. Но когда Нафтоли не явился на тринадцатый день месяца Нисан, за день до кануна Песах, ребе сказал Меиру: «Нафтоли знает много, но еще недостаточно».

После Песах Нафтоли отправился домой, но сразу поехал оттуда в Риманов.

В Риманове ребе Менахем Мендель с десятью хасидами продолжал еженочно обходить со свитками Торы вокруг ковчега. И это длилось от праздника Симхат Тора до Хануки — иными словами, девять недель. Утром, когда люди приходили в синагогу к утренней молитве, они сталкивались в дверях с десятью хасидами, идущими домой. Странная жизнь началась в Риманове. Любого приезжего ребе нетерпеливо расспрашивал, что новенького слышно о Наполеоне. Наконец он узнал, что Наполеон бежал с Эльбы. На следующую

¹¹ См. Числа 7.12-83

ночь он опять призвал тех же десять хасидов, и опять возобновилась эта мистическая еженощная церемония.

Ребе Менахем Мендель был упрямым. Если он добивался чего-то, то делал это с невероятной настойчивостью. Правда, очень немного завладевало его волей, но если уж вселялось в него, то изгнать это стремление было уже невозможно. С ранней юности он уверился в том, что спасение произойдет именно в вечер Седера, как и Исход из Египта. Позднее он целиком сосредоточился на совершенно другой идее. Он был уверен, что возвышение узурпатора, породившее огромную энергию власти и побед, должно закончиться взрывом и освобождением. Две вещи: весеннее полнолуние и повторяющиеся сны, в которых он видел лицо человека со спутанными волосами и кожей цвета серы (хотя кожа Наполеона давно приобрела другой оттенок, но ему постоянно снился молодой Наполеон), — эти две вещи определили направление постоянного вдохновенного усилия его упрямого сердца. Он не оставил этого усилия и после несчастья, случившегося с Хозе. Наоборот, теперь ему уже не мешали два его соратника, он вложил в это усилие всю свою силу и способности. Магид был его открытым противником, но он умер, и казалось, что он побежден. Но Хозе в своей последней дерзновенной попытке не смог справиться с мертвым. Теперь настала очередь Менахема Менделя. Два «царских сына», за окнами, за которыми он некогда в видении следил как «мужик», чтобы они не били их друг у друга, ушли и оставили поле битвы ему. Теперь уже послание из Люблина не могло помешать ему. У него преданные помощники, этого было довольно. И император второй раз выступил, чтобы окончательно завоевать мир. Ночь Седера была близка.

В противоположность Хозе, Менахем Мендель не искал помощи и не рассылал вестников и гонцов. Раз есть на земле Израиль, все пламенные души в эту ночь должны подняться над собой и соединиться в высоте в едином желании. А

больше и не нужно ничего. Не нужно предписаний и приказов. Все нужное проявится само собой.

«Вот кубок спасения для Израиля», — сказал ребе Мендель, подняв первую чашу Седера. И больше об этой ночи нечего сказать.

Песах прошел. После праздника Менахем Мендель казался обессиленным. Когда Нафтоли приехал, он нашел его в таком состоянии упадка, что был потрясен. Мендель становился все слабее и к двадцать третьему дню после Песах стал совсем плох. В это утро он погрузился в микву со священными Словами Единения. Потом он сел в свое кресло, как обычно, принимая хасидов и решая разные дела.

— Горе мне, вся тяжесть мира на мне! — вздохнул он с закрытыми глазами. Не открывая их, он повелел, чтобы после его смерти на его гробнице сделали бы окошко, смотрящее на город.

Нафтоли плакал.

— Ребе, — воскликнул он, — научи меня, как узнать, когда придет Мессия!

Ребе Мендель открыл глаза.

— Зеленые черви с железными хоботками нападут на вас перед Его приходом! — крикнул он.

Больше он ничего не произнес. Всем казалось, что он умирает. Но слезные жалобы хасидов еще держали его душу в телесном плену, и он дышал до следующего утра.

Вскоре после Шавуот Хозе послал в Пшисху за Бунимом, который не был в Люблине с тех пор, как умер Еврей. Буним приехал вместе с гонцом. Когда ребе увидел его, не изменившегося ничуть, разве что появились очки, которые помогали ему видеть, несмотря на катаракту, он отослал всех из комнаты.

— Буним, — сказал он, — что означают слова гимна «Приблизьтесь, женихи! Вожди племен»? Кто эти вожди?

— Страх и любовь, — сказал Буним.

— Что такое страх?

— Это когда человек держит в трясущейся руке разум и сердце, и они тоже дрожат, прижавшись друг к другу.

— А что такое любовь?

— Когда рука больше не дрожит и человек протягивает и разум, и сердце к Нему, благословен Он.

— Это так, — сказал Хозе. — Написано: «Они же сказали: «А разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!»» А поляки говорят: «Шлюха не сестра». Почему же братья Дины, когда за нее посватался сын иноплеменного вождя, утверждали, что он хочет сделать ее блудницей? Потому что, когда женщина целиком и исключительно преданна своему мужу сердцем и умом, они — одно, но если это не так, то она — блудница. А в притчах Соломона написано: «Скажи Мудрости: «Ты — сестра моя»». Но шлюха — не сестра. Если Мудрость наша — блудница, она не может быть сестрой. Слава Мудрости, которая не блудит!

Помолчав, он сказал:

— В притчах еще написано: «Как в воде лицо — к лицу, так сердце человека — к человеку. Почему написано «в воде», а не «в зеркале»?

— В воде, — ответил Буним, — лицо отражается, только если наклонишься к ней очень близко. Так же и сердце должно приблизиться к сердцу, чтобы увидеть его.

— Это так, — сказал Хозе. — Подойди ко мне, сын мой Буним.

Буним подошел к постели.

— Буним, — сказал Хозе, — почему беда пересилила меня?

— Ребе, — сказал Буним, — позвольте я расскажу историю. Рав Элиезер из Амстердама отправился по морю в Святую Землю. Налетела буря, и корабль уже тонул. Перед

рассветом ребе Элиезер велел своим приближенным выйти на палубу и трубить в шофар при появлении первых лучей солнца. Они так и сделали, и буря улеглась. Но не подумайте, что намерением рав Элиезера было спасти корабль. На самом деле он был уверен, что корабль утонет. Он просто желал, чтобы он и его ученики перед смертью выполнили святое предписание — дуть в шофар. Если бы он хотел совершить чудо, то они утонули бы.

Помолчав, Хозе сказал:

— Дай мне руку, сын мой Буним.

Буним взял исхудавшую руку в свою.

— Буним, — сказал Хозе, — я понимаю теперь, что небесный суд надо мной состоялся. Но разве человек на земле не судит себя каждую ночь? — И, опять помолчав, прошептал: — Знаешь ли ты, Буним, что я любил твоего друга с первого до последнего часа?

— Я знаю, — ответил Буним.

— Но ты полагаешь, что недостаточно?

— Да, ребе, недостаточно.

— Я стараюсь наверстать это теперь, — сказал Хозе.

Видишь ли ты особый смысл в том, что я теперь стараюсь исправить упущенное?

— Я верю, — сказал Буним, и его твердая рука, держащая слабую руку учителя, дрогнула, — что это имеет огромное значение.

— Но почему же, — спросил Хозе, — они сначала послали мне врага, которого звали Яков Ицхак, а мать его звали Матерь, в чем тут загадка, что не послали сразу его?

Буним задумался. Потом он сказал нерешительно:

— Написано: «Тайное Господа для тех, кто боится Его». С тем, кто боится Его, Господь сообщается путем Тайны.

— Буним, Буним, — воскликнул Хозе, — может ли это быть, что я больше боялся Его, благословен будь Он, чем любил?

Буним опустил голову... Но тут же поднял ее. И через стекла очков из его почти ослепших глаз сияние хлынуло в глаза Хозе. Он мягко сказал:

— Написано: «Мир создан милостью». То, что здесь названо милостью, «хесед», есть взаимная любовь между Господом и его слугами, хасидами. В каждый миг жизни, до самого последнего, мир может быть заново создан для хасида с помощью милости.

Он замолчал. Ребе прошептал так тихо, что Буним едва слышал его:

— Этот друг твой, которого звали так же, как и меня, сказал однажды, что милость подшутила надо мной.

Еще час Буним сидел у постели ребе и держал его за руку.

— Теперь, сын мой Буним, — сказал ребе, — иди домой. Ты не должен здесь больше оставаться.

В субботу, после возвращения Бунима домой, читался раздел «Корах». В застольной беседе он сказал о Корахе:

— В каждом поколении возвращается душа Моисея и душа Кораха. Когда душа Кораха добровольно подчинится душе Моисея, она будет спасена.

Вскоре после этого Нафтоли, вернувшийся домой в Ропшицы после смерти Менахема Менделя, поехал в Люблин. Но он так и не явился к Хозе, несмотря на то, что все ученики требовали от него этого. Говорили, что он ждет от ребе приглашения, но его так и не последовало. Другие, напротив, говорили, что во время первого приезда ребе потребовал от него помощи в новой попытке с помощью Каббалы воздействовать на происходящее, но тот решительно отказался участвовать в чем-нибудь подобном. Во всяком случае, было ясно, что еще во время первого приезда, когда Нафтоли просидел около больного двенадцать дней, между ними разверзлась пропасть.

Через три недели после чтения «Корах» наступил черед читать раздел «Пинхас». Ребе приказал Меиру, происшедшему из левитского рода, читать Тору, и чтобы он читал не только то, что полагается левитам, но и следующий отрывок, где Иошуа становится преемником Моисея. В тот момент, когда он читал слова Моисея, обращенные к Богу: «Да поставит Господь, Бог духа всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря», — в этот самый момент ребе назначил его своим преемником.

Через двадцать четыре дня после этого наступило Девятое Ава.

Накануне, когда начинается траур, новая сила, казалось, влилась в ребе. Голосом, почти таким же, как в лучшие дни, он сказал верным, сидевшим рядом: «В Талмуде говорится, что князь рабби Йуда¹² отказывался считать Девятое Ава днем скорби, если он приходился на субботу. Но мудрецы с ним не согласились. Он считал, что суббота — день благодати и милости, и в этот день никак нельзя поститься. Но мудрые отказались помогать ему. Что значит, что они отказались помогать ему? Отказывались видеть, отказывались слышать? По недостатку разума или доброй воли? И тогда ребе воскликнул: «Мои намерения не ваши, и Мои пути не ваши, как сказал Господь!» Рассказав это, Хозе замолчал и всю ночь не проронил ни слова.

Наутро он попросил Бейлю дать обещание, что она не выйдет замуж за другого. Взамен он обещал ей, что позаботится о том, чтобы на небесах она, когда придет время, жила

¹² Князь рабби Йуда — раби Йегуда ха-Наси (ок.135-ок.220), один из величайших мудрецов в еврейской истории, кодификатор Мишны.

там, где праматери, хоть у нее и нет детей. Она отказалась дать обещание.

(После смерти ребе ни один из раввинов не осмелился на ней жениться. В конце концов она вышла замуж за какого-то жителя соседнего городка Чехов или Винава, где прежде, еще до Люблина, жил ребе. Хасиды относились к ней так явно неприязненно, что она вскоре перестала вообще выходить из дому. Но, когда однажды Шимон Немец приехал в Люблин — в первый раз после смерти Довида из Лелова, она пришла к нему на постоянный двор. В руках у нее была корзина.

— Что вы хотите от меня, — завопила она, выбрасывая из корзины одежду умершего ребенка. — Что они тычут мне в глаза, что Шендель Фрейде больше не вышла замуж? У нее два сына!

После разговора с Бейлей ребе не проронил ни слова до полудня. Его лицо покрылось огненным румянцем, глаза широко раскрылись, как бы в огромном удивлении, он воскликнул: «Слушай, Израиль!» — и умер.

В этот самый миг Нафтоли, вышедший незадолго до того с постоянного двора и медленно шедший по направлению к Широкой улице, ступил на порог дома. Позднее его спрашивали, как это случилось, что он точно знал время смерти ребе. Он ответил:

— Я сидел около ребе те двенадцать дней, что соответствуют двенадцати коленам и месяцам. На пятый день, который соотносится с месяцем Ав, он сказал мне: «Я не вижу дальше Девятого Ава, только до полудня, не дальше». Я подумал, что он имеет в виду то, что Мессия придет в этот день и в это время. Я не стал возражать ему. Но он догадался, что я не разделяю этого мнения, и больше ничего не говорил. Я сразу понял, что таким образом ему открылась дата его смерти.

(Кстати, с самого начала, как я познакомился с этой хроникой, в которой такое множество событий, меня потрясло

огромное количество дат: даты событий и даты рождений и смертей самых разных людей. Несколько поколений, которые тоже уже прошли земной путь, рассказывали и пересказывали эти истории и сохранили точность временных рамок. Факты и события — плоть и кровь этой хроники. То, что я добавил, можно сравнить с украшениями. Но даты незримо образуют скелет.)

Во главе противников хасидского пути в Люблине стоял официальный главный раввин, сверхученый рав Азриэль Гурвиц, прозванный Железная Голова, из-за его острого ума. Конфликт между ним и Хозе тлел уже многие годы, но достиг своего апогея при их случайной встрече. Раввин спросил:

— Как это случилось, что целые толпы стремятся к вам? Я гораздо учение вас, но меня не осаждают толпы почитателей.

Хозе ответил:

— Я и сам удивляюсь, почему люди ищут меня, чтобы услышать слово Божье, хотя я понимаю свою ничтожность, а не ищут вас, чья ученость может двигать горы. Но все дело в том, что они приходят ко мне, потому что я удивляюсь тому, что они приходят. А к вам они не приходят потому, что вы удивлены, почему они к вам не приходят.

В своем любопытстве Гурвиц дошел до того, что расспрашивал Еврея в последний год его жизни. Когда Хозе умер, его враг сразу позаботился о том, чтобы похоронное братство не дало ему почетного места на кладбище. Когда Нафтоли рассказали об этом, он сказал:

— Уж если я переодевался однажды, чтобы выпить из кубка ребе, то по такому случаю, чтобы он получил почет, которого заслуживает, я сделаю это еще охотнее.

Он оделся в тряпье, связал вместе лопату гробовщика и топор и перекинул их через плечо. Став похожим на наемного рабочего, он отправился в путь. «Так выглядит человек, который идет хоронить ребе», — сказал он сам себе и засме-

ялся. Сначала он нашел могильщиков. Он дал им столько денег, что они устали на него в полном недоумении. Он сказал им, что просит только об одном: когда он даст знак, пусть они копают могилу и не останавливаются, пока не закончат. Они клятвенно ему это обещали. Потом он пошел к габаю похоронного братства. Это было в необычно дождливый день середине лета. Всю ночь и день ливень лил как из ведра, как часто бывает в это время года после коротких гроз. Земля превратилась в грязь. Когда Нафтоли шел к габаю братства, дождь лил всюду и все небо было укрыто черными тучами. Это было в сумерки, и дорога была едва различима.

— Я пришел к вам, — сказал он, подражая речью и повадками неграмотному рабочему, — чтобы вы показали мне, где копать могилу для вожака хасидов. Эти люди такие нахальные! Они требуют почетного места! Ишь ты! Пусть радуются, что им вообще дают могилу!

Габай пошел искать могильщиков, но они, как и думал Нафтоли, не тратили времени даром, истратили деньги на выпивку и валялись пьяные, их было нелегко растолкать. Когда они пришли к воротам кладбища, уже стемнело. Со слабыми фонарями в руках они пробирались через настоящее болото. Нафтоли и габай шли впереди. Нафтоли ходил кругами среди могил, и габай скоро перестал понимать, где он находится. И при этом Нафтоли все время, размахивая руками, говорил:

— Да не все ли равно где! Какая разница! Где ни копай...

Водя их через кусты в разные стороны, он наконец вывел их к заранее тщательно выбранному месту, которое замороженному хозяину показалось достаточно неприглядным.

— Пусть это будет здесь! — воскликнул Нафтоли. — Не все ли равно где!

Измученный и окончательно потерявший соображение старый габай, с бороды, пейсов, бровей и даже ресниц которого ручьем лилась вода, тут же согласился. Нафтоли подмиг-

нул могильщикам и сам начал копать с ними. Они делали это не только потому, что обещали, но и потому, что замерзли, промокли и им хотелось снова поскорей согреться спиртным. За это время габай огляделся и понял, что они находятся совершенно в другом месте, чем он предполагал. И что рядом могила знаменитого раввина шестнадцатого века Шалом Шахны. Нафтоли выбрал это место, потому что в трудные времена Хозе велел своим ученикам молиться на могиле человека, который не поехал умирать в Святую Землю, а остался здесь, в Люблине, чтобы быть ближе к своим людям. Расстроенный габай ругал Нафтоли и могильщиков, но дело уже было сделано.

— Чем я виноват? — отвечал Нафтоли. — Где вы велели, там и копали. Пусть я неграмотный и темный человек, но я знаю, что нельзя так просто бросить свежерытую могилу и рыть другую. Но вы пойдите к раввину, если он разрешит, мне что за дело!

Хозяин побежал к Железной Голове, но тот, как ни желал, не мог изменить предписания и традицию и принужден был оставить все как было.

После похорон Нафтоли задумался: как это может быть, что ребе нет, а мир продолжает существовать? С этого времени он так и не смог избавиться от этой мысли.

Многие хасиды обратились к старшему сыну Хозе, Израилю, и просили его занять отцовское место. Он спокойно и решительно отказался. Тогда обратились ко второму сыну, который все время оставался с отцом, и которому тот доверял многое. Но они не смогли добиться желаемого. Забота о «люблинской школе» легла на Меира, которому ребе незадолго до смерти передал свою мантию. Но Меир жил не в Люблине, а в Апте, городе юности Еврея. Так случилось, что хотя люблинское учение сохранилось, но сама школа умерла вместе с учителем. Когда при ребе Хаиме Йехеле из Мо-

гильниц, внуке Магида, упоминали Люблин, он говорил: «Настоящий Люблин так и не увидел дневного света. Ребенка можно убить во чреве матери».

Рассказывают, что после смерти Шимона Немца его дух вселился в одного мальчика, и его привели к ребе Хаиму Йехелю из Могильниц.

— Я не могу тебе помочь, — сказал он опечаленному духу, — прежде, чем ты не попросишь прощения у сыновей святого Еврея.

Диббук, что значит «прилепившийся» — так называют дух, вселившийся в чье-то тело, — отказался это сделать.

— Тогда, о нечистый, — воскликнул ребе, — ты упадешь на дно бездны!

Диббук испугался и уступил. Посланный человек отвел мальчика к Ашеру, сыну Еврея. Только после того, как сын Еврея простил его, ребе смог помочь ему достичь искупления.

Послесловие

Эта книга, появившись на иврите и в английском переводе, вызвала непонимание у многих читателей и критиков. Необходимо разъяснение, которое, кроме меня, дать некому.

В мои намерения вовсе не входило «суммировать таким своеобразным способом все мое учение». Импульсом к написанию ее послужили объективные факторы, безусловно духовные по своей сути.

Еще в ранней юности я начал пересказывать то, что казалось мне самым важным из необозримой сокровищницы хасидских легенд. Сначала я излагал их с эпическим размахом, потом я старался передавать только необходимое, то есть, применяясь к моему пониманию повествовательности, пытался привести в надлежащий порядок туманные и смутные факты и взаимоотношения. Наконец я сосредоточился на форме, в изобилии встречающейся в хасидской литературе, хотя редко достигающей аутентичной выразительности. А именно на «рассказах о деяниях праведников». Самое главное в этом жанре — неразличимость деяния и высказывания. Эта смесь исключительно точно выражает хасидское стремление к единству внешнего и внутреннего опыта, жизни и учения. Событие должно быть рассказано с предельной сжатостью, подобно максиме, так, чтобы суть возникала из него абсолютно спонтанно.

Я привык отсеивать тот материал, который не мог быть изложен в виде анекдота-притчи или который нельзя было изложить предельно кратко. Смысл моей работы сводился только к пересказу того, что казалось наиболее важным, что просто взывало к тому, чтобы быть рассказанным, но не было поведено миру надлежащим образом, и сделать это было моим долгом.

Трудясь над этим, я наткнулся на целый клубок взаимосвязанных историй. Они, несомненно, образовывали большой

цикл, хоть излагались согласно двум разным и даже противоречащим традициям. Эту группу историй нельзя было обойти, потому что за ними стояли события огромной важности. Материал трактовался как легендарный, но рациональное зерно несомненно присутствовало. А именно: является установленным фактом, что несколько жадиков действительно пытались средствами магии и теургии превратить Наполеона в «Гога и Магога», упомянутого Иезикииелем. Как было предсказано многими эсхатологическими текстами, его кровавое явление в мир должно предшествовать приходу Мессии. Другие же жадики противостояли этим попыткам, предупреждая, что никакие внешние события не могут приблизить искупление, этому может способствовать только внутреннее возвращение всего человечества к Богу. Что особенно удивительно и необыкновенно в этой истории — что все ее участники: и маги, и моралисты — умерли в течение одного года. Не остается сомнений, что духовная сфера, в которую они, как и их противники, были вовлечены, , равно поглотила их. Следовательно, то, что в этом конфликте обе стороны были уничтожены, это не легенда, а эмпирический факт. Центром тяжести этого конфликта был, прежде всего, вопрос, позволено ли оказывать давление на высшие силы, чтобы добиться своих целей, и, затем, может ли быть такое влияние осуществлено магическими средствами или только переменой нашей нравственной жизни? Эти вопросы были не просто предметом спора, они были вопросом жизни и смерти. События эти так конкретны и их значение так глубоко дерзновенно, что я понял: для их изложения нужна другая, более пространный манера. Я коснулся этого в книге «Великий Магид» (1921), когда писал: «Я исключил из этой книги целый пласт событий, образующих единое неделимое целое».

В этом случае метод, которым я пользовался при работе с другими легендами (изложение одного анекдота за дру-

гим), оказался невозможным. Моей задачей было установить между ними внешние и внутренние связи, однако эти связи и в устной, и в письменной традиции были очень фрагментарны. Я должен был попытаться заполнить пустоты этого материала, чтобы создать непрерывность последовательно изложенных событий. «Эпический метод» становился в данном случае необходимым. Но я не мог, как в юности, предаваться буйной фантазии. Я принужден был повиноваться закону внутренних соответствий. Сырье для этого уже существовало, хотя носило характер часто обрывочный, часто это были просто какие-то детали и намеки.

Еще один фактор, изменивший мое отношение к делу, заключался в следующем. Как я уже говорил, речь шла о двух живых традициях. С одной стороны, тенденция магическая, с другой — антимagicкая, иначе говоря, традиция люблинская и традиция школы Пшисхи. Их приверженцы возводили истоки этого спора к сторонникам Саула и приверженцам Давида и, соответственно, искали разрешения древнего конфликта. Каждая сторона рассказывала о событиях и делах, подтверждающих их правоту, трактуя ее согласно своему взгляду на вещи. Я попытался проникнуть в суть каждой из них. Эта попытка могла удалиться только при полном нейтралитете с моей стороны. Я должен был уподобиться автору трагедии, который не примыкает ни к одной из противоборствующих сторон, для кого не существует «добрых и злых», а есть лишь трагическая антиномичность существования. В глубине души я был за Пшисху и против Люблина, тем более что с юности полюбил учение раби Бунима и его самого. И все же я старался непредвзято относиться к ним обоим. Ни один позитивный элемент традиции Люблина не был упущен мною, как и, наоборот, всякая критика Пшисхи принималась во внимание. Несомненно, это было трудной задачей. Ее облегчало одно обстоятельство: всякий, кто глубоко вникал в происхо-

дившее в Люблине, не мог не заметить нечто странное, а именно: тайную склонность к противнику, к «святому Еврею».

К написанию этой книги меня подвигло еще и то, что в период, когда эта тема наиболее властно захватила меня, в последние годы Первой мировой войны, я навестил своего сына, который служил тогда в Польше, и своими глазами увидел места, где происходила эта борьба. Все стало для меня гораздо живее и реальнее.

И все же две попытки написать книгу не удались. Я отложил свои наброски, не очень веря, что когда-нибудь осуществлю свой замысел, но все же питая на это слабую надежду. Потому что из опыта я знаю, что книги, которые суждено написать, зреют сами по себе и тем больше, чем меньше ты думаешь о них, так что под конец они сами являют свою внутреннюю готовность и их надо, в определенном смысле, просто перенести на бумагу.

Позднее, когда я поселился в Иерусалиме, начало Второй мировой войны, атмосфера глобального кризиса, чудовищная тяжесть противоборства и проявления ложного мессианизма с обеих сторон, еще более послужили созреванию этой книги.

Последним импульсом стал сон — видение ложного вестника в виде демона с крыльями летучей мыши и с чертами юдаизированного Геббельса. Я стал писать очень быстро — только теперь не по-немецки, а на иврите (немецкая версия была создана позже), так быстро, как будто я переписывал с какого-то готового текста. Все стояло перед моими глазами, и все увязывалось между собой.

Моей целью отнюдь не было иллюстрировать таким образом «мое учение». Конечно, я должен был дополнить и расширить философию моих персонажей, но я делал это, основываясь на документах; я мог это делать, потому что несомненно чувствовал живое тождество этих людей с самим собой. Когда впервые в юности я познакомился с хасидски-

ми сочинениями, я воспринял их с хасидским же энтузиазмом. Я — польский еврей. Конечно, моя семья принадлежала к просветительскому направлению в еврействе, но безусловно, что в самый восприимчивый период моего детства хасидская атмосфера глубоко повлияла на меня. Есть и другие, менее ощутимые нити. Во всяком случае, я глубоко убежден, что, живи я в такое время, когда боролся с тем, что исходило от живого Слова Божия, а не от его карикатур, я бы, как многие другие, бежал из родительского дома и стал бы хасидом. Но в эпоху, когда я появился на свет, это стало уже невозможным. Другое поколение, другая ситуация — все изменилось снаружи и внутри. Однако мечта об этом жила во мне. Мое сердце сегодня с теми в Израиле, кто одинаково далек от слепого традиционализма и от слепого его отрицания, с теми, кто стремится к обновлению веры и жизни. Это хасидское стремление, и оно имеет место в такой исторический момент, когда медленно тающий свет уступает место тьме. Без сомнения, не весь мой духовный мир принадлежит хасидизму. Нет, скорее, я с теми, кто хочет возродить прошлое, чтобы трансформировать его в новую реальность. Но мои корни там, и стремления мои берут начало там же. «Тора предупреждает нас, — сказал ученик святого Еврея и раби Бунима, раби Менахем Мендель из Коцка, — не сотворишь себе кумира даже из Божьего повеления». Что добавишь к этим словам!

Меня упрекали еще в том, что я, сознательно или нет, изменил фигуру святого Еврея, как бы «христианизировав» его. Я отвечаю, что не добавил ни одной черты к образу этого человека, которой не было бы в рассказах и легендах о нем, сохранивших его высказывания, близкие к духу Евангелия. Если в этой книге Еврей чем-то напоминает Христа, то это не потому, что мне так хотелось, а потому, что так и было в реальности. Таков был образ жизни страдающих «слуг Бо-

жьих». По моему мнению, жизнь Иисуса не может быть понята вне того факта (на который, кстати, указывали и христианские теологи, и особенно Альберт Швейцер), что на него оказала влияние концепция «слуги Божьего» в том виде, как мы находим ее у Исайи. Но он восстал из сокрытости «колчана» (Исайя. 49:2), а святой Еврей остался внутри него. Тут важно представить себе зрительно руку, острящую стрелу и потом прячущую ее в темноту колчана, и стрелу, которая просто лежит среди других в темноте.

У меня нет «доктрины». Моя функция — лишь указывать на реальности этого порядка. Тот, кто ожидает от меня готовой концепции, будет разочарован. На самом деле мне кажется, что в этот исторический час жизненно важно не обладание определенной доктриной, но, скорее, живое ощущение вечной реальности и ее глубины, с помощью которой нам дается понимание быстротекущего сиюминутного бытия. В этой пустынной ночи нельзя указать никакого пути. Можно только помочь людям ждать, приготовив свои души в надежде, что забрезжит рассвет и дорога появится там, где никто не ожидал.

Биографические сведения о хасидских учителях, упомянутых в романе

Составитель Менахем Яглом

Основатель хасидизма, **р. Израэль бен Элиезер, Бешт** (аббревиатура от Баал Шем Тов — «Добрый чудотворец»), 5458-5520 (1698-1760) гг.

Р. Израэль осиротел в младенчестве и был воспитан на средства общины местечка Окуп. Согласно преданию, в молодости он днями прислуживал в *хедере*, прикидываясь тронутым невеждой, а по ночам возносился в Высшее Училище, где постигал тайны Торы. Из Окупа Бешт перебрался в Тлуст и женился на сестре одного из крупнейших раввинов того времени, р. Авраама Герсона из Китова, который сначала из всех сил противился браку сестры с безродным сиротой, но после того, как ему открылась тайна сокровенного величия жениха, дал свое согласие. Много лет Бешт с женой вели уединенную жизнь в карпатских горах, зарабатывая на пропитание торговлей глиной, пока в тридцатилетнем возрасте повелением свыше Бешт не принужден был открыться миру. Вернувшись в Тлуст, он выступил с проповедью своего учения, совершая множество чудес и дивных знамений. Впоследствии Баал Шем Тов основал Дом Учения в Меджибоже, в который стекались многочисленные ученики из различных общин Подолии. Вместе с избранными учениками он совершил множество путешествий, нередко предоставив лошадям выбирать направление.

Учение Бешта изложено во многих трудах, первым из которых является комментарий к Пятикнижию «Потомство Якова — Йосеф» («Толдот Яков Йосеф») Якова Йосефа из Полонного. Наиболее популярный сборник легенд о Беште — «Прославление Бешта» (*Шивхей Бешт*) был составлен Дов Бером Шойхетом много десятилетий спустя его смерти.

Второе поколение хасидских учителей — ученики Бешта:

Борух из Меджибожа, 5513-5572 (1753-1812) гг.. Сын Адели Чудотворницы, дочери Баал Шем Това, в детстве был любимцем деда, после смерти которого занял престол *адмора* в Меджибоже. Мистик и интеллектуал, он нередко впадал в черную меланхолию, от которой его спасал придворный шут Гершеле Острополер; в иные часы отличался надменностью и высокомерием. Его учение изложено в книге «Свеча света» («*Боцина де-Нехора*»).

Дов Бер, великий Магид (проповедник) из Межерича, 5464-5533 (1704-1773) гг., любимый ученик и наследник Бешта, распространивший хасидизм по всей Европе и превративший его в организованное движение.

Дов Бер, с детства заслуживший репутацию гения в Торе, еще до знакомства с Бештом был знаменитым проповедником. Углубленные занятия каббалой, сопровождаемые суровой аскезой и умерщвлением плоти, довели его до тяжелой болезни, которую не могли облегчить врачи. Поддавшись на уговоры близких, Дов Бер отправился к Бешту, прославленному своими чудесами, и поддавшись его обаянию, стал его верным учеником. Бешт сам избрал Магида своим наследником, с чем прочие ученики безоговорочно согласились.

Великий Магид не удовольствовался семенами, посеянными его учителем в Подолии, и перевел центр хасидизма в Межерич в Вольни. Из-за слабого здоровья он не мог разъезжать, подобно учителю, вместо этого он рассылал в различные земли посланцев, которые успешно справлялись с поставленными задачами. В Доме Учения Магида собирались знаменитые раввины и знатоки Торы со всей Европы, многие из которых впоследствии основывали новые хасидские центры.

Ученики Магида не скупались на похвалы учителю: «Мюлитва его возносилась ввысь, и когда Всевышний выносил приговор, Магид его отменял»; «В доме Магида мы в полную силу черпали святой дух, а чудеса складывали под скамьи».

Учение Магида изложено во многих трудах, главным из которых является «Научение Якова словам Его» («*Магид Дворав ле-Яаков*»).

Третье поколение хасидских учителей — ученики великого Магида:

Леви Ицхак из Бердичева, 5500-5570 (1740-1810) г., ученик Магида из Межерича и Шмельке из Никольсбурга. Великий знаток Торы, он исполнял должность раввина в Зелихове, Пинске и Бердичеве и пользовался огромным авторитетом среди адморов и хасидов. Леви Ицхак славился человеколюбием и пламенной любовью к Творцу и Его заповедям. Существуют предания о том, как р. Леви Ицхак вызывал на суд самого Всевышнего, требуя от Него заботы о Своих детях, и Бог подчинялся решению суда.

Главный труд р. Леви Ицхака — «Святость Леви» («*Кдушат Леви*») до сих пор является одной из популярнейших хасидских книг.

Шлоймо (Готлиб) из Карлина, 5498-5552 (1738-1792) г., приближенный ученик Великого Магида и Аарона из Карлина, проповедник хасидизма в Литве. Из-за гонений на хасидизм вынужден был бежать в волынский центр хасидизма Людмир. Хасиды считали его воплощением Мессии — потомка Йосефа, страдающего и возрождающегося из рода в род, и верили, что их ребе «понимает язык деревьев, птиц и зверей». Шломо из Карлина был убит казаком во время войны 1792 г.

(Шмуэль) Шмельке (Горвиц) из Никольсбурга, ум. в 5538 (1778) г., один из ближайших учеников Великого Магида, учитель большинства адморов своего поколения, в первую очередь в Галиции и Польше. Был верховным раввин Никольсбурга в Моравии. Пламенный проповедник, он считал, что слова, исходящие из души, сами по себе способны изменить слушающих. Во время молитвы

р. Шмелке впадал в такой экстаз, что забывал, что именно полагается говорить и делать, и начинал петь новые, неслыханные мелодии. Его главное сочинение — трактат «Имя Шмуэля» («Шем ме-Шмуэль»), легенды о нем собраны в книге «Добрый елей» («Шемен Тов»).

Элимелех (Липман) из Лизенска, 5477-5546 (1717-1786) гг., прародитель хасидизма в Польше и Галиции. В юности добровольно отправился в «изгнание» (принятый среди еврейских мистиков вид аскезы, заключающийся в продолжительных непрерывных странствиях) и занимался умерщвлением плоти. Под влиянием своего брата, ребе Зуши, обратился к хасидизму и отправился учиться в Межерич, где стал приближенным учеником Великого Магида и одним из глав хасидского братства.

После смерти учителя р. Элимелех перебрался в Лизенск, откуда распространил хасидизм по всем областям Польши и Галиции. Его роль в хасидском движении была столь велика, что приравнивали его к Бешту.

Его трактат «Приязнь Элимелеха» («Ноам Элимелех»), сыграл огромную роль в становлении хасидизма и стал своего рода «священной книгой», которую хасиды и сегодня кладут под подушки больных и рожениц.

Четвертое поколение хасидских учителей — ученики Элимелеха из Лизенска и их современники:

Авраам Иеошуа Хешель из Апты, 5515-5585 (1755-1825) гг.. Приближенный ученик и один из четырех духовных наследников р. Элимелеха из Лизенска: хасиды говорят, что Хозе из Люблина унаследовал от учителя пронизательность взора, прозревающего неведомое, Магид из Козниц — сердечный пыл, Мейдель из Риманова — душевную глубину, а ребе из Апты — красноречие.

Авраам Иеошуа Хешель был *равом* и *адмором* в местечках Колбасов, Апта, Ясницы и Меджибож. Один из главных пропо-

ведников хасидизма в Польше и Румынии, он прославился кротостью и человеколюбием и был прозван «Любящим Израиль» — по названию составленного им сборника проповедей на темы Пятикнижия («*Охев Исраэль*»). С 5575 (1815) г. считался главой *адморов* своего поколения, для всех хасидов его слово было законом.

Израиль, Магид (проповедник) из Козниц, 5496-5575 (1736-1815) гг., в молодости по совету своего первого учителя, Шмельке из Никольсбурга, отправился в Межерич, где был с радостью принят в ученики великим Магидом, который предсказал, что р. Израилю предстоит распространить хасидизм в Польше. После смерти учителя он сблизился с Элимелехом из Лизенска и стал одним из его ближайших сподвижников.

Знаменитый проповедник и чудотворец, благословения которого жаждали не только евреи, но польские аристократы, он подвергался яростным нападкам противников хасидизма. Согласно преданию, он вынужден был бежать из Козниц и долгое время скрываться в доме Леви Ицхака из Бердичева.

Израиль из Козниц был великим знатоком Торы и автором множества книг, посвященных еврейскому законодательству — *га-ахе*, каббале и хасидизму.

Менахем Мендель из Риманова — ум. в 5575 (1815) г., еще в детстве увлекся хасидизмом, был учеником Элимелеха из Лизенска и Шмельке из Никольсбурга, лучшим другом Мойше Лейба из Сасова. Менахем Мендель, один из лидеров *цадиков* своего времени, ввел немало важных для хасидизма правил и обычаев, его окружали тысячи хасидов, а десятки его учеников сами стали *адморами*.

Ицхак Айзик из Калева, 5504-5581 (1744-1821) гг. Согласно преданию, его ребенком нашел «скрытый праведник» Лейб Сорес, который отвел его к Шмельке из Никольсбурга, чьим преданным

учеником он и стал. Первый хасидский учитель и глава всех *адмор* Венгрии.

Мойше из Пшевурска, ум. в 5566 (1806) г., хасидский цадик и переписчик священных текстов — свитков Торы, тфиллин и мезуз (софер стам). Переписанные им отрывки из Писания ценились невероятно дорого, потому что, согласно легенде, сами по себе обладали чудодейственной силой. Его почитатели называли его «Божественным переписчиком» и свидетельствовали, что лик р. Мойше за работой «являл собой лик ангела».

Р. Мойше — автор комментариев к Торе и Талмуду, названных «Свет лика Моисеева» («Ор Пней Моше»).

Мойше Лейб из Сасова, 5505-5567 (1745-1807) гг., любимый ученик Шмельке из Никольсбурга, почитатель Элимелеха из Лизенска. Один из первых пропагандистов хасидского учения, прославленный кротостью и человеколюбием. На основе его проповедей ученики составили книги «Собрания р. Мойше» и «Полное изложение учения р. Мойше» («*Ликутей Рамал*» и «*Торат Рамал а-Шалем*»).

Нафтоли (Цви) из Ропшиц, 5520-5587 (1760-1827) гг., любимый ученик Элимелеха из Лизенска, в дальнейшем сблизившийся с Хозе, Магидом из Козниц и Менделем из Риманова. С 1815 г. — знаменитый *адмор*. Славился интеллектуальной изоциренностью и искрометным юмором, за которым, по словам учеников, скрывались величайшие тайны. Автор комментария к Пятикнижию «Святое семя» («*Зара Кодеш*»). Эпитафия на его надгробии гласит: «Единственный в поколении по Божественной мудрости».

Хозе (провидец), р. Яков Ицхак из Люблина, 5505-5575 (1745-1815), ученик Великого Магида из Межерича и глава учеников Элимелеха из Лизенска, который еще при жизни объявил его своим преемником. Сначала проживал в Ланцуте в Галиции, откуда

перебрался сначала в Роспадов, потом в люблинское предместье Винаву, а затем и в сам Люблин.

Яков Йосеф оказал огромное влияние на становление хасидизма, почти все *цадики* Польши и Галиции следующего за ним поколения, были его учениками. Не случайно Великий Магид говорил о нем: «Такой души не спускалось в мир со времен пророков».

Четвертое поколение хасидских учителей — ученики Хозе из Люблина:

Довид (Бидерман) из Лелова, 5506-5574 (1746-1814) гг., ученик Элимелеха из Лизенска и Хозе из Люблина, лучший друг «Святого Еврея» из Пшиски. Один из первых проповедников и апологетов хасидизма, привлечший к нему множество новых последователей. Прославился своим человеколюбием. Легенды о нем собраны в книге «Башня Давида» («*Мигдал Давид*»).

Йуда Лейб из Закилкова, один из ближайших учеников Элимелеха из Лизенска и Хозе из Люблина, до встречи с р. Элимелехом был яростным противником хасидизма. Согласно хасидскому преданию, он пришел к Хозе после всех прочих учеников, и тот отказался принять его в учение. Йуда Лейб настаивал, что «уважает Люблинского ребе», и тот принял его, сказав: «Вы должны подчиниться мне, иначе останетесь дураком».

Йуда Лейб из Закилкова был главным из ненавистников «Святого Еврея».

Иссахар Бэр из Жидачова, ум. в 5592 (1832) г. Сын р. Ицхака Айзека Эйхенштейна, ученик ребе Элимелеха из Лизенска и своего брата Цви Гирща из Жидачова. Славился богобоязненностью, в 1831 г., по смерти брата, занял престол *адмора*, но скончался менее чем через год.

Ишайя из Пшедбожа, 5518-5591 (1758-1831) гг., ученик Хозе из Люблина и друг Святого Еврея из Пшисхи. Великий знаток учения, прозванный Хозе «книжным шкафом». С 1788 г. *рав* Пшедбожа, с 1815 г. — *адмор*.

Кальман из Кракова, ум. в 5583 (1823) г. Ученик Элимелеха из Лизенска и Хозе из Люблина, испытал влияние Йехиэла Михла из Злотчева, Магида из Козниц и Менахема Менделя из Риманова. Первый хасидский учитель Кракова, он подвергался гонениям и преследованиям.

Калман из Кракова — автор одной из основополагающих хасидских книг — «Светильник и солнце» («*Маор ве-Шемеш*»), которая выдержала множество переизданий

Меир (Леви) из Стабниц (Апты), ум. 5587 (1827) г., один из ближайших учеников Хозе из Люблина, унаследовавший от него престол *адмора* всей Польши, великий знаток Торы и тайного учения. Был *равом* Стабниц и Апты и непримиримым врагом школы Пшисхи. Его учение изложено в книге «Свет небесам» (*Ор л-Шамаим*)

Мордехай (Пардес) из Стабниц, ученик Элимелеха из Лизенска, первый из хасидов признал Хозе своим *адмором*, когда тот еще жил в Ланцуте. Поначалу был *хазаном* в Стабницах, и когда запевал молитву «И Он милосердный...», никто из присутствующих не мог удержаться от слез.

Р. Мордехай скончался еще при жизни Хозе, который оплакал его словами «Обрушилась наша незыблемая опора».

Святой Еврей из Пшисхи, р. **Яков Ицхак**, 5526-5574 (1766-1814) гг., один из величайших знатоков Торы в своем поколении. В юном возрасте возглавил йешиву в Апте, где под влиянием Мойше Лейба из Сасова обратился к хасидизму. Лучший друг, Довид из Лелова, уговорил его отправиться к Хозе из Люблина,

чьим учеником он стал на долгие годы. Святой Еврей поселился в Пшисхе, которая стала центром интеллектуального направления в хасидизме, привлекавшего тысячи последователей. Наветы завистников привели к разрыву с Хозе и к ожесточенной борьбе между хасидскими школами.

Святой Еврей скончался раньше своего учителя, но усилиями его учеников, в первую очередь Симхи Бунима, его направление распространилось по всей Польше.

Симха Буним из Пшисхи, 5527-5587 (1767-1827) г., ученик Хозе, друг и преемник (после 1814 г.) Святого Еврея. Великий знаток Торы, по профессии аптекарь, Симха Буним славился парадоксальностью суждений и нетривиальностью поступков. Во многом благодаря обаянию личности Симхи Бунима школа Пшисхи привлекла к себе тысячи незаурядных людей, а интеллектуальное направление в хасидизме получило широкое распространение.

Учение Симхи Бунима изложено во многих трудах, главным из которых является «Глас радости» («*Коль Симха*»).

Цви Гирш из Жидачова, ум. в 5591 (1831) г. Сын «скрытого праведника» р. Ицхака Айзека Эйхенштейна, ученик ребе Элимелеха из Лизенска и Хозе из Люблина; знаменитый каббалист и плодовитый автор, составитель мистических комментариев к Пятикнижию и к книге «Зоар», а также нескольких сборников проповедей.

Шмуэль из Корова, ум. в 5580 (1820) г., ученик Элимелеха из Лизенска и Хозе из Люблина. *Рав* Нейштата в Германии, потом — Соколова в Галиции. С 1815 г. — *адмор* Корова и Венгерова, учитель многих известных *цади*ков.

ГЛОССАРИЙ

Адмор, ребе — глава хасидского движения, которого называют также «цадик» — праведник, «добрый еврей» или «красивый еврей». Мистическая личность, образ которой впервые возникает в учении хасидизма. Ребе (рабби в восточноевропейском идишеском произношении) является воплощением «всеобъемлющей души», включающей в себя души своих последователей — хасидов, и потому обладает особыми способностями исправления своего непосредственного окружения и всего мироздания в целом. По словам р. Элимелеха из Лизенска, «Всевышний приказывает, а *цадик* отменяет приказание. Всевышний отменяет, а *цадик* приказывает и осуществляет». Согласно традиционному определению, *цадик* — «тот, кто не видит в людях никакого зла, и все для него — пречистые праведники», а к себе относится, «как будто еще не приступал к служению». *Адмор* — титул *цадика*, аббревиатура слов *Адонейну, Морейну вэ-Рабейну*, «Господин, учитель и наставник наш».

Агада — см. *Седер*

Аморай — еврейский законоучитель эпохи Гемары.

Афикоман — обломок мацы, который отделяют в начале пасхальной трапезы для того, чтобы в дальнейшем им ее завершить. Для того, чтобы дети не уснули во время *Седера*, для них устраивается игра — они должны найти афикоман, который взрослые сначала прячут, а потом выкупают за ценные подарки.

Бар-мицва — ивр. «Сын Заповеди» — религиозное совершеннолетие, которого мальчики достигают в 13 (девочки в 12) лет. По достижении этого возраста человек становится правоспособным, обязанным исполнять все заповеди и сам отвечает за себя перед Всевышним. На неделе достижения бар-мицвы проводится торжественная церемония: мальчик впервые надевает *тфиллин* и

произносит самостоятельно подготовленную проповедь; в ближайшую субботу в синагоге читает по свитку недельный раздел Горы.

Благословение луны — молитва, которую произносят в вечернее время под открытым небом, раз в месяц, перед наступлением полнолуния. Благословение это, обязательной частью которого являются приветствия и добрые пожелания товарищам, произносят не менее, чем вдвоем, хотя желательно присутствие миньяна.

Встреча Субботы — псалмы и гимны, читающиеся перед вечерней молитвой наступающей субботы (т.е. вечером в пятницу). Важнейшей частью встречи субботы является гимн «*Леха Доди*», который составил каббалист и поэт-мистик из Цфата, р. Шломо Алькабец. Его рефрен гласит: «Пойдем, любимый мой, навстречу невесте, (вместе) встретим Субботу»

Высшая или дополняющая душа — часть еврейской души, которая, как верят мистики, хранится в небесной сокровищнице, но присоединяется к земной душе вечером пятницы и остается до конца субботы. Во времена Мессии высшая душа окончательно соединится с низшей.

Габай — староста, иногда казначей общины или религиозного братства. У хасидов габай играет роль домоправителя, фактотума и секретаря цадика.

Галаха — совокупность еврейских религиозных правил и предписаний. Термином *галаха* называют также законоведческие тексты *Талмуда* и вообще, всю законоведческую литературу

Галут — букв. «Изгнание» (евреев из Земли Израиля), а также ситуация, при которой большинство евреев проживает вне Земли. Понятие «галут» имеет мистический смысл, обозначая

ущербное и брненное состояние мира и человечества и страдание Шехины, разлученной со своим Возлюбленным.

Гемара — букв. «Завершение». Собрание дискуссий и рассуждений амораев (законоучителей 3-5 в.в.) по поводу текста *Мишны*.

Гог и Магог — согласно пророчеству Иезекииля (гл. 38-39), войны Гога из страны Магог будут предшествовать приходу Мессии. Война Гога и Магога в еврейской эсхатологии играет роль, сходную с пришествием Антихриста в христианстве.

Гои — дословно «народы», язычники и вообще неевреи.

Девятое Ава — самый траурный день еврейского календаря — дата разрушения Первого и Второго Храмов, изгнания евреев из Испании и множества иных трагических событий. Девятое Ава — строжайший пост, продолжающийся целые сутки и требующий отказа не только от еды и питья, но и от ношения кожаной обуви и всех земных удовольствий. В этот день в синагогах читают, сидя на земле, Плач Иеремии и покаянные молитвы — «кинот». Девять предшествующих дней проходят в трауре и воздержании от мяса, вина и всяческих увеселений.

Зоар — «Книга Сияния», самое значительное произведение еврейской мистики, сыгравшая в развитии иудаизма огромную роль, сравнимую разве что с *Талмудом*. *Зоар*, авторство которого приписывается *таннаю* Шимону бар Йохан, написан на арамейском языке, появился в XIII веке и был составлен, скорее всего, каббалистом Моше де Леоном. Носит форму комментариев к Пятикнижию, дополненных вставными трактатами и многочисленными приложениями.

Избавение — ивр. «*геула*» — приход Мессии, возвращение еврейского народа в Святую Землю и восстановление Иеруса-

лимского Храма. В мистическом смысле, Избавление осмысливается как окончательное соединение *Шехины* и Пресвятого Благословенного, проявлением святости, сокрытой в мироздании и торжеством совершенного добра, вознесением косной материи до уровня духа. В *хасидизме* идея Избавления разрабатывается и на индивидуальном уровне — в каждом человеке сокрыта искра Мессии, и самосовершенствование является путем к Избавлению.

Искупительные деньги — дар, который хасиды передают ребенку, обычно через посредство *габая*, в благодарность за совет, молитву и духовную поддержку.

Йешива — традиционное религиозное учебное заведение для мужчин. Обучение, нередко совмещенное с проживанием в *йешиве*, не преследует конкретных практических целей и может продолжаться с тринадцатилетнего возраста и до женитьбы.

Йом-Кипур — «День Искупления», или Судный День. Один из важнейших еврейских праздников, день, когда можно изменить приговор, вынесенный в *Рош а-Шана*. Особенностью *Йом-Кипура* являются «шесть аскез» — воздержание от еды и питья, мытья, использования косметики, ношения кожаной обуви и супружеских отношений, а также строгий запрет заниматься какой-либо работой. Молитва в *Йом-Кипур* продолжается весь вечер и весь последующий день до наступления темноты; к четырем праздничным молитвам добавляется пятая — *Неила*.

Йом-Кипур, последний из Грозных дней, завершается трублением в шофар.

Кидуш — ивр. «Освящение» — благословение субботы или праздника, произносимое дважды в день, вечером и утром, над бокалом вина или двумя хлебами. *Кидуш* открывает субботнюю или праздничную трапезу.

Клойз — дом учения и молитвы. *Клойзы* были частым явлением в Восточной Европе, обычно в хасидской среде.

Князь Торы, *Князь Севера* и т. д. — по еврейской традиции, за все стороны света, первоэлементы, силы природы, а также за все народы мира, числом семьдесят, отвечают на Небесах своими Князья, своего рода ангелы — хранители.

Кол Нидрей — «Все обеты», молитва, с которой начинается служение в *Йом Кипур*, сутью которой является превентивный отказ от всех обетов и необдуманных обещаний, которые будут даны в наступающем году.

Лаг Ба Омер — «Тридцать третий (день) Омера», периода между *Песах* и *Шавуот*, предназначенного для духовного самосовершенствования и отмеченного элементами траура. В этот полупраздничный день посвященный памяти рабби Шимона бар Йохан и учеников рабби Акивы, отменяются все траурные обычаи, принято жечь костры, символизирующие огонь Торы и стрелять из луков.

Магид — ивр. «проповедник». Проповедники, странствующие или проживающие в конкретном городе или местечке, играли значительную роль в жизни восточноевропейского еврейства, особенно среди хасидов. Титул «*магида*» носили некоторые, особо значительные хасидские цадики.

Малый талит — согласно Торе (Чис.15:38-41), евреям положено носить Кисти Видения, призванные напоминать о Божественных заповедях. Кисти положено вдевать в края четырехугольного одеяния, поэтому религиозные евреи носят под рубашкой или верхней одеждой т. н. малый *талит* с кистями-*цицит*.

Мезуза — прикрепляемый к косяку двери футляр с пергаментным свитком с написанным особым образом отрывком из Торы: словами Шма Исраэль, которые помещаются также и в тфиллин.

Меламед — учитель хедера, традиционной начальной школы.

Миква — бассейн для ритуального омовения, наполненный водой естественного источника и отвечающий строгим религиозным предписаниям. Окувание в *микву* обязательно для женщин после завершения месячных; регулярное окувание в микву мужчин стало одним из важнейших хасидских обычаев.

Милостыня — ивр. «*цдака*», благотворительность, согласно иудаизму — одна из главнейших этических обязанностей. Слово «*цдака*» происходит от корня «*цедек*», справедливость. Каждый еврей обязан отделять на милостыню некоторую (от одной десятой до одной пятой) часть своего дохода. Хасиды первых поколений нередко отдавали все свое достояние (что категорически не рекомендуется *Талмудом*), или ежевечерне раздавали все деньги, оставшиеся от дневного заработка.

Миньян — букв. «кворум», десять взрослых мужчин, необходимых для проведения коллективной молитвы.

Мишна — ивр. «повторение» — древнейший (1-3 вв. н.э) свод Устной Торы, лежащий в основе Талмуда. *Мишну*, в ее нынешнем виде заключающую 63 трактата, разбитых на шесть разделов, составил и отредактировал Рабби, р. Йегуда а-Наси в конце 3 в. х. э.

Молчаливая молитва — ивр. «*Шмоне Эсре*» — «Восемнадцать» (благословений); основная формализованная молитва, которую произносят трижды в день. В синагоге молящиеся сначала произносят *Шмоне Эсре* шепотом, практически молча; в это время необходимо стоять выпрямившись и не двигаясь с места. Потом хазан повторяет молитву вслух.

Отделение субботы — ивр. «*Авдала*». Ритуал, совершаемый на исходе субботы, после наступления темноты, включающий бла-

гословение вина, благовоий и огня (обычно свечи со многими фитилями).

Песах — Пасха, время Исхода из Египта. Один из важнейших еврейских праздников, справляется на протяжении семи дней весеннего месяца Нисан. На протяжении всех пасхальных дней запрещено не только употреблять, но даже владеть какими либо продуктами из основных видов злаков, кроме опресноков — мацы. В первые два вечера *Песах* (в Земле Израиля — только в первый вечер) устраивается особая ритуальная трапеза — пасхальный *Седер*.

Просительная (молитвенная) записка — идиш. «квител», передаваемая *ребе* или его *габаю* вместе с «искупительными деньгами» записка, с перечислением имен просителя и его близких и с просьбой молиться о ком-то или чем-то или о совете в конкретном деле.

Пурим — праздник, установленный в связи с избавлением от неминуемой гибели евреев Вавилонии во времена царя Ахашвероша во времена вавилонского изгнания. Согласно рассказу библейской Книги Эстер (Есфирь), царедворец Гаман задумал уничтожить всех евреев, но его замыслы были разрушены царицей Эстер и ее дядей Мордехаем. Пурим — самый веселый из еврейских праздников. В этот день принято посылать яства друзьям и раздавать подарки беднякам, устраивать театрализованные представления и веселые застолья. Талмудическое правило предписывает в этот день «так опьянеть, чтобы не отличать Гамана от Мордехая».

В хасидской мысли событиям *Пурима* предается особый мистический смысл.

Рав; рабби — титул, во времена *Талмуда* обозначавший непосредственное полноценное участие его обладателя в непрерывной цепи передачи духовной традиции, а впоследствии став-

ший, по сути, ученой степенью, позволяющей ее обладателю принимать решения в области *галахи*. В Европе *рав* являлся официальным главой общины и обладал чрезвычайно широкими полномочиями.

Раскаяние — ивр. «тшува», одна из важнейших морально-этических категорий иудаизма. Для перевода этого понятия не существует адекватного русского термина, слова «возвращение» или «ответ» лишь весьма приблизительно передают его суть. *Тшува* понимается как всеобъемлющая реконструкция личности, охватывающая не только ее настоящее, но и прошлое и будущее. Содержание этого понятия можно проиллюстрировать следующим талмудическим рассуждением:

«Сказал р. Йоханан: велика *тшува*, ибо ослабляет запреты Торы; сказал р. Йонатан: велика *тшува*, ибо приводит избавление; сказал Реш Лакиш: велика *тшува*, ведь она превращает злодеяния в нечаянные проступки, и еще сказал Реш Лакиш: велика *тшува*, ведь она превращает злодеяния в заслуги».

Рош а-Шана — «Начало года», еврейский новый год, который празднуется первого и второго тишрей. Согласно традиции, в *Рош а-Шана* записывается в Книгу Жизни судьба всего мира и каждого отдельного человека в наступающем году. Главная заповедь праздника — слушать трубные звуки *шофара*.

Рош а-Шана, *Йом-Кипур* и дни между ними (3-9 тишрей), когда определяется предначертание грядущего года, называются *Грозными Днями*.

Священное Единение — ивр. «*йихуд*», магико-теургический акт, сутью которого является восстановление нарушенного единства мироздания в конкретной точке пространства или времени и исправление перепутанных и неверных Имен. Согласно хасидским представлениям, любой, даже вполне будничное, действие цадика может сопровождаться Единениями.

Седер — ритуализированная трапеза. В Земле Израиля — в первый вечер Песах. Участники Седера, возлежащие на подушках в знак освобождения от рабства, должны выпить не менее четырех бокалов вина, отведать символических яств и прочесть *Аггаду* — сборник библейских и талмудических рассказов об Исходе из Египта.

Симхат Тора — Девятый (в Земле Израиля — восьмой) день праздника *Сукот*, завершение годового цикла чтения Торы и начало нового цикла.

Скорлупы — ивр. «клипот», в учении каббалы — силы зла, Другой Стороны, не имеющие самостоятельного источника бытия и существующие за счет плененных ими искр Божественного Света. Основной человеческой задачей считается освобождение этих искр от власти скорлуп.

Сокровенные Имена — Согласно каббале, сутью всего мироздания в целом и всех его проявлений, являются сочетания букв еврейского алфавита, собственно Имена Бога, ведь нет в мире ничего, кроме Него. Знание этих сокровенных имен дает власть над сущностями, которые от них происходят, отсюда, собственно, титул практикующих магов — «Баал Шем», владыка Имени.

Сто двадцать лет — согласно еврейской традиции, максимальный срок человеческой жизни, отсюда пожелание — «до ста двадцати (лет)».

Субботние трапезы — по еврейской традиции в субботу положено совершить три трапезы: вечером в пятницу, в субботу утром и перед заходом солнца. традиция, воспринятая хасидизмом связывает эти трапезы с тремя уровнями Божественности: «Святым Старцем», «Малым Ликом» и «Садом Священных Яблок»: Четвертая, необязательная трапеза, совершается после исхода субботы и называется Проводами Царицы.

Сукка — «Куща»; шалаш, в котором заповедано находиться семь дней праздника *Суккот*. Талмудические установления четко регламентируют устройство и размеры сукки, а так же подходящие строительные материалы.

Сукот — «Кущи»; осенний праздник, длящийся семь дней, с 15 по 21 тишрей. Основные заповеди праздника — пребывание в сукке и благословение четырех видов растений. В седьмой день *Суккот*, называемый *Гошана Рабба*, обходя синагогу по кругу, произносят специальные молитвы о спасении; хлещут по камням ветвями ивы. Восьмой день *Суккот* — самостоятельный праздник *Шмини Ацрет*, а девятый — *Симхат-Тора*.

Талит — молитвенное облачение; особым образом изготовленное четырехугольное, шерстяное или шелковое покрывало с вытканными по бокам полосами, обычно черного или синего цвета. В отверстия по краям *талита* вставляются кисти — *цицит*. *Талит* одевают только мужчины, ежедневно во время утренней молитвы, и на весь день, начиная с вечера, в *Йом-Кипур*.

Талмуд — букв. «Учение»; свод правовых и морально-этических положений иудаизма, включающий *Мишну* и *Гемару* как единое целое. Талмуд включает дискуссии, которые велись законоучителями Земли Израиля и Вавилонии на протяжении восьми столетий, и является основным источником Устной Торы. Различается *Вавилонский* и *Иерусалимский Талмуд*; первый из них, обладает большим авторитетом.

Танай — еврейский законоучитель эпохи *Мишны*.

Тора — букв. «Учение»; Божественное Откровение, дарованное народу Израиля. Различается Письменная Тора — Пятикнижие (иногда так в расширительном смысле называется вся Биб-

лия) и Устная Тора — вся совокупность еврейской традиции, от древнейших времен, до последних нововведений. В Талмуде говорится: «Даже то, что продвинутый ученик отвечает своему учителю, получил Моше на горе Синай»

Тридцать шесть праведников — скрытые праведники, в тайне присутствующие в каждом поколении, ради которых Бог сохраняет мироздание. *Тридцать шесть* часто скрываются в облики бедняков и невежд, и их истинная суть остается неизвестной даже их близким.

Тфилин — по гречески — «филактерии»; написанные на пергаменте отрывки из Торы, помещенные в коробочки, выделанные из кожи. *Тфилин* прикрепляются к голове и левой руке, напротив сердца, при помощи кожаных ремешков, продетых через основания коробочек. Обычно *тфилин* накладывают во время утренней молитвы, хотя при необходимости это можно проделывать до заката. Наложение *тфилин* считается одной из важнейших заповедей, наряду с обрезанием и соблюдением субботы.

Хазан — ведущий общественной молитвы в миньяне.

Хасидизм — мистическое направление в ортодоксальном иудаизме, возникшее в Восточной Европе в 18 в. Согласно учению хасидизма, Бог присутствует всюду, каждое явление и событие является непосредственным проявлением Его сущности. Задачей человека является преодоление ограниченности собственного бытия и слияние с Божественным светом. Хасиды считают радость величайшей добродетелью, рассматривают пение и танцы, как путь служения Всевышнему. В хасидизме существуют различные направления, во главе которых стоят *цадики* — *аджоры*. Современные хасиды отличаются консерватизмом в образе жизни, одежде и т. д.

Хедер — начальная школа для мальчиков, в которой изучается Пятикнижие.

Хупа — балдахин, под которым проводится свадебная церемония. Хупа символизирует домашний кров.

Цадик — см. Адмор

Шавуот — Праздник первых плодов, день дарования Торы на Синае. В первую ночь *Шавуот* принято бодрствовать, изучая Писание. В хасидизме бодрствованию в ночь *Шавуот* («*Тикун Шавуот*») предается особое значение.

Шавуот празднуется в начале лета, шестого и седьмого Сивана.

Шехина — букв. «Присутствие» (Бога). Женская ипостась Божественного света, неразрывно связанная с Общиной Израиля. *Шехина*, своего рода коллективная душа еврейского народа, вместе с ним отправляется в изгнание — *галут*, но вечно стремится к воссоединению со своим Возлюбленным — Богом и к возвращению в Святую Землю.

Шма Исраэль — «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь Один!» (Вт. 6:4); своего рода «символ веры» иудаизма. Слова *Шма Исраэль* и связанные с ними отрывки из Торы, являются кульминацией утренней и вечерней молитв, их произносят перед отходом ко сну и в смертный час.

Шофар — бараний или козий рог, в который трубят в *Рош а-Шана* и на исходе *Йом-Кипура*. Согласно преданию, звук Великого шофара, сделанного из рога барана, принесенного в жертву вместо Ицхака, возвестит о приходе Мессии.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ. <i>М. Яглом</i>	7
------------------------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хозе (Провидец)	23
Полночь	27
Кучер	31
Довид из Лелова рассказывает	38
Стол	45
Предсказание о Гоге	55
Вопросы учеников	64
Одно против другого	68
Рубаха	77
Игра начинается	81
Жена ребе	87
Сердце	89
Молитва	93
Голделе в Люблине	95
Орлы и вороны	100
Небесное письмо	106
Прощание	108
Речь к шестидесяти	112
Взрыв	118
Подтверждение	123
Сон	129
Тень ребе Элимелеха	131
О смерти и жизни	137
Отстранение	140
Буним и Хозе	143

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Заметки	148
Благословение	152
Внутри и снаружи	157
Армагеддон	163
Отец и сын	173
Посетитель	177
Дверная ручка	184

Дитя	189
Кубок	191
Козницы в 1805 году	192
Дети уходят, дети остаются	200
Язык птиц	209
Между Люблином и Римановом	214
Новое лицо	220
Видение	223
Ответ Еврея	225
Женщина у колыбели	230
Скорбь и утешение	231
Борьба	234
Послания	236
Большое путешествие	239
Свечи на ветру	249
Козницы и Наполеон	250
Обмен притчами	257
Неудачный Седер	261
Праздник новомесечия	267
Последний раз	269
Перец	271
Еврей повинуется	272
Разговор	275
Плач в Люблине	276
Смех леловского Довида	276

ЭПИЛОГ

Между Люблином и Козницами	278
Магид устраняется	283
День радости	285
Конец хроники	288

ПОСЛЕСЛОВИЕ	301
-------------------	-----

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ХАСИДСКИХ УЧИТЕЛЯХ, упомянутых в романе	307
--	-----

ГЛОССАРИЙ	316
-----------------	-----

Б 90 **Мартин Бубер.**

Гог и Магог. Роман /Пер. с немецк. Е. Шварц: —
СПб.: ООО "МОДЕРН", 2002—336 с.

ББК 84.4 Нем.

ISBN 5-94218-009-2

Мартин Бубер (1878, Вена — 1965, Иерусалим) один из крупнейших мыслителей XX века, представитель религиозного экзистенциализма.

Роман «Гог и Магог», написанный во время Второй мировой войны, является единственным беллетристическим произведением философа, переводился на многие языки, но на русском печатается впервые.

В романе увлекательно рассказывается об интеллектуальной и духовной борьбе двух учителей хасидизма, живших на территории нынешней Польши в эпоху наполеоновских войн.

Они по разному рассматривают проблему сопротивления злу, и оба расплачиваются жизнью за свои убеждения. Действие романа происходит на фоне жизни еврейского местечка, жалкой и мизерной для постороннего взгляда, но полной глубокого спиритуального смысла.

МАРТИН БУБЕР
ГОГ И МАГОГ

роман

Перевод с немецкого Елены Шварц

Сдано в набор 11.12.03. Подписано к печати 19.07.02

Формат 84X108/32. Гарнитура Академическая.

Печать высокая. Усл. печ. л. 23. Уч.-изд. л. 21.

Заказ № 943

Издательство ООО "МОДЕРН"

198003 С.-Пб., а.я. 28514

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО "МОДЕРН"

198003, С.-Пб., а.я. 28514

АССОЦИАЦИЯ «ГЕШАРИМ» (ИЕРУСАЛИМ) /
«МОСТЫ КУЛЬТУРЫ» (МОСКВА) ПРИ
УЧАСТИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС»
ПРОДОЛЖАЕТ ИЗДАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
СЕРИЙ:

ПРОШЛЫЙ ВЕК

Воспоминания деятелей еврейской науки и культуры

ПАМЯТНИКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

*Репринтные издания книг по еврейской истории и культуре,
вышедших в русско-еврейской эмиграции XX века*

ИЗРАИЛЬ. ВОЙНА И МИР

*Книги по истории возрождения еврейской государственности,
про сегодняшний Израиль и его столицу Иерусалим*

ЛИТЕРАТУРА ИЗРАИЛЯ И ДИАСПОРЫ

*Художественные произведения, написанные на русском языке
и переведенные иврита*

ШЕДЕВРЫ ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА

*Художественные альбомы памятников
еврейской культуры*

МАРТИН БУБЕР

(1878, Вена — 1965, Неруден-ланд) один из крупнейших немецких писателей XX века, гегель-интерпретатор религиозного экзистенциализма.

Роман «Гог и Магог», написанный во время Второй мировой войны, является единственным беллетристическим произведением философа, переводился на многие языки, но на русском печатается впервые.

В романе удивительно рассказывается об интеллектуальной и духовной борьбе двух учителей хасидизма, живших на территории нынешней Польши в эпоху наполеоновских войн.

Они по-разному рассматривают проблему страдания зла, и оба расплачиваются жизнью за свои убеждения. Действие романа происходит на фоне жизни еврейского местечка, жалкой и мизерной для постороннего взгляда, но полной глубокого спиритуального смысла.

интернет-магазин

OZON.RU



42117822

ISBN 94218-009-2